



ГЛАГОЛЬ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АЛЬМАНАХ

№ 8

Номер посвящается Алле Сергеевой

Москва–Париж–Санкт-Петербург
2017



www.glagol.jimdo.fr

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Алла Сергеева

Наталья Богдановская

Наталья Черных

Владимир Сергеев

Главный редактор — Елена Кондратьева-Сальгеро

Обложка:

Евгений Иванцов, «Рыбная ловля в облаках» — 1 стр.

Фото Alice S — 4 стр.

Стихи на обложке — Ирина Ремизова

Художники — Андрей Карапетян,

Елена Любович

Дизайн макета — Татьяна Громова

Корректурa — ООО «Группа МИД»

ЭПИТАФИЯ ОСТАВШИМСЯ
(и снова предисловие!)



Если вам кажется удивительным, что номер толстого литературного журнала начинается с некролога, крепитесь: ещё более удивительным вам покажется, что некролог этот, в отличие от традиционных эпитафий, вполне оптимистичен и вовсе не заключает, а очень естественно продолжает творческую жизнь необыкновенного человека в необыкновенном издании.

Я не оговорила и не интересничаю: в нашем альманахе всё необыкновенное, от истории — до авторов и даже хулителей. Всё насыщено, всё бурлит, всего через край.

А восемь лет назад, у самых истоков, всего этого было совсем немного, и создатели-зачинатели издания под элегантным именем «Глаголь», конечно, и вообразить не могли, каким мощным потоком разольётся первый скромный ручеёк.

Самих создателей-зачинателей было всего двое: Алла и Владимир Сергеевы.

С авторами тоже было негусто: приглашали друзей и знакомых, активно или худо-бедно литературствующих.

Ссыпали всё предложенное в один замес и запекали с кратким предисловием. Дегустировали в узком кругу друг друга знающих, ценящих и хвалящих.

До сих пор — типичная история всех литературных изданий, куда по личным знакомствам попадают тексты очень разного «помола»...

И продолжалось бы всё это до сих пор, и много далее, и вы бы сейчас читали совсем не эти строки, если бы не тот самый удивительно прекрасный человек, которому посвящается этот номер и все последующие...

Алла Сергеева. Преподаватель русского языка. Писатель. Ценитель хорошего вкуса и чужих талантов. Настоящий друг. Умный и талантливый человек. Великолепный редактор. Очень красивая женщина.

А ещё у неё был голос... Ради которого можно было бы создать целое радио и слушать, слушать, слушать... Но здесь вам придётся поверить мне на слово, потому что голоса её передать вам не смогу.

А вот «великолепный редактор» — легко доказуемо. Это значит: несбиваемый такт и безошибочное чутьё.

Она первая почувствовала, когда в теплейшем междусобойчике литературного «Глагола» что-то пошло не так.

Она первая не побоялась забить тревогу, потянуть на себя стоп-кран и остановить привычное движение по наезженной колее, в железном скрежете недовольных зубов и возмущённом визге литературно путешествующих по изначальному недоразумению.

Она первая отказалась редактировать и печатать бесталанные и часто безграмотные тексты «милейших людей» и «общих знакомых», попросив всех недовольных и претендующих покинуть альманах и продолжить собственные литературные странствия своим ходом.

Она выдержала все атаки ущемлённых в собственных амбициях и не сломалась под натиском нашёптывающих «доброжелателей».

Она без прикрас описала «Литературную рябь на волнах русской эмиграции» (см. «Глаголь» № 6) и спокойно переждала мелкие бурления обидевшихся в очередной раз.

«Глаголь» стал подлинно литературным, а не «литературствующим» альманахом, принимающим не знакомых, но по-настоящему интересных и талантливых авторов, далеко за пределами междусобойной парижской тусовки.

В альманахе появились великолепные тексты, альманахом заинтересовались интересные люди, в альманах потянулись замечательные авторы — благодаря ей.

Алла Сергеева приняла самое активное участие в создании трёх последних выпусков обновлённого её личной смелостью «Глагола».

Настоящий, 8-й номер, оказался последним.

С болезнью она боролась так же просто, спокойно и мужественно, как с шуршащей по углам когортой отверженных и обиженных самовлюблённых литераторов — не вступая в перепалки, но не сдавая позиций. Радуюсь каждому начавшемуся дню и каждому новому таланту.

И знаете, она всё-таки победила. Не болезнь, но боязнь.

Боязнь литературных сквозняков, легко распахивающих давно рассохшиеся рамы, врывающихся в застоявшийся от варения в собственном соку воздух и выдувающих заплесневелую словесную сырость вон...

«Глаголь» уже никогда не вернётся к прежнему уютному «междусобой-застойчику» благодаря Алле Сергеевой, а будет вечной эпитафией этой замечательной женщине, имя и работы которой, на страницах оглавлений в разных изданиях встретятся ещё не раз...

Как видите, даже некролог у неё совсем не обычный — не заключение, но продолжение начатого ею и начало совсем, совсем другого...

Новые имена, новые страны: в этом номере к нам присоединились литераторы из Бельгии, Швеции, Германии, Англии, Польши, Канады. И так много ещё всего на подходе, чего не вместить в один единственный ежегодный номер и что с нетерпением ждёт своего момента!

Самое сложное в нашей работе и одновременно самое приятное — всё-таки пытаться объять необъятное одним махом, втиснув максимум талантов и талантищ в один по швам трещащий номер, но один по швам трещащий бюджет каждый раз отнимает столько эмоций, что мы просто вынуждены упорно продолжать, учитывая сколько талантов и талантищ опять осталось за бортом и сколько приятных сюрпризов ожидает читателей в относительно недалёком будущем...

Алла Сергеева щедро оценивала и искренне ценила чужие таланты. Чтобы принять всех и показать их миру, оставшимся в редакции придётся жить вечно... Или успеть подготовить достойную смену.

Неиссякаемым талантам посвящается.

Елена Кондратьева-Сальгеро,
главный редактор литературного альманаха «Глаголь»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Эпитафия оставшимся (и снова предисловие!)

Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция).....	3
---	---

Наш взгляд

Алла Сергеева (Россия/Франция).....	Гламур, понты = жеманство.....	10
Александр Дубровский (Россия).....	Очень тихая революция.....	16
Ольга Туханина (Россия).....	Неблагодарный всё-таки народ.....	20

О важном в прозе и в стихах

Татьяна Шеина (Беларусь).....	Подзамочное.....	24
Рауль Мир-Хайдаров (Россия).....	В тот вечер он был королём поэтов.....	33
Майя Шварцман (Бельгия).....	Предчувствие.....	46
Владимир Мамонтов (Россия).....	Сны.....	55
Анна Чалышева (Россия).....	Оставленный рай.....	72
Владимир Гудаков (Франция).....	Рыбный путь в чрево Парижа.....	78
Владислав Корнилов (Россия).....	И зимы уже не превозмочь.....	83
о. Андрей Ткачёв (Россия).....	На чистом армянском.....	97
Евгений Орлов (Латвия).....	Эпоха возражения.....	100
Татьяна Карева (Англия).....	Сёстры.....	106
Лада Миллер (Канада).....	В нерассказанном лесу.....	119
Анатолий Цыганов (Россия).....	Студент.....	124
Анастасия Тамило (Россия).....	Думаю, режу... Люблю.....	131
Андрей Илькив (Польша).....	Солнце в глазах ночи.....	136

Нескучно о серьёзном

Надежда Мирошниченко (Россия).....	Ираёльские отшельники.....	138
	(стихи Анатолия Илларионова).....	144
Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция).....	Ученик чародея.....	149
Михаил Бударагин (Россия).....	«Блаженный, алчущий, живой».....	157
Галина Гужвина (Франция).....	Паразитизм культуры.....	161
Елена Албул (Россия).....	Стихи для детей — взгляд в формате 3 D.....	165

Русские по миру

Вероника Тарновская (Швеция).....	SCRUV как «винтик» русской культуры в Швеции...178
Олеся Рудягина (Молдова).....	«Гении места» современной русской поэзии Молдавии...181
Владимир Саривили (Грузия).....	Переводы современной грузинской прозы.....199

Беседы

	Непоказанная передача	
Наталья Черных (Россия).....	(интервью с Борисом Васильевым).....	208
Кира Сапгир (Франция).....	Гитарам в футлярах тесно.....	220

По следам немеркнущих событий

Геннадий Сердитов (Россия).....	Детям, внукам и т.д. Я был.....	230
Леонид Шабаев (Россия).....	Дом Юнгерсонов.....	249
Михаил Лалашвили (Россия).....	Как я стал артистом цирка.....	265

Поэтический невод «Глагола»

Ольга Хворост (Россия).....	Рисуешь.....	280
Николай Бицюк (Украина).....	Прогулка в Осень.....	282
Юлия Герасим (Украина).....	Клевер о трёх лепестках.....	285
Егор Сергеев (Россия).....	Танки не выстрелят.....	287
Анастасия Винокурова (Германия).....	Арт-и-Шок.....	290
Сергей Смирнов (Россия).....	Время горения спички.....	292
Людмила Калягина (Россия).....	Оглянись.....	294
Лариса Подистова (Россия).....	Три стихотворения.....	296
Елена Уварова (Казахстан).....	Подслушанная жизнь.....	298
Дмитрий Курилов (Россия).....	Ангел пожилой.....	301

Отражения (переводы)

Екатерина Белавина (Россия), Флориан Вутев (Франция).....	Переводы на фр. стихов Е. Белавиной.....	304
Марина Милинкович (Франция).....	Так похоже на Россию.....	307

И конечно — фантастика!

Александр Сальников (Россия).....	Небесный конструктор.....	320
	Почини мою куклу, старик.....	327



© Художник Андрей Карапетян

Наши иллюстраторы

Евгений Иванцов (Украина)

Живёт в Днепетровске. Работает преподавателем (доцент) в Днепетровском национальном университете им. Олесья Гончара. Рисует давно, но карандашом увлёкся года 3—4 назад.

Андрей Карапетян (Россия)

Художник-график, поэт, прозаик. Живёт в Санкт-Петербурге. По образованию инженер-конструктор.

Елена Любович (Россия)

Художник-дизайнер промышленной графики. Более двадцати лет работает в рекламе. Закончила Московскую Художественную академию «Памяти 1905 года» (МАХУ)



© Художник Андрей Карапетян

НАШ ВЗГЛЯД



© Художник Андрей Карапетян

Алла Сергеева
(Россия/Франция)

Кандидат филологических наук, профессиональный преподаватель русского языка (МГУ им. Ломоносова, вузы Австрии, Польши, Вьетнама, Финляндии, Франции). Автор многочисленных книг и статей по проблемам современной российской культуры. Публикуется в СМИ Франции и России. Одна из учредителей парижской ассоциации «Глаголь».

Гламур, понты = жеманство

Сегодня мы чаще услышим слово «гламур» или «понты», чем «жеманство», оставшееся нам еще с пушкинских времен. На самом же деле все эти определения означают приблизительно одно и то же...

А возьмём слова «жеманиться», «жеманный» — загадка! В Интернете ни на одном сайте его не найдёшь. В словарях (Фасмер, Ожегов, Тихонов и др.) оно либо вовсе не отмечается, либо только толкуется: вести себя манерно, неестественно, ломаться, кривляться, манерно кокетничать; «жеманный» поясняется кругом оценочных слов: неестественный, слащавый, приторный и даже лживый, что есть высшая точка в шкале отрицательных оценок в русском языке. Недаром это слово встречается только в контексте, наэлектризованном иронией. Вот, к примеру, в «Воспоминаниях» Ф. Булгарина (газ. «Северная пчела») описывается жизнь Кронштадта в начале XIX века. Город был настолько бедный, что в нём не только не было книжной лавки или библиотеки, бумаги нельзя было достать. Поражали нравы и манеры местного общества. Девушки «из света» знали французский язык, музыку и танцы, но не тон и манеры, поскольку la contenance приобретается только в своем кругу и долгим опытом. Отсюда и шла их подражательная принужденность (affectation), неловкое жеманство, вызывающие смертную скуку. Ещё ярче смотрелись жёны и родственницы гарнизонных офицеров: красавицы, фантастически разряженные (т.е. с собственным усовершенствованием моды), на вечеринках обычно садились полукругом, жеманно грызли орешки, запивая ликером и непременно морщась при поднесении рюмки к губам, а в знак благосклонности бросали на кавалера лукавый взгляд и ореховую шелуху в лицо... Прямо водевиль!

Словом, как ни прикидывай, ничего хорошего в «жеманстве» нет, ибо оно подразумевает только внешнюю привлекательность без глубины содержания, подражательную красоту, претенциозную яркость, приторную лживость. В принципе, подобная манера поведе-

ния идёт от внутренних комплексов человека, от его неуверенности в себе, а точнее — от провинциализма, что давно подмечено умными людьми. К примеру, князь П.А. Вяземский в статье о «Ревизоре» Гоголя рассуждал на эту тему так: «Известно, что люди высшего общества гораздо свободнее других. Обратите внимание на провинциала, на выскочку: он кобенится, цитирует вычурные фразы, не скажет ни слова без прилагательного и без оговорки»... Сейчас мы бы сказали: он умничает, стараясь быть гиперкорректным в выражениях. А всё оттого, что чувствуя себя чужим «в свете», стремится подладиться под своё представление о высоком, красивом и изящном доступными ему средствами.

А как ведут себя настоящие аристократы, или в нашей жизни, как их теперь называют, «продвинутые люди»? Судя по VIII главе «Евгения Онегина», иначе:

В гостиной светской и свободной
 Был принят слог простонародный,
 И не пугал ничьих ушей
 Живою странностью своей.

Вот крупной солью светской злости
 Стал оживляться разговор;
 Перед хозяйкой лёгкий вздор
 Сверкал без глупого жеманства...

«Глупое жеманство» у Пушкина — то, что век спустя русские станут называть пошлостью, понимая под этим пустую претензию на глубокомыслие и ложную деликатность, притворную манерность, боязнь простоты и ясности. По мысли А.С. Пушкина, жеманство и провинциальная напыщенность больше оскорбляют слух и возбуждают улыбки, чем откровения и критические выражения простолюдина (1930 г.).

Так откуда взялось это ёмкое слово — «жеманство»? На первый взгляд, в нём ощущается нечто этакое французское, тем более что сразу на ум приходит «j'aime» (люблю), и так и видится манерная девица, которая в любовных заигрываниях неумело старается привлечь к себе внимание, и в ход идут театральные жесты, закатывание глазок, особое придыхание и растягивание фраз, ну совсем как у нашей Ренаты Литвиновой.

Словари тоже подталкивают к французской этимологии: «жеманиться» появилось в русском литературном языке в XVIII веке — в эпоху расцвета галломании, когда изъясняться по-русски было уделом крестьян и рабочих людей. У Фонвизина в «Бригадире»: «Советница подает ему руку, он ведёт её, жеманясь». Однако во французском язы-

ке похожего слова нет: в значении «светскость» есть *la contenance, les manieres, le bon ton*. Неудивительно, что академик В.В. Виноградов, размышляя над происхождением этого слова, настаивает: оно — наше родное, исконное и ведёт свою историю из народной речи, в которой издавна известны «жеман», «жеманка» (о женщине), производных от корня жом- (жем-) и суффикса -ан (ср. горлан, великан, мужлан). По всей видимости, в народной речи «жеман» означало человека, который «жмётся», склонен к «ужимкам», кокетливому кривлянию. Кстати, слово «ужимки» — тоже из народной речи. В условиях всеобщей тяги к французской культуре это выразительное слово вошло в русский литературный язык и даже произносилось, мне чудится, вопреки народной этимологии, с носовым «н». Позже оно, как и его производные (жеманиться, жеманница, жеманничанье, жеманно, жеманность, жеманный, жеманство) повсеместно встречается у Пушкина и его современников вплоть до середины XIX века. Ещё в Академическом слове 1848 года оно без помет и комментариев, настолько понятно читателям. А затем... словно забывается, уходит из активного лексикона. Почему?

Думается, не потому, что из повседневного поведения людей исчезли «ужимки и прыжки» кокетства и манерная принуждённость, а оттого, что слово — слишком экспрессивное и разоблачительное. Смотрите, в том же «Евгении Онегине»: «Нам просвещение не пристало, и нам досталось от него жеманство, больше ничего». Точнее не скажешь, имея в виду и наше время... Сейчас вот говорим — «гламурный», в смысле «яркий», «блестящий», «праздничный», в глубине души подозревая, что имеем в виду что-то неестественное, надуманное, бьющее по глазам, обманное. А какое слово точнее подыскать, наблюдая наши телешоу, попсовые тусовки с их напыщенным самолюбованием, деланными улыбками, мелочным остроумием и провинциальной манерностью? «Дешёвые понты», «китч»? Пожалуй, да, но эти слова отдают чем-то воровским или чужеземным. Нет, явно не хватает слова «жеманничанье», чтобы заклеить и тем самым изжить это манерное кривляние, ложь, навязывание дурновкусия, манипулирование публикой...

ЖЕМАНСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПУСТОЗВОНСТВО

Если бы дело ограничивалось только смешными провинциальными манерами и неумелым кокетством, то мы бы оставили в покое это ёмкое слово — «жеманство». Однако суть этого явления далеко не столь уж безобидна. Она гораздо глубже и опасней, особенно если словесное кривляние в качестве лингвистического приёма ис-

пользуют общественные деятели, политики и др., чтобы манипулировать публикой. Словесное жеманство придаёт их высказываниям некую таинственность и убедительность, маскируя бедность или отсутствие мысли. Тот, кто избегает простоты и ясности в выражении мысли, прибегает к помощи птичьего языка, добивается власти над одураченной публикой. Эта власть, в свою очередь, закрепляет приёмы политического пустозвонства в речах, газетах, книгах, включая учебники и словари.

В чём суть этого лингвистического приёма? Это давно известное в науке «плеоназмы» (от греч. *pleonasmus* — избыток), когда в речи применяются излишества, избыточные слова, ну, как «масло масляное». Они недурны, к примеру, в шутке («шутка юмора», «морда лица») или для выражения эмоций («быстро-быстро», «очень-пре-очень»). В проблемных же ситуациях их трудно оценить иначе, чем откровенное желание ввести человека в заблуждение. Иначе зачем писать в милицейском протоколе «находясь в состоянии алкогольного опьянения» — вместо «пьяный», «распивали спиртные напитки в лесном массиве» — вместо «пили водку в лесу»? К чему это словесное кривляние, когда надо не умничать, изводя бумагу, а просто что-то делать?

Но словесное жеманство наших милиционеров — ещё куда ни шло. А вот когда плеоназмами наполняются речи наших политиков, то неискушённый человек, как кролик пред удавом, просто теряется перед образом «высокой образованности», впадает в ступор, и тогда из него можно вить веревки. Приведём несколько примеров распространенных словесных мистификаций.

Народная демократия
 Трансферные перевозки
 Революционный переворот
 Опытный эксперт
 Свободная вакансия
 Демократическая республика
 Экономика хозяйства
 Государственная политика (и многие, многие другие).

Когда мы слышим выражение «государственная политика», понимая под этим «государственные дела», то стоит помнить, что «политика» идет от греч. *polis*, т.е. «государство». То есть в нашем сознании размыто представление, что есть «политика», а что — «государство». Можно даже слышать, как политики корят своих коллег, что те «занимаются политикой» (еще круче — «политиканством»), а не другими важными вещами, например, «экономикой». А что такое «экономика»

и как ею заниматься — тоже не очень ясно из-за того, что это слово присутствует в повторах типа «экономика хозяйства», «управление экономикой». При этом слово «экономика» от греч. *oikonomia* на деле и означает «управление хозяйством». При переводе с птичьего языка на человеческий выражение «экономика хозяйства» следует понимать как «управление хозяйством хозяйства». Подобные словесные повторы не просто затемняют смысл сказанного, а превращают слова в пустышки. Манипулировать ими — то же самое, что толочь воду в ступе, зато легко гипнотизировать неподготовленного человека.

А еще наши философы любят поговорить о «целостной системе», словно забыв, что по-гречески *systema* — это и есть «целое». Привыкнув к словесной эквилибристике, они часто называют «целостной ситемой» или «системной целостностью» рыхлые образования («экономическая система», «политическая» и т.п.), упуская из виду человека. Хотя каждый человек более системен (целостен), чем любое общество: у него есть воля, сознание, а у общества этих качеств нет. Общество может распасться на части, каждая из которых будет жизнеспособной, а человек существует только при условии целостности. И когда во главу угла ставится «системное исследование общества как целого» («Философский энциклопедический словарь»), то людям словно пытаются внушить, что «общество» — это нечто более живое, реальное и важное, чем отдельный человек, который воспринимается только как элемент «системы», недолговечный и неинтересный. Не случайно в нашей жизни от его реальных нужд так часто отворачиваются, предпочитая заниматься обществом, коллективами, партиями, «макроэкономикой» в ущерб всему остальному.

А теперь о «доверии» и «кредите». Один московский банк дает рекламу: у него «безграничный кредит доверия». Вряд ли банкиры шутят, хотя *credit* по латыни — «он верит». Многие политики «без шутки юмора» любят порассуждать на разных ток-шоу на тему: «Потеряла ли власть кредит доверия у народа или ещё не совсем». При этом не очень понятно, у кого этот самый «кредит доверия» и к кому: то ли политиков у народа, то ли избирателей у политиков. И вообще, что это за «кредит доверия», который, с одной стороны, можно исчерпать, а с другой, — он может быть безграничным?

А вот затёртое «долговое обязательство» затемняет смысл важнейших слов: «должен» и «обязан». В принципе, они близки по смыслу, но когда их ставят рядом, то возникает смутное подозрение, что это не совсем так. И это подозрение усиливается, когда законодатели предусматривают превращение долга в обязательство, например статьей 818 Гражданского кодекса РФ. Рождаются и другие подозрения: если есть «долговые обязательства», значит могут быть «недолговые»... Это как «должен», но не «обязан». И наоборот. «Долговые обязательства» порождают массу проблем с возвратом долгов и выполнением обязательств. Здесь любовь

к словесным излишествам попахивает, скорее мошенничеством, чем обычной глупостью. Эпидемия неплатежей, когда одни избегают платить патрнерам и государству, а оно в ответ хронически недоплачивает и не отдаёт своих долгов внутри страны (в отличие от долгов внешних), думается, идёт от смутных представлений и о долге, и об обязанностях. А причина подобной смуты — в словесной путанице, в бездумном жонглировании словами, когда неподготовленного человека легко обмануть и провести на мякине.

Людам свойственно хитрить и лукавить, умничать и морочить голову, охмурять, пускать пыль в глаза, вешать лапшу на уши, распускать хвост веером, наводить тень на плетень, заговаривать зубы, — чтобы одурачить ближнего, обвести его вокруг пальца; а ещё чаще — бездумно подражать этим нехитрым действиям. Стоит ли ломать копыя, осуждая хитрость или бездумную глупость? Однако стоит сказать, что намеренно хитря или бездумно повторяя чужие хитрости, люди занимаются чем угодно, но не делом, не реальной жизнью и нуждами конкретного человека, не политической и экономикой, а только их имитацией.



© Художник Андрей Карапетян

Александр Дубровский
(Россия, Москва)

Родился в 1961 году в Саратовской области. С детства мечтал об авиации, поэтому закончил МАИ, планировал долго и плодотворно трудиться над конструированием новых авиационных двигателей. К сожалению, жизнь распорядилась иначе, и в настоящее время являюсь владельцем и руководителем многопрофильной группы компаний.

Писать начал в начале нулевых, веду свой блог «Иррациональность правит миром», публикуюсь в ведущих интернет-изданиях России.

Очень тихая революция

С некоторого момента каждый пытливый рациональный мужской мозг, именуемый некоторыми женщинами квадратно-гнездовым явлением, неизбежно задаётся вопросом: почему же мы такие разные, вплоть до полного и тотального отсутствия элементарного взаимопонимания? Засим следует, как и положено, полный набор мыслеформ о несправедливом мироустройстве с приговариванием «cherchez la femme» и без малейшего шанса разобраться в причинах и прочих следствиях.

Между тем, вопросы эти несомненно важны не только для судеб отдельно взятых квадратно-гнездовых индивидов, но, как неожиданно показали последние мировые тенденции, ещё более важны для судьбы всего человечества, в недрах которого уже начали происходить процессы, пока ещё не получившие своего внятного и законченного объяснения.

Поэтому начну совсем уж издалека, от самых что ни на есть перво-причин.

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».

Цитата из Священного Писания приведена мной не случайно, и продиктовано сие необходимостью обращения к тем первоисточникам, которые, несомненно, обладают гораздо более глубоким иррациональным смыслом, чем всё, созданное человечеством в последующие эпохи. Несомненно, что религиозный аспект данного вопроса является одним из самых существенных, однако я предлагаю не слишком углубляться в догматы и значительные различия между конфессиями, в частности, и по вопросу разного отношения к мужчине и женщине, дабы без соответствующей подготовки не пойти по ложному пути. В общем, попробуем исследовать вопрос без явных отсылок к авторитетным источникам, используя их лишь для стартового посыла.

Итак, Бог создал человека по образу своему и подобию, как мужчину, так и женщину. Из этого следует, что мужчина и женщина, как минимум, равны. Однако дальше мы узнаём, что Бог сначала создал Адама, а лишь

затем из его ребра — Еву, что для рационального (оно же квадратно-гнездовое) сознания является бесспорным подтверждением преимущественного положения мужчины относительно женщины в силу первородности.

А теперь предлагаю читателю немного подумать и понять простую вещь: ведь в Библии говорится всё с точностью наоборот! Сначала Бог создал мужчину, а затем, увидев всё несовершенство своего творения, внёс необходимые правки в проект и, на базе уже имеющегося генетического материала, условно названного ребром, создал более совершенное существо — то есть, женщину.

Понимаю, что, опираясь на рациональные инструменты, захватившие умы современного общества, понять и увидеть истинный смысл сказанного за много тысячелетий до нас иногда совсем не представляется возможным. Наши сегодняшние системы ассоциаций совершенно иные, нежели у «отцов-основателей», писавших для своих современников: «Слово живет только в момент произнесения, при наличии внятной интонации и определенной обстановки. Перенесенное через века, оно умирает, и "как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова". А смысл бессмертен, но улавливать его следует иными способами» (Лев Гумилёв, «Поиски вымышленного царства»).

Хотите — верьте, хотите — не верьте, но женщина действительно была создана более совершенной во всех отношениях, чем мужчина: не только умнее, но и буквально сильнее физически, на что и намекает нам Святое Писание, причём совсем недвусмысленно.

В результате совершенно естественным образом женщина немедленно всю полноту власти и ответственности взяла в свои руки. Кстати, именно этот способ совместного существования мы называем матриархатом, который до сих пор в явном виде присутствует в некоторых «отсталых» (с точки зрения «цивилизованных») регионах Земли.

В общем, получив неограниченную власть по праву сильного, женщины тут же перераспределили обязанности и естественным образом поручили мужчинам заниматься ничем иным, как всей самой что ни на есть грубой и опасной работой:

- добывать пищу и огонь;
- охотиться;
- защищать дом;
- строить жильё;
- таскать тяжести и т.д., и т.п.

Согласитесь, мудрое решение, с которым, однако, в те времена особенно и не поспоришь без риска получить волшебный пинок в нужном направлении...

А что же из немалого списка общественно-бытовых обязанностей досталось самим женщинам? Уверяю вас, ничего для нас нового мы там не обнаружим — это, естественно, так называемая сфера более «лёгкой»

деятельности, хотя даже с точки зрения самих мужчин, не менее ответственной:

- хранить домашний очаг;
- воспитывать детей;
- распределять добычу;
- решать споры;
- совершать сделки и т.д., и т.п.

Опять же, согласитесь, даже у нас — мужчин — особых возражений не возникает, разве что, с распределением добычи и всем, что следует ниже, так и хочется поспорить, тем более, что сегодня это несравнимо безопасней. Тем не менее, сделаем скидку на эпоху и продолжим.

Из приведенного перечня видов деятельности видно, что последствием такого разделения сфер влияния будет тот самый пресловутый дарвиновский процесс естественного отбора (только без всякого образования новых видов). С одной стороны, надо отдать должное: мужчины из поколения в поколение становились сильнее и умнее, причём последнее свойство приобретало всё более и более рациональную окраску, так как для того, чтобы быть успешным, необходимо и достаточно быть физически сильнее соперника и лучше него разбираться в военных и мирных технологиях своего времени. С другой стороны, женщины неизбежно стали слабее мужчин физически, однако не стали глупее, потому что их занятия так же требовали от них незаурядных умственных способностей, только в основе своей других, характеризующихся, прежде всего, иррациональной окраской, основанной на интуитивном понимании нюансов и мелочей любого процесса, которыми мужчины, как правило, предпочитают пренебрегать. При этом минимальные физические нагрузки (по сравнению с мужскими) сделали тело женщины более нежным и подарили ей не менее смертельное, чем стрелы и копья, оружие — красоту.

Конечно, сложные и длительные процессы превращения слабых в сильных и наоборот проходили не так схематично и примитивно, но превалирующие тенденции, на мой взгляд, были близки к вышеприведённым.

Много ли времени прошло или мало, мне о том доподлинно неизвестно, но, «вернувшись с очередной охоты или войны», мужчины по праву сильного немедленно совершили «государственный» переворот и установили вместо матриархата тот самый патриархат, в котором подавляющее большинство человечества так и живёт по сей день.

Случилось то, что случилось, каждый занял свое место и стал играть свою роль в сценарии, написанном хозяйкой мира — иррациональностью.

Однако проиграв по форме, женщины не смирились по факту, так как однажды уже вкусили плоды своей неограниченной власти. Любой грамотный психолог подтвердит: такое не проходит бесследно и неизбежно запускает процесс формирования психического комплекса, который я называю «комплексом былой власти». К нему мы ещё вернёмся, а пока продолжим.

Поняв, что внешняя власть упущена, женщины сосредоточили всё своё внимание на внутренней власти, не такой масштабной внешне, но от этого не менее действенной по своим конечным результатам. Мужчины же, возомнив себя хозяевами жизни, самоуверенно и рьяно принялись за строительство мира в соответствии только со своими представлениями о том, как он должен быть устроен, и совершенно не представляя себе, к каким конечным последствиям это может привести. Вот именно так мы и получили в наследство технологическую цивилизацию, характеризующуюся внешней привлекательностью и крайней неустойчивостью внутренней в силу размытости и неопределенности конечной цели. Подавляющее количество технических достижений этой цивилизации создано руками мужчин, а значит, в соответствии с их представлением о том, как они должны быть устроены и, в конечном итоге, мы все живём в самой что ни на есть мужской цивилизации.

Однако если называть вещи своими именами, то мужчины, сами того не осознавая, строят цивилизацию не для себя, а для женщин, которым, в свою очередь, эта цивилизация не очень-то и нужна. Женщины же, в глубине своей души, чувствуют себя в этой цивилизации крайне неудобно и неуютно, они знают, что построили бы другой мир, другую цивилизацию, основанную на других ценностях.

Вынужденные жить «не в своём мире», женщины используют то «оружие», которое им дала природа — природный ум и интуицию, тонкое чутьё и знание слабостей мужчин, а также то «оружие», которое они приобрели — красоту. Тем самым, упустив внешнюю рациональную власть, они получили неограниченную иррациональную внутреннюю власть над мужчинами, являясь тайными пружинами их поступков и стимулом, ради которого мужчины готовы перевернуть мир.

Так постепенно и неуклонно мы приблизились к самому главному, ради чего, собственно, и был весь этот заумный текст об особенностях и различиях мужчин и женщин. Как и обещал, самое время вспомнить про выявленный ранее «комплекс былой власти», который, на мой взгляд, всю историю человечества с того самого момента, как мужчины получили безраздельную власть, вёл свою монотонную работу, не считаясь ни со временем, ни с затратами, раз за разом поднимая вопросы то о праве женщин голосовать, то о равноправии полов, то о недостатке женщин во власти и прочие, уже изрядно подзабытые темы.

Каюсь, не проводил никакого специального исследования о количестве женщин на самых верхних ступенях власти ведущих мировых держав, но сдаётся мне, что на наших глазах происходит очень тихая революция, где ключевое слово совсем не «очень» и даже не «тихая», а самая что ни на есть «революция». И дай нам Бог, чтобы главной проблемой этой революции был невинный вопрос:

А кто же теперь будет первой леди США?

Ольга Туханина
(Россия, Новосибирск)

Родилась в СССР в 1968-м году. Не была, не состояла, не значилась. Пошла в педагогический по призванию и желанию (быть может, одна из всего потока). С удовольствием работала в школе до тех пор, пока собственные дети не потребовали матери в доме. С тех пор сижу на хозяйстве и думаю о судьбах мира. Жила в Рошале. Вернулась в Новосибирск. Обычный человек, никаких достижений...

Неблагодарный всё-таки народ...

Неблагодарный всё-таки народ живёт в России. Освобождают его, почитай, сто пятьдесят лет всеми возможными силами, а он мало того, что не освобождается, так ещё и презирует своих добрых симпатичных освободителей, во время всяких опросов раз за разом отдавая предпочтение кровавым демонам и тиранам.

Феномен, достойный отдельного изучения. Есть ли на свете другой такой народ, который столь же яростно ненавидит и отвергает любую свободу?

Царь Александр II, наш великий либерал и реформатор, прекрасно знал эту порочную особенность своих подданных. Перед оглашением знаменитого манифеста об отмене крепостного права его правительство передислоцировало войска — и не ошиблось.

Уже в апреле 1861 года в селе Бездна (название-то какое говорящее) Спасского уезда Казанской губернии крестьянин Антон Петров, помрачённый крепостническим сознанием, начал баламутить соседей и призывать к беспорядкам. Манифест о свободе Петрову, видите ли, не понравился. И, надо сказать, его товарищи легко повелись на провокационные речи. Вскоре в Бездну ухнуло до десяти тысяч крестьян из соседних областей. Волнения охватили свыше семидесяти пяти сёл и деревень, перекинувшись из Казанской губернии в Самарскую и Сибирскую. С тяжёлым сердцем генерал-майор граф А.С. Апраксин отдал своим солдатам приказ стрелять в безоружный, но уже свободный народ. По официальным данным был убит девяносто один освобождённый человек и ещё восемьдесят семь ранено. Характерное соотношение. Так и положено во время боевых действий — раненых меньше, чем убитых. А провокатора Антона Петрова, не умеющего ценить свободу, предали военному суду и публично расстреляли.

В селе Кандеевка тем же апрелем 1861-го обошлось меньшей кровью. Каких-то девятнадцать убитых, не пожелавших понять, что свобода лучше несвободы.

Всего за год реформы было зафиксировано 1176 крестьянских восстаний, хотя за предыдущие шесть лет таких восстаний было только 474.

Цифры говорят сами за себя: модернизация пришлась тысячелетним рабам не по вкусу. За два года после оглашения манифеста правительству пришлось применить военную силу в 2115 селах. Смута распространилась настолько широко, что некоторые горячие головы, вроде господина Бакунина, даже заговорили о крестьянской революции.

Парадокс: людей торжественно освободили с самого верха, а они мятеж поднимают!

Злые языки, правда, говорят, что крестьян отпустили на волю без земли и без средств к пропитанию. Ну, надо, во-первых, вспомнить, что настоящая свобода — это вам не лобио кушать. А, во-вторых, это же прямая ложь. Без земли ещё в 1816 году освободили крестьян остзейских губерний — Эстляндии, Курляндии, Лифляндии. Так что это к прибалтам свобода пришла нагая. Русских крестьян освободили с землей. Но были нюансы. Ох, какие нюансы!

Начать с того, что после манифеста никакого крепостного права де-факто не отменялось. У нас, вы знаете, любят всё переименовывать. Так и тут. Крестьяне были переименованы из крепостных во временнообязанные. Они получали в личную собственность свои дома (приватизация?) и наделы в аренду. Но никуда уехать по-прежнему не могли, выплачивая всё тот же оброк и всю ту же барщину. С экономической точки зрения положение обычного крестьянина резко ухудшалось. Теперь он был формально свободным, но пользоваться свободой не мог, зато те вещи, которые раньше доставались ему бесплатно, теперь обходились в копейку. Так, если раньше крестьяне, будучи бесправными и крепостными, пользовались выпасами помещика или, допустим, его лесами бесплатно, теперь за всё приходилось отстёгивать. Формально отказаться от своего надела и уехать на волю крестьянин мог только через девять лет после начала реформ, однако в реальности выход из общины был обставлен такими условиями, которые делали его невозможным на практике.

Ну и главное: земля оставалась в собственности помещиков. Крестьяне должны были её выкупать, это ж капитализм. Но выкупать хитрым образом. Слышали об ипотеке? Вот приблизительно так же, только без земли в закладе. Государство сразу перечисляло помещикам восемьдесят процентов стоимости земли, двадцать отдавал крестьянин, а потом крестьянин выплачивал государству долг под 5,6% годовых в течение сорока девяти лет. По нынешним временам процент не так велик, но если вспомнить, что уже после реформ Витте деньги в Российской империи были привязаны к золотому стандарту (1897) и привлекались зарубежные инвестиции под 3,8% годовых, крестьянский процент уже не будет выглядеть таким щадящим. Особенно если учесть, что крестьянин не становился собственником земли в полном смысле этого слова даже после всех выплат. Земля принадлежала общине, продать её на сторону было нельзя, а сдавать в аренду можно было только другому члену общины. Не на пустом месте у нас колхозы появились. Стаж.

Надо упомянуть, кстати, что и сам выкуп земли происходил по ценам значительно выше рыночных. В цену земли включалась «цена свободы» — там была сложная формула, связанная с оброком. В иных случаях цена земли оказывалась в два раза выше рыночной, а в других — в пять или даже шесть раз.

Вообще, Российская империя решила с помощью «освободительной реформы» массу своих проблем. К шестидесят первому году девятнадцатого века большинство помещиков, увы, промотались и были полными банкротами. Если в начале века только пять процентов имений было в закладе у государства, то к 1850 году было заложено уже две трети имений и две трети крепостных душ. Выкуп земли государством позволил классу землевладельцев не только снять с себя долги, но и получить прибыль. Империя, выплатив пятьсот миллионов рублей за выкуп, уже к 1906 году вернула с помощью крестьян полтора миллиарда. Это дало, конечно, общее оживление экономики, но в конечном итоге привело и к 1905 году, и к 1917-му — так полагали не только марксисты, но и ряд зарубежных исследователей, вполне себе либеральных.

Вопрос о земле оставался в России ключевым для крестьян всегда. Он ведь так и не был решен.

Ни Бог, ни царь и не герой ни землю крестьянам в России так и не дали, ни свободу. История русского освобождения — это история бесконечного обмана. Огромная аграрная страна, веками стоявшая на крестьянстве, таки раздавила это крестьянство напрочь. Какое уж тут освобождение? Достаточно упомянуть, что крестьяне и после реформ Александра оставались в России единственным сословием, к которому можно было применять телесные наказания.

Да и коммунисты именно к крестьянству относились с особым презрением. «Кулачишки», «темный элемент». Расстреливали и травили. Но, конечно, любой Бухарин для Сванидзе куда дороже деревеньки где-нибудь под Тверью.

Окончательно паспорта работникам колхозов раздали лишь к 31 декабря 1981 (!) года.

О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ



© Художник Елена Любвич

**Татьяна Шеина
(Беларусь, Радошковичи)**

Родилась в Минске 29.04.1980 г. По профессии генетик.

Лауреат ряда литературных конкурсов и фестивалей в Беларуси, Украине, России, Латвии. Обладатель литературных премий «Славянские традиции» и «Под знаком трёх». Стихи публиковались в журналах «Днипро» (Киев), «Белый ворон» (Екатеринбург—Нью-Йорк), «Европейская словесность» (Кёльн), «Окна» (Ганновер), «Неман» (Минск), «Письмена» (Рига), «Балтика» (Калининград), литературных альманахах, газетах, коллективных сборниках. Автор поэтических сборников «Шестерёнки иллюзий» (2013), «Ведьминское» (2015), «Жар-рыба» (2016).

Подзамочное

Дом

Дом престарелый даже стоял с трудом,
Всеми забытый, по дряхлому виду судя.

...Стоило ей войти, напевая, в дом —
Дом потянулся к ней — всей деревянной сутью.
Печка чихнула, выплюнув чад и дым,
Ставни моргнули, отряхиваясь от пыли.
Глядя на мир сияюще-молодым
Взглядом, поверить не мог, что его купили.
Дом восторгался — преданный моногам —
Той, что смогла помочь ему обновиться.
Тихо визжа от восторга, к её ногам
Ластился каждой надраенной половицей,
Если она творила на кухне щи,
В тонкую вазочку ставила ландыш поздний...
Дом, хоть с трудом, случайных её мужчин —
Сердцем скрипя, но стараясь не строить козней —
Тихо терпел, отчаянно выносил.
«Дом! — говорила она, — и опять нас трое!»

Дом её ждал изо всех деревянных сил,
Больше, чем тех, кто когда-то его построил.
Ночи сырели. Чистил по его щепе
Лиственный шорох и яблочный стук зловещий.

... Утром она второпях протопила печь
И в чемодан аккуратно сложила вещи.
Возле калитки призывно взревел мотор,
Чей-то настойчивый голос воскликнул: «Ну же!»
Шамкая вдруг пересохшим от ветра ртом,
Дом осознал, что опять никому не нужен.
«Ты не грусти, — прошептала она, — поспи!
Отпуск закончен. До следующего лета!»

Дом, собачонкой, оставленной на цепи,
Тонко скулил и рвался за нею следом.

* * *

Есть дорога на север — и то, что предрешено.
А на всё остальное спокойно рукой махни.
В недрах нового мира, рождённого тишиной,
Мы друг другу как Песня Песен и Книга Книг.

Сколько можно страдать, выбирая одно из двух,
Свеженайденным знанием мериться допоздна?
Ты умеешь в шуршании листьев услышать Звук,
Я умею в дрожании листьев увидеть Знак.

Жизнь изрезана нишами — каждый нашёл свою.
Глупо сравнивать кошку и ястреба — ну и что ж?
Ты упорно, незыблемо веришь, что я спою.
Я упрямо, отчаянно верю, что ты прочтёшь.

Пусть от споров звенит в голове и в глазах пестро,
Есть дорога на север — а дальше ищи-свищи!
Наши игры в борьбу стоят ста языков костров,
Остальное — не стоит огарка кривой свечи.

* * *

Робко вжимаюсь в него и шепчу: «Не хочу!
Не отпускай, прояви хоть малейшую жалость!»
Нежно, отечески гладит меня по плечу:
«Я бы и рад — но пора: ты и так задержалась».

«Да, я усталая бестолочь — знаю, прости:
Просто всё хуже, труднее даются уходы!» —
«Солнце, каникулы кончились. Время расти,
Чтобы опять заработать заслуженный отдых».

«Голым птенцом выпадать из уюта гнезда
В ночь, где неравного травит безмозглая свора...
Как без тебя продержаться, скажи?» — «Как всегда:
Вмиг позабудешь — и вспомнишь, возможно, нескоро».

«Даже не думай! Ты свет мой, и цвет мой, и звук,
Жизни источник, поток, первозданная радость!» —
«Это сейчас. Но поверь, что, когда позову,
Будешь рыдать — мол, ещё не во всё наигралась».

«Нет же, не бу...» — дуновение. Шелест в листве.
Воздух внезапно пронзает визгливое меццо.
Боль. Беспробудная тьма. Ослепительный свет.
Слышу сквозь собственный крик: «Родилась! Наконец-то!»

* * *

Если хочешь смотреть на неё — лучше сквозь посмотри:
Ночь в зеркальном овале.
Эта женщина очень давно умерла изнутри —
И воскреснет едва ли.

Выпей горькую правду, как выпил цикуту Сократ,
Загорись и остынь ей:
Эта женщина Мёртвого моря мертвее стократ
И пустыни пустынной.

Вот она — беззаботней ребёнка, костра горячей,
Нищих духом блаженной...
Но в глазах её искры веселья — не более, чем
Лабиринт отражений.

Просто прошлого гром несмолкающий в сердце гремит,
Просто контур не замкнут.
Да, красива она — неживой красотой пирамид
И заброшенных замков.

Две морщинки у губ — это фатум поставил печать
С несмываемой датой.

Уходи, не смотри и не смей ничего обещать —
Ты не видел когда-то,

Как огромный пылающий мир, задыхаясь, хрипя,
До горошины сжался.
А поджѣгший его был чертовски похож на тебя.
И поэтому сжался.

* * *

Это было уже: отошло, прощено, решено...
Над заливом безумствует ветер, трезвяще-холодный.
Жаль, любые попытки лечить пустоту тишиной
Не засчитаны Свыше, поскольку пусты и бесплодны.

Это новый виток: сквозь прозрачную призму ума
Настоящее мутно, а прошлое чище кристалла.
Жаль, что дальше сбегать невозможно — ведь я же сама
Первым номером в списке людей, от которых устала.

Это старая песня, привет заскучавших Небес —
Сердце с мозгом играют в сакральное «кто перетянет».
Жаль, что мысли и сны неизменно приводят к тебе,
Даже если сквозь них пробираться кружными путями.

Всё по кругу, мой свет. Атмосферным фронтам вопреки,
Лунный камень сияет в оправе листвы винограда...
Ты меня, как бродячую кошку, подкормишь с руки
Недоглоданной мыслью — но я даже этому рада.

* * *

Пронзительны взгляды, вопросы в глазах просты:
«Кого из богов, еретичка, сегодня славишь?»
А где-то в почти параллельной вселенной ты
Касаешься тонкими пальцами пѣстрых клавиш.

Рождается магия — в космос величиной —
И, выплюнув в небо луну из разверстой пасти,
Изящной египетской коброй вползает ночь,
Муаровой лентой скользит по твоим запястьям.

Но, пусть на клыках серебрится смертельный яд —
Пока ты играешь, ему не коснуться плоти.
А где-то в почти параллельной вселенной я
Губами ловлю отголоски твоих мелодий.

Волшебные ноты, звенящие на весу,
Вживаются в душу, становятся там своими —

И каждая вдруг обретает иную суть,
Становится словом, линяет, меняет имя.

Рождается магия. Строки плывут, тихи,
К тебе. Солнцецвет прорастает сквозь грунт небесный.

...Всевышний, отсрочь столкновение двух стихий —
За миг до безумства, за пару шагов от бездны...

* * *

Миру — мир, бери вторую:	Жизнь сапёром с миной постной
Враг прощён, кулак разжат.	Подстрекает: выбирай!
В наших душах квартируют	Влево — стрёмно,
(И не думают съезжать)	вправо — поздно,
Желторотые подростки,	По прямой — ворота в рай.
Неприкаянные — те,	Дым Отечества глотая,
Что торчат на перекрёстке	Тщетно знака Свыше ждёшь —
Тех же спутанных путей	Всё ещё не золотая
И косят: куда бы деться,	И уже не молодёжь.
Снизив скорость до нуля.	Превращаешь грёзы в прозу,
Влево — взрослость,	Как ворон, считаешь дни...
вправо — детство,	Мы приблизились к циррозу,
Прямо — минные поля.	Жаль, что к истине — ни-ни.

Змея

«Вот у нас, — говорит, — много лет, как с тобой семья.
Чем я так провинился, единственная моя,
Что опять натыкаюсь на взгляд твой, колюче-хмурый?» —
«У тебя, — отвечает, — на шее висит змея:
День за днём в нашей пище её чешуя и яд!» —
«Это галстук, — кричит он, — не будь, ради Бога, дурой!

Я ж с тобой, — говорит, — мурлычу, что тот Баюн,
Я ж тебе много лет ноги мою и воду пью,
Что мне сделать, скажи, как ещё твою жизнь улучшить?» —
«Всё легко, — отвечает, — прикончи свою змею —
Или я сама, если хочешь, её убью!» —
«Это пояс, — кричит он, — обычный ремень от Гуччи!

Не ревнуй, — говорит, — начинаешь сходить с ума:
Напридумала чуши — и веришь в неё сама!
Я забыл ту змею, разлюбил и забросил в Лету!» —
«Извини, — отвечает, — банальный самообман:
Ты её до сих пор таскаешь — проверь карман» —
«Это лента, — кричит он, — простая цветная лента!

Не могу, — говорит, — насытился от и до!
Хочешь — дальше сиди, нахохлившись, что угод!
Лучше лягу, пока не случилось какой напасти!»...

Она молча берёт из тумбочки антидот —
И, дождавшись, пока он уснёт, под подушку кладёт,
Отодвинув шипящий клубок от его запястья.

Паллиативное

У него общежитие типа барака,
Где рассветы чернее, чем конь Люцифера,
А ещё — терминальная стадия брака
С метастазами в жизненно важные сферы.

У неё — психология юной Терезы,
Под густыми ресницами — ангелов стая,
До краёв заштрихованный круг интересов,
Только камера в сог-пусе вечно пустая.

Три кита — одиночество, случай и август —
Сочленяют их мир из вечерней прохлады.
Он приходит лечиться, скрывая диагноз,
Но она интуит — ей достаточно взгляда,
Чтоб понять: безнадежен, раздавлен и сломлен —
Ни теплом облучить, ни цинизмом разрезать.
Но она оптимист, а ещё, как мы помним,
У неё психология юной Терезы.

Умиравший в сог-пусе травит заразу
То депрессией серой, то змием зелёным.
Прибегает Тереза, становится сразу
Пледом, льдом, сертралином, морфином, бульоном —
И сжимается боль, что почти доконала,
Он светлеет лицом — дескать, больше не буду...

А зараза всё ширится, ищет каналы —
От угроз на работе до магии вуду.

Он уходит четырнадцать раз на неделе,
Прикрываясь тоской и душевным уродством.
Может, выписать — толку спасать, в самом деле,
Если он не из тех, кто умеет бороться?

Но она оптимист. С нездоровым задором
Снова тащит страдальца от смерти — к экстазам.
Ощущая нутром, как по всем коридорам
Распускаются гроздьё его метастазов...

Ключ

Кто нежен внутри — тот снаружи всегда колюч.
 ...Под слоем брони — у ключиц — на цепочке ключ.
 Раскинулось поле, где вольному — тот же рай,
 И, в общем, неважно: метели, дожди, жара.
 Летит аргамак — и рука теребит узду,
 А ветер — всегда попутный, куда б ни дул.
 Есть только свобода, терять её — не резон.
 Случайные люди уходят за горизонт,
 Знакомые лица теряются в пустоте.
 Но только свобода — важнее любых потерь.
 Всего-то уюта — обед да ночлег в корчме.
 Всего-то имущества — конь да булатный меч,
 Доспехи да сбруя, да пепел, да горсть монет,
 Да ключ от жилища, которого будто нет.
 Однажды за полем увидишь сквозь зыбкий зной:
 Ворота, забор, на воротах — замок резной,
 Внутри, за воротами — замок да пышный сад...
 И ключ у ключиц задрожит да начнёт плясать,
 Да рваться с цепочки, пытаясь пробить броню...
 ...Вонзи золочёные шпоры в бока коню,
 Чтоб с места — в карьер, чтоб оглядываться — не сметь,
 Чтоб замок за час растворился, исчез во тьме.
 Пусть даже твой загнанный конь упадёт с утра —
 Ты помнишь, свобода — важнее любых утрат.
 Ничто не лишит тебя рая свободно жить!
 А ключ, что на тонкой цепочке ещё дрожит,
 Содрать, размахнуться — и выбросить на скаку...
 Иначе... а вдруг — да и впрямь, подойдёт к замку?

* * *

Посуды клин проносится над улицей,
Гонимый заклинаньем трёхэтажным:
Сегодня совершенно не колдуется
Матёрой ведьме с многолетним стажем.

Сначала мышь попала в банку с травами
И оказалась в зелье приворотном —
В итоге, получилось нечто странное,
С эффектами слабительным и рвотным.

Пришёл купец-мерзляк, зубами лязгая,
Просить тепла. Тепла не получили,
А получили грозы над Аляскою
И тридцать сантиметров снега в Чили.

Девушка приплелась — гадать о суженом.
Не выгнала, раскинула Таро — да
Вдруг вышло, что король, который нужен ей,
Давно погиб во время третьих родов.

Кошак весь день по поводу малейшему
Мяукал дико, под ноги бросался.
Она в сердцах послала зверя к лешему —
Зверь зашипел и саморассосался.

Соседи шепчут: «Может, чем обидели?
Сейчас снесёт полгорода, смотри ты!»
...А где-то на окраине, в обители,
Придворный маг читает манускрипты.

Посуды клин проносится над улицей.
Спокоен маг: он знает всё — и даже
Причину, по которой не колдуется
Влюблённой ведьме с многолетним стажем.

Выбор

Это не между романтиком-Васей с пятого этажа
И Серёгой — обладателем нового «мерса» чёрного...
Выбор — убить внутриутробно или рожать
Ребёнка с врождённым пороком (читай: почти обречённого).

Выбор — война, стена, пустые глаза
Мужа, матери и детей. Карканье фашистского ворона,
Который предлагает именно тебе указать,
Кому — единственному - из них отойти от свинца в сторону.

Выбор — изогнувшийся над пропастью «серпантин»,
Пешеход, застывший на тормозном пути без движения,
Когда в живых может остаться только один,
В зависимости от поворота руля и твоего решения.

Выбор — броситься ли безоружным на подлеца,
Спасая девчонку, что зря по городу ночью шастала.
Выбор — оперировать ли больного раком отца,
С высочайшими рисками и минимальными шансами.

Выбор — когда у входа в подвал души
Совесь включает навязчивый пожизненный зуммер —
Потому что, в чью бы пользу ты ни решил —
Ты всё равно вместе с кем-то из них уже умер.

Когда все твои «это пройдёт» и «никогда не сдавайся»
Лежат на песке памяти снулыми рыбами...

...Дай Бог, чтобы выбор между Серёгой и Васей
Был для тебя самым серьёзным выбором!

Рауль Мир-Хайрадов
(Россия, Москва)

По образованию инженер-строитель, двадцать лет проработал в «Спецмонтаже», объездил страну вдоль и поперёк, и не однажды. В тридцать лет на спор с известным кинорежиссером написал за два дня первый рассказ. «Полустанок Самсона» опубликовали в московском альманахе «Родники». Меня, как автора, пригласили на съезд молодых писателей, по итогам которого попал в сборник «Мы — молодые» и издали первую книгу в «Молодой гвардии». В сорок лет ушёл на «вольные хлеба», т. е. стал профессиональным писателем. Ни в какие партии, ни новые, ни старые, никогда не вступал, хотя и зазывали. Не отметился и в литературных группировках, коим нет числа и сегодня. Шесть раз выходили собрания сочинений, включая и в издательстве «Художественная литература». Кому интересно моё творчество и биография, может узнать на моем сайте www.mraul.ru и в Википедии.

В тот вечер он был королём поэтов (глава из мемуаров «Вот и всё...я пишу вам с вокзала»)

Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет

Георгий Адамович

В начале своих воспоминаний, когда знакомил вас с Малеевкой, упомянул я и поэта Сергея Поликарпова и обещал вернуться к нему непременно. Человек трудной судьбы, мощного, мощнейшего дарования, у которого имелись все основания быть в первом ряду советских поэтов, заслуживает отдельного разговора, достоин памяти и упоминания индивидуально.

Впервые я приехал в Малеевку зимой 1975 года и попал за стол, за которым сидели Сергей Поликарпов, Павло Мовчан, а четвёртого не помню, он постоянно отбывал в Москву по каким-то не литературным делам. Сергею Ивановичу было уже без малого под пятьдесят, он имел хриплый голос, не по годам седой, крепкий, коренастый, с военной выправкой, ... бывший офицер, в зрелом возрасте закончивший Литинститут. Войну он встретил одиннадцатилетним мальчиком, видел позор отступления, выжил в оккупации и познал радость Победы. В годы оккупации он потерял много родных, друзей. Война оставила у мальчика в душе след, наверное, даже глубже, чем у фронтовиков. Я приведу потом одно его стихотворение, лучшее из миллионов, посвящённых военному детству.

Жил он всегда в четвёртом флигеле, на втором этаже, нигде не служил, вёл жизнь профессионального писателя, много переводил, его многие знали на Кавказе, особенно в Азербайджане. Ещё заметный штрих — он был «жаворонок», просыпался в четыре утра, на завтрак приходил, уже поработав, и всегда подтрунивал над теми, кто просыпался поздно. В шутку уверял, что настоящие стихи рождаются на рассвете, на зорьке, в тишине. Сам он верил в это всерьёз, видимо, так оно и есть, если судить по его стихам.

В день нашего знакомства я подарил ему свою первую тоненькую книжку «Полустанок Самсона», которую он прочитал в тот же день, потому что наутро сказал мне потеплевшим голосом: «У нас много общего в биографии, нас обоих крепко опалила и обездолила война. Хорошо, что ты это помнишь...».

Сергей Иванович взял меня под личную опеку, повел в библиотеку, представил хозяйке зала, показал нашу медсанчасть, объяснил порядки, привычки, традиции Дома творчества, который понравился мне сразу. Конечно, он знал всех, и его знали, он всегда знакомил меня с близкими ему по духу людьми. Познакомил он меня и с Ларисой Васильевой, с которой дружил с Литературного института, вот она понимала мощь таланта своего сокурсника и всегда, до конца жизни, помогала ему, ей первой он показывал новые стихи. Хорошо помню его семью, жена и взрослая дочь-студентка приезжали к нему каждое воскресенье, в этот день он ходил с ними в лес на лыжах, тылы у него были надёжные.

Начиная с хрущевской оттепели 60-х годов, в московской писательской среде шли постоянные серьёзные стычки между литературными группировками. В разное время по-разному назывались эти два сообщества: «левыми» и «правыми», «почвенниками» и «западниками», позже, к закату СССР, эти же группы уже назывались «патриотами» и «демократами». Разумеется, Сергей Поликарпов по убеждениям, литературным задачам и целям был ближе к «левым», «почвенникам», если бы он дожил до наших дней, безусловно, тяготел бы к «патриотам».

Такое резкое деление писателей существовало только в Москве и Ленинграде, хотя оно медленно, но упорно двигалось в столицы республик, но на местах руководство резко пресекало любую групповщину и искореняло неформальное лидерство, там всё решалось на Правлении Союза писателей. Мне кажется, что в Москве и Ленинграде кто-то очень властный подогревал и тех, и других. Писатели из республик, приезжавшие в Москву по издательским делам и в подмосковные Дома творчества, всегда попадали в нелепое положение, приглашая в застолье коллег из противоположных группировок, не говоря уже о более серьёзных ситуациях, которые понятны только писателям.

Сегодня, когда у разбитого корыта оказались и «левые», и «правые», хочу сказать, что «правые» отличались сплочённостью и редко отдавали своих на растерзание, будь то критикам или властям, никогда не остав-

ляли на поле боя раненых. Отношения между собой у «правых» были, уж точно, более человечными. Случались и у них разногласия внутри, но они старались не выносить сор из избы.

У «левых» бои между собой никогда не прекращались, вся их история — перманентная борьба, скандалы у них становились достоянием обществу и разрывом личных отношений на десятилетия. «Левые» в пылу страстей не жалели ни своих, ни чужих, где уж тут выносить с поля боя раненых, я мог бы припомнить десятки таких случаев, но, думаю, и примера судьбы С. Поликарпова достаточно, он был тоже из «левых». Хотя и сегодня, уже не первый год, личная тяжба В. Личутина с С. Куняевым, редактором журнала «Современник», становится достоянием обществу, не красит стан «левых», а лишь радует «западников».

Не могу по этому поводу не вспомнить случай на VI Всесоюзном съезде молодых писателей в марте 1975 года, где я был участником в семинаре Николая Елисеевича Шундика. В день торжественного открытия съезда, после приветственного слова председателя Союза писателей Георгия Маркова, слово для доклада получил Михаил Луконин, поэт-фронтовик, очень популярный и авторитетный в литературной среде человек, секретарь правления СП. Я видел его впервые: рослый, смуглый, уверенный в себе поэт, в элегантном зелёном кожаном пиджаке, кожа только входила в моду.

Мы, участники съезда, заполнившие концертный зал гостиницы «Юность», принадлежавшей ЦК ВЛКСМ, ожидали, что он обратится к нам, молодым, с напутственным словом или будет говорить о поэзии, поэтах, на кого надо равняться. Но... всё выступление М. Луконина оказалось адресовано одному единственному человеку, находившемуся в зале, с которым я сидел почти рядом, на расстоянии протянутой руки... Евгению Евтушенко. Евтушенко сидел спокойно, ни один мускул не дрогнул на его лице, только заметно побледнел, особенно это было видно на фоне его вишневого цвета бархатного костюма, которые даже в моду еще не вошли и появятся у нас только через три-четыре года.

Суть двадцатиминутного доклада сводилась к тому, что Е. Евтушенко написал предисловие к новой книге поэта-фронтовика Александра Петровича Межирова, того самого, который в войну создал знаменитые строки, вошедшие в историю — «Коммунисты, вперед!». Тональность текста Евтушенко, его оценочные моменты творчества поэта очень не нравились М. Луконину, предъявил он и другие серьезные претензии. Сквозь всё выступление М. Луконина рефреном звучало: «Межирова мы вам не отдадим, не отдадим вам Межирова...»

Вот тогда, ещё не вступив в СП, я понял, что попал на поле битвы между «почвенниками» и «западниками», но должен честно признаться — мне в ту пору был интересен и тот, и другой их представитель. Кстати, книжка А. Межирова с предисловием, вызвавшим гнев М. Луконина, у меня уже была, поэзией я увлекся с юных лет ещё в Актюбинске, хотя

сам не зарифмовал и двух строк. Предисловие Евгения Евтушенко мне тоже нравилось, даже прочитав его после выступления М. Луконина, я не нашёл в нём крамолы. Могу утверждать — блистательный текст! Я завидовал позже тем писателям и поэтам, к книгам которых Е. Евтушенко написал предисловия или послесловия.

Таких глубоких знатоков поэзии и литературы в целом, на мой взгляд — единицы, могу поставить рядом с Евгением Евтушенко только Е. Витковского, оба они оставили серьёзные поэтические антологии XX века с глубочайшими комментариями. Большинство поэтов XX века останется в памяти потомков только благодаря тому, что они попали в эти антологии. Жаль, что нет такого исследования о прозе XX века.

С А.П. Межировым я познакомился в Коктебеле, в 1989 году на отдыхе, он прочитал мой роман «Пешие прогулки», и мы с ним часто общались. Рассказал я ему и о выступлении М. Луконина на съезде молодых писателей, об этом он, конечно, знал. На какой-то мой уточняющий вопрос о том давнем выступлении Луконина Александр Петрович ответил, рассмеявшись: «Литературная жизнь, дорогой Рауль, это айсберг, и послесловие к моей книжке стало лишь поводом, чтобы предъявить Жене столь серьёзные претензии с высокой трибуны...». Много лет спустя я узнал, что Александр Петрович — бывший тесть моего замечательного друга, поэта и прозаика, моего биографа академика Сергея Алиханова. Пути Господни неисповедимы.

Но вернемся в Малеевку, к Сергею Поликарпову. Я быстро обжился в Доме творчества, появились новые знакомства, меня приглашали на вечеринки, и я сам приглашал гостей. Из Ташкента не приезжают с пустыми руками. Однажды, после завтрака, когда я выписывал свою обязательную норму — четыре машинописные странички в день, ко мне постучали. На пороге стоял директор Дома творчества В. Худяков, строгий мужчина, полковник в отставке, из органов, я с ним не был знаком, да и необходимости не возникало. Визит меня, конечно, удивил, хотя за собой я никаких провинностей не ощущал. Худяков, заметивший мою растерянность, сказал:

— Я к вам на минуту, я по поводу Сергея Ивановича, вижу, вы с ним сдружились.

От такого сообщения я растерялся ещё больше, но гость умело разрядил обстановку, продолжив:

— Вы человек новый, впервые в Малеевке и всего можете не знать, поэтому я зашёл к вам попросить, чтобы вы ни в коем случае не предлагали Сергею Ивановичу выпить, я знаю, южане — хлебосольные люди, любят застолья.

— Почему? — вырвалось у меня.

Погрустнев, Худяков ответил:

— Сергей Иванович — большой русский поэт, но у него есть одна непоправимая беда, что-то гложет его изнутри, и он крепко пьёт. У него случаются затяжные запои и на две, и на три недели, и выбирается он из

них очень тяжело. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к нему, не наливайте, если он зайдёт к вам выпившим, — с тем гость и откланялся.

Сейчас, запоздало, я понимаю, какие заботливые люди оберегали покой писателей, сегодняшнему начальству такое и в голову не придёт. Я стал внимательнее относиться к Сергею Ивановичу, никогда не говорил — а вот вчера мы хорошо посидели, не покупал в его присутствии спиртное в баре, понял, как зорок, наблюдателен полковник в отставке, и не забывал его слова: «Сергея Ивановича что-то гложет изнутри, не даёт ему покоя». Несколько раз он заходил ко мне, мы пили чай, говорили о разном, я пытался разговорить его, но он тайну свою прятал глубоко. Моя первая зима в Малеевке закончилась быстро, я пробыл 24 дня и улетел в Ташкент, в ту пору я ещё продолжал работать в «Спецмонтаже». Сергей Иванович остался на второй срок до середины марта, я радовался, что срыва, о котором меня предупреждал В. Худяков, не случилось.

Вновь встретились мы с Сергеем Поликарповым уже следующей зимой. Все места за столом Сергея Ивановича оказались заняты, и меня посадили за стол к Григорию Яковлевичу Бакланову, с которым позже тоже завяжутся добрые отношения до конца его дней. В этих мемуарах ему уже были посвящены страницы в начале. В эту зиму мы часто с Сергеем Ивановичем вместе катались на лыжах, к лыжной прогулке мы оба уже выполняли свой индивидуальный план. Подмосковные леса сорок лет назад — настоящее чудо, непроходимые дебри, нерукотворная красота! Берендеев лес — говорил Сергей Иванович в те дни, когда накануне ночью выпадал снег, и деревья стояли в сказочном убранстве. Он прекрасно знал леса вокруг Малеевки, оказывается, он и летом приезжал сюда работать, а в воскресенье с семьёй ходил по грибы. Он, выросший в деревне, в самой глубинке России, любил и знал природу, мастерски воспел её в своих пронзительных стихах.

Однажды, после обеда, когда Дом творчества замер на тихий час, ко мне вдруг пришёл Сергей Иванович. Визит был неожиданным — он готовил к сдаче книгу в «Советском писателе», которая выходила вне плана, и дорожил каждой минутой. Я сразу вспомнил полковника Худякова и понял, что тот час для меня настал. Обычно деликатнейший человек, Сергей Иванович без обиняков сразу потребовал: «Налей чего-нибудь выпить, душа горит». Я ответил, что вчера у меня были гости, и все запасы кончились. Чтобы подольше удержать его, я включил чайник и сказал: «Схожу-ка я к Мусе Гали, у него вчера была бутылка». Вернулся я минут через 20, Сергей Иванович, кажется, задремал на моем диване, чему я очень обрадовался. Но как только я двинулся выключить закипевший чайник, скрипнула половица, и он пьяным голосом требовательно спросил: «Принес?»

Я соврал, что ни у Мусы Гали, ни у Вити Гофмана, ни у татар, ни у башкир, ни у Роллана Сейсенбаева, моего земляка, спиртного, как назло, не нашлось. И предложил выпить чаю с башкирским медом, который

привёз мне в подарок Мустай Карим. При упоминании имени поэта, с которым Сергей Иванович был накоротке, гость неожиданно успокоился и сказал — чай так чай, давай наливай. В общем, я задержал его надолго. В этот выюжный, метельный день, в сумерках мне открылась тайна, мучившая моего друга и покровителя Сергея Ивановича Поликарпова. Лекарств от той раны, полученной в начале творческого пути (я это понял сразу), не было и быть не могло. Неизлечимая боль. Случаются в жизни такие ситуации, от которых ни время, ни удачи не лечат, ничто не может вернуть украденную победу, восполнить упущенную удачу, повернуть вспять предназначенную судьбу.

Рассказывал Сергей Иванович свою неизбывную печаль и обиду часа два, сумбурно, время от времени повторяясь, иногда слёзы обиды заливали его мужественное волевое лицо, хотя он не плакал, и он надолго замолкал. Но суть беды мне становилась понятной, такое в жизни встречается и в более трагических вариантах. Упоминал он многие известные имена поэтов, которые тогда, как и он, только вступали в литературу.

Наверное, мне надо было сразу после ухода Сергея Ивановича сделать какие-то наброски в дневнике, который в ту пору я вел, записать хотя бы фамилии поэтов и чиновников от литературы, отметить имена режиссёров и операторов кино, причастных к этой истории, но что-то помешало мне это сделать. Жаль, очень жаль. Сегодня, сохранись записи исповеди Сергея Ивановича, они могли бы послужить литературе и читателям документом времени, эпохи, показать — какие есть пути восхождения на Олимп, как одних мастерски возводят на пьедестал, а других просто не замечают, даже поэтов ярчайшего дарования, каким был уже в начале пути Сергей Поликарпов. И мне придётся, дорогой читатель, написать по памяти исповедь поэта тем далеким зимним вечером в Малеевке, когда страна и люди были другими. Всё равно мне не передать интонацию, глубину чувств, страданий, которые происходили на моих глазах, не передать образность речи большого поэта, но суть беды останется, уверяю вас, ведь живы до сих пор многие свидетели давнего триумфа Сергея Поликарпова.

В 60-е годы XX века не только футбол увидел невиданный взлёт, но и поэзия собирала футбольные стадионы, тиражи поэзии равнялись тиражам прозы. Вдумайтесь, оцените — тиражи поэмы Евгения Евтушенко про нейтронную бомбу и Братскую ГЭС были от трёхсот тысяч до полумиллиона, поэмы бесконечно переходили из книги в книгу, и всё расходилось, раскупалось! Сегодня о вечерах в Политехническом институте слагаются легенды, складываются мифы.

Предыстория первого большого поэтического вечера в Политехническом в начале 60-х такова. Марлен Хуциев, режиссёр и поныне здравствующий, снимал фильм «Застава Ильича», позже он отмахнётся от Ильича в названии, благодаря которому он, скорее всего, и попал в план. Далеко видел, и назвал этот же фильм более нейтрально — «Мне 20 лет».

Для этого фильма ему понадобилась документальная хроника поэтических вечеров с участием молодых поэтов. Выбор для съёмок пал на Политехнический, где и раньше проводились творческие вечера поэтов, но не таких масштабов, какими видел их режиссёр. Оттого Марлен Хуциев снимал эту массовку три дня подряд. Слух о поэтических вечерах разошёлся по Москве до начала съёмок, а уж после первого дня о них знала вся литературная и студенческая Москва, вход был бесплатный. Наплыв любителей поэзии, желавших сняться в кино, оказался столь велик, что на второй и третий день МВД вынуждено было подтянуть к Политехническому конную милицию.

Сергей Иванович назвал мне абсолютно всех участников тех легендарных поэтических вечеров, многие имена, к сожалению, забылись, растворились во времени, поэтому я сознательно упомяну только тех, кто невероятно поднялся, да что поднялся — улетел в небеса навсегда после тех вечеров. После триумфа в Политехническом создалась на десятки лет вперед группа небожителей, поэтическая элита, в которую редко кто мог попасть, даже обладая ярчайшим талантом.

Перечислю их поименно, хотя и этот список, к сожалению, заметно поделел: Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Окуджава, Ахмадулина, Казакова. Они все, кроме Окуджавы, были молоды, ровесники Сергея Поликарпова. Имена этих, безусловно талантливых людей, уже были на слуху, но знаменитыми они стали после тех вечеров в хрущёвскую оттепель, особенно после выхода фильма. Их узнала вся страна, такая реклама выпала поэтам только раз за всю историю СССР. Фильм постоянно находился в прокате, потом на десятилетия перекочевал на телевидение, успех фильма обеспечила именно документальная вставка о поэтических вечерах. Помню, многие далёкие от литературы люди думали, что такие ажиотажные поэтические вечера происходят сами по себе ежегодно. Но вернёмся на сам вечер, а точнее — вечера. Почти всех встречали доброжелательно, никого не освистывали, случается и освистывают на поэтических вечерах. Успех выпал каждому из перечисленных мною поэтов, их хорошо принимали, громко аплодировали, некоторых не отпускали со сцены.

Настал черед и нашего героя. Он был молод, заканчивал Литинститут, несмотря на крепко сбитую фигуру, выглядел стройным, как гимнаст, в армии он успешно занимался этим видом спорта. Русоволосый, волевое лицо с глубоким шрамом на губе, как у гладиаторов, и мощным, почти оперным баритоном. Хрипота у него появится позже, однажды он серьёзно застудит горло и чуть не потеряет голос совсем.

И начал читать. Прочитав два первых стихотворения, он сделал, как актеры-трагики, паузу — решил проверить зал, как он воспримет столь дерзкие стихи у незнакомого поэта. Сергей Поликарпов уже имел опыт выступлений в больших аудиториях, знал цену себе и своим стихам, потому он читал свободно, страстно.

Деревня пьёт напропалую —
 Всё до последнего кола,
 Как будто бы тоску былую
 Россия снова обрела.

Первач течёт по трубам потным,
 Стоят над банями дымки...
 — Сгорайте в зелье приворотном,
 скупые страдные деньки!

Зови, надсаживаясь, в поле,
 Тоскуй по закромам зерно.
 Мы все досужны поневоле,
 Мы все осуждены давно.

Своей бедою неизбытной —
 Крестьянской жилой дармовой.
 Нам и в ответе также сытно
 За рослой стражною стеной...

Под Первомай, под аллилуйя
 И просто, в святцы не смотря,
 Россия пьёт напропалую,
 Аж навзничь падает заря!..

Едва над входом гробовым
 Вчерашнего всея владыки
 Рассеется кадильниц дым
 И плакальщиц замолкнут клики,
 Как воспринимающие власть,
 Как будто бы кутьёй медовой,
 Обносят милостями всласть
 Круг приживальщицкий дворцовый,
 А прочим —
 Вторят старый сказ,
 Что бедам прошлым не вернуться...
 Меняется иконостас,
 А гимны прежние поются.

Зал застыл в гробовом молчании, переваривая немислимые откровения, убеждённость поэта и вдруг, словно взрыв мощной бомбы, взорвался аплодисментами. Кричали: Молодец! Ещё, ещё! Bravo! Bravo! И он, шагнув к краю сцены, читал и читал, а его всё не хотели отпустить. Помощники режиссёра шипели сзади — хватит, хватит. Но Сергей по-

нимал, что это его звёздный час, он далеко обставил всех поэтов, уже упивавшихся своим успехом, оттого и не обращал внимания на окрики киношников.

Читал он одним из последних в тот вечер, видел и понимал разницу, как принимали его и других. Да, аплодировали многим, но взрыв аплодисментов, шквал одобряющих выкриков не достался тем — всем вместе взятым, в таком объёме и мощи. В этот день он раздал сотни автографов, толпа поклонников провожала его до метро, как оперного тенора, такой успех бывал только у Козловского и Лемешева. Если сравнить успех выступления Поликарпова по-одесски с обозначенным мною списком, они там все и рядом с Сергеем не стояли.

Столь ошеломительный триумф, казалось, не забыть никогда. Надеюсь, вы понимаете, как Сергей ждал выхода фильма, с ним студент связывал большие надежды, был уверен, что перед ним откроются двери издательств, заметят в СП, газетах, журналах, на радио. Литинститут гудел, признавая его победу. Выступления поэтов в Политехническом кто-то назвал турниром, где определяют короля поэтов. И вспоминали Игоря Северянина, избранного в узком кругу таким королём поэтов. Но шутовское определение у Северянина осталось не только на всю жизнь, оно вошло и в историю. Доброжелатели в Литинституте, бывшие на тех вечерах, так и трактовали успех своего коллеги.

Фильм вышел. Но принес жестокое разочарование Сергею, в фильме не было ни одного кадра с ним, ни одного. Более того, снятый крупным планом зал во время его долгого выступления, тот взрыв аплодисментов, рёв приветствий, обращений к нему примонтировали к совсем другим поэтам, список я уже назвал.

Разве можно забыть такую подлость? Как пережить, когда твою победу украли и по кускам раздали другим? Он-то хорошо помнит зал, помнит лица знакомых и друзей, их восторг и благодарность, их восхищение адресовалось только ему, студенту Поликарпову, мальчишке, уцелевшему в оккупации.

Турнир, если так назвать выступления поэтов, Поликарпов выиграл у всех в честном соревновании, и тому свидетелем стал весь восхищённый зал, который аплодировал ему стоя, когда он покидал сцену. Об этом историческом выступлении поэтов помнят до сих пор, но мало кто знает правду. Уже пятьдесят лет удачливые поэты, чья карьера, успех состоялись, отчасти благодаря тому выступлению в Политехническом, написали сотни статей, воспоминаний, многократно выступали на телевидении и в публичных местах, но никто из них не признал, что результаты того открытого соревнования поэтов перевернуты в фильме с ног на голову, победитель остался вне истории, и они ни разу нигде не упомянули Сергея Поликарпова. А ведь он жил рядом, писал по-прежнему достойные стихи. Предлагаю вашему вниманию стихотворение о военном детстве, которое я уже анонсировал.

она вся была отдана поэзии. Однажды летом, в начале 80-х, я встретил его на улице Горького, он куда-то спешил с очень счастливым лицом, таким я не видел его никогда. Я окликнул его. Мы обнялись, и он радостно достал из кейса сигнальный экземпляр однотомника, выходявшего в «Художественной литературе». Что такое издаться в «Художественной литературе», знают только писатели. Это высочайшая оценка труда писателя, и редко кто может похвалиться, что издавался там. Слава богу, хоть тут не закрыли ему дорогу, поступили с ним справедливо.

Может возникнуть вопрос, почему я столько лет молчал? Отвечу — чтобы затрагивать такие тонкие вопросы, касающиеся коллег, самому надо состояться в литературе, создать что-то стоящее. Такой роман «Пешие прогулки», получивший общественное признание, я написал только в 1988 году. Вышел и у меня в «Художественной литературе» большой однотомник тиражом 250 тысяч. Пришло время мемуаров, и сегодня логично появились воспоминания о моем друге Сергее Поликарпове, чей успех задушили в колыбели, когда он только расправлял свои могучие крылья.

Наверное, и моя литературная судьба чем-то схожа с ним, есть очевидные параллели. И я ощущал на себе равнодушие и пресс «левых» и «правых». Из-за «правых» не вышли «Пешие прогулки» в «Новом мире» в предназначенных мне пятом и шестом номерах 1989 года. Чуть раньше там же у меня зарубили на редколлегии повесть «Седовласый с розой в петлице». Только «правым» я обязан тем, что меня «прокатали» в итальянском издательстве «Фельтринелли» и в одном крупном американском издательстве. О том, что они заинтересовались моими романами «Пешие прогулки» и «Двойник китайского императора», я получил официальное письмо из ВААП.

ВААП в своем журнале, выпускавшемся к каждой книжной ярмарке на многих иностранных языках, поместил обо мне обширную информацию с фотографией и дал большой отрывок из нового романа «Двойник китайского императора», который «Молодая гвардия» экстренно выпустила к ярмарке. Разумеется, никаких китайских императоров в романе нет, эта наша советская верхушка, включая кремлевскую, вела себя, как китайские богдыханы. ВААП даже оплатил мне командировку в Москву на книжную ярмарку 1989 года и организовал встречу с этими издательствами. В советскую пору писателям не принадлежали права на собственную книгу, все вопросы издания за рубежом решал ВААП.

«Правые» всегда контактировали с иностранцами, ходили на приемы в посольства, а издателей они обхаживали особенно. В дни книжной ярмарки на приватной вечеринке, в одном из литературных салонов «правых» принимали издателей из-за кордона, включая и моих. Когда прозвучала моя фамилия из уст американцев, все дружно отрепетированно ахнули и сказали удивленно: «Не знаем такого, никогда не слышали такую фамилию».

И я тут же был похоронен заживо. Хотя у меня в те дни уже верстали большой однотомник в «Худлите», а на Всесоюзном Радио полгода шла многочасовая радиопостановка по «Пешим прогулкам». И до этого я уже

лет шесть подряд регулярно печатался в журнале «Советская литература», выходящем ежемесячно на десяти иностранных языках, и у меня уже вышли семь книг в «Советском писателе» и «Молодой гвардии». Я даже знаю, кто дирижировал, и кто особенно усердствовал на вечеринке в тот день, святая себя, т.е. свои книги. Не стану называть его фамилии, его уже нет. Умер недавно в нищете и забвении. Господь бьет редко, но больно.

Такова кухня московской литературной жизни, такой она остается и по сей день. Посмотрите, кто ездит на международные встречи, книжные ярмарки, кого приглашают на встречи с властью, там одни «демократы», даже выдающимся писателям из «левого» лагеря Валентину Распутину и Владимиру Личутину там не находится места.

А из-за «левых» в 1990 году те же «Пешие прогулки» не вышли семи-миллионным тиражом в «Роман-газете» у В. Ганичева, где я по конкурсу читателей опередил всех соискателей на публикацию. «Левые» зарубили уже принятую журналом «Современник» повесть «Не забывайте нас», у меня даже телеграмма Юрия Селезнева, заведующего отделом прозы, с поздравлением сохранилась. «Левые» завернули уже принятую в «Дружбе народов» повесть «Чти отца своего», которая много переводилась и выходила раз 25 в моих книгах.

Я, как и Сергей Поликарпов, «левак» по убеждению, мироощущению, и тексты мои многотомные, остросоциальные — «левые», хотя я и дня не был коммунистом. Я утверждал, что «правые» были мягче, интеллигентнее, шире натурой, не могу обойтись без примера. В журнале «Юность» в 1978 году взяли одну из моих ранних повестей с жутким названием «Дамба», тогда про «Котлован» Андрея Платонова еще не знали. Повесть подготовила к печати сама всевластная Мэри Лазаревна Озерова. Но на редколлегии при голосовании с перевесом в один голос «западники» «зарубили» меня, даже авторитет редактора и Мэри Лазаревны не помог.

Через несколько дней Мэри Лазаревна со своим мужем, известным критиком, секретарем СП В. Озеровым прилетела в Ташкент на съезд писателей Узбекистана. С собой она захватила уже подготовленную к печати мою рукопись и убедила главного редактора «Звезды Востока», что эту повесть надо печатать обязательно, и та попала в ближайший номер. Такой поступок от «левых» я и представить не могу.

Заканчивая печальную историю Сергея Поликарпова, хочу высказать свою обиду «левым» за своего друга — отдать «западникам» без боя победу молодого, истинно русского поэта, душою и творчеством бывшего в вашем лагере, так же безнравственно, как и украсть у него победу. Оставив раненого на поле боя, и вы, «левые», тоже поступили «западло».

Несколько слов о Марлене Хуциеве. Конечно, в тот же вечер исповеди Поликарпова он перестал существовать для меня как режиссер. Что бы он ни создал, до каких высот ни поднялся, как бы ни хвалили художественность, правдивость, искренность, высоконравственность его фильмов, ничто не искупит его вину за загубленную творческую судьбу Сергея Поликарпова. Ведь

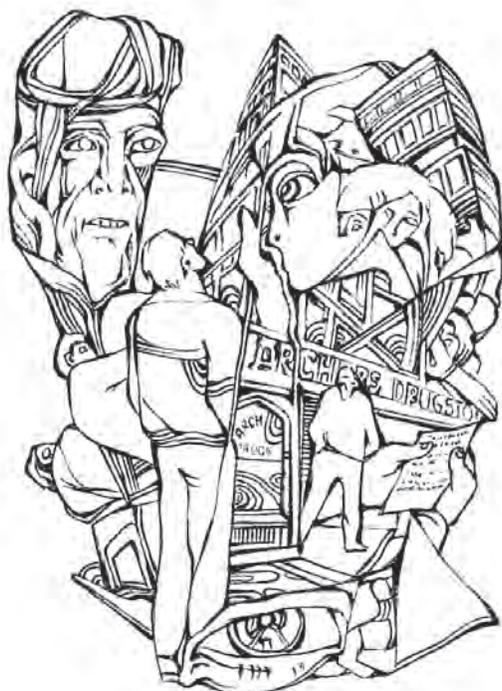
не бегали за ним, запугивая, Ахмадулина и Вознесенский, чтобы он убрал из фильма Поликарпова. Марлен Хуциев сознательно потрафил своим, «западникам», ибо и в кино существовало такое же разделение на наших и ваших, и он понимал, что свои не забудут, кто стоял у истоков их феерического взлета, кто запустил их, как ракету. Вспомнил я о нем несколько лет назад, когда 82-летний Марлен Хуциев рвался возглавить Союз кинематографистов – «западники» выставили его против «патриота» и державника Никиты Михалкова. История повторилась по второму кругу, и я воскликнул — жив курилка! И добавил — горбатого могила исправит.

P.S. Режиссёр о режиссёре:

«Не знаю почему, но меня последнее время стал чрезвычайно раздражать Хуциев. Он очень изменился в связи с тёплым местечком на телевидении. Стал осторожен. С возрастом не стал менее инфантильным и, конечно, как режиссёр совершенно непрофессионален. И мысли-то у него всё какие-то короткие, пионерские. Все его картины раздражают меня ужасно».

Андрей Тарковский.

Отель «Амирандес», Крит, сентябрь, 2012 г.



© Художник Андрей Карапетян

Майя Шварцман
(Бельгия, Гент)

Родилась в Свердловске (Екатеринбурге), закончила музыкальную школу-десятилетку и консерваторию, скрипачка. Работала в театре Оперы и балета, из России уехала в 1990 году. Пишет стихи, а также рецензии и статьи о классической музыке. Постоянный автор сайтов Belcanto.ru и Operanews.ru. Публикуется в журналах, автор нескольких книг, одна из них — с иллюстрациями автора. Живёт в Бельгии, работает в оркестре Европейской филармонии и ансамбле «Parapeno».

Предчувствие

* * *

Знаешь: случится.

Помнишь: настигнет.

Тягостно носишь, подобно горбу,
между лопаток незримую стигму,
тайную точку прицела на лбу.

Воздух прищурен.

Косым соглядатаем

ветер, притворно попутный, летит,
мягко толкает настойчивым дактилем
в спину, в затылок,

а пыли графит
путь невзначай отмечает пунктирами.
Влага испарины вдруг хомутом
шею сжимает, и чувствуешь сырým и
загнанно-сбившимся сердцем: ведом.

Думал: присмотрен.

Верил: избавлен.

К лучшему, к лучшему, врал назубок.

Выжить бы, выжать предчувствие травли,
скрытой погони... Но как поводок,
дёргая пульс, пробегают запястьями
прикосновенья слепого чутья.

Страхами лижет тебя языкастыми
сумрак, предметы глумливо двоя.

Истово, с самозабвенностью нереста
множатся шорохи бледных ночниц,
пенятся ужасы,
призвуки,

шелесты

перьев кошачьих,

змеиных ресниц.

* * *

... но не хватает букв. Пытаясь
завоевать хотя бы пядь
живой строки, словесный паюс
на слух, на вкус перебирать.
Всё то, что связкам в поединке
не повторить, не уловить,
жизнь произносит без запинки,
перерастая алфавит.

Какой фонетикой сохранны
невыразимый свист вьюрка,
звон тетивы, ручья сопрано,
трескучий тамбурин сверчка?
Каким облечь запечатленьем
прозрачный голос, что живёт
в протяжных гласных песнопенья
на петлях храмовых ворот?

* * *

...как вдруг поймешь, что это — за тобой.
Вот так без околичностей, без сговора
примёт неосязаемый конвой
даст осознать, какое уготовано
тебе в задумке место. В сыпь синкоп
собьются за грудинной мышцы часики,
и возвестит болезненный озноб
о неизбежном жребии причастности.
И затрепещешь с головы до ног,
как будто в оркестровой яме заново
почувствовав призывный холодок,
когда на сцене поднимают занавес.

* * *

Воздух влагою мелко закапан,
но грозе наступить недосуг.
Словно флейты заклинивший клапан
проглотил ожидаемый звук,
словно длится, и длится, и длится
нескончаемый взятый затакт,
и, дыханье держа, полнолицый
от натуги, краснеет закат.

Словно в поисках нужных отметин,
пригибаясь к листьям, близорук,

продувает отрывисто ветер
 поперхнувшийся зноем мундштук.
 В партитуре захватанной шарит,
 уповая, что сыщется гром.
 Духота, словно войлочный шарик,
 застревает в гортани комком.

И тогда, напряженьем измучив,
 ослепительный щёлкает кнут,
 будто где-то срываются в тучах
 и в тарелки, не выдержав, бьют.
 Гром прерывисто рвёт перепонку,
 нарастает, горласт и мясист, —
 и ему, спохватившись, вдогонку
 зазевавшийся свищет флейтист.

Под токованье птицам отдан сад,
 но силу тока не назвать в амперах.
 Пуская за разрядом вновь разряд,
 искрит гортань, оправленная в перья.
 Рукоплеща без устали, с утра
 звенит бузинник, музыкой пронизан,
 орешника пульсирует кора,
 внимает дом, вибрируя карнизом.

Колоратур и трелей череда —
 куда там окарине и гобою —
 свиваются над крепостью гнезда,
 короне уподобившись; любое
 гнездо — отчасти нимб, венец, кольцо
 из тёрна с дёрном, символ постоянства.
 На дне его покоится яйцо
 округлой оккупацией пространства.

Под замкнутой сферической кривой,
 слабей луча и звука невесомей,
 колышется и спит под скорлупой
 одна из самых странных анатомий.
 В укромном уголке, где все углы
 закруглены, лежит и дремлет, зрея,
 не смерть кощя на конце иглы,
 но маленькая певчая трахея.

И как постичь, что этот сонный плод,
набор сырья: желток, белок, канатик, —
немногим позже бойко запоёт,
вспорхнув на клён в какой-нибудь канаде,
что вызреет таинственная связь
меж вязкостью и связками, сквозь стенку
проклонется, взлетит, оборотясь
миниатюрной кузницей акцентов:

мембрана, наковальня, язычок,
удары молоточка, блеск и россыпь.
И если он когда-то на плечо
доверчиво присядет и попросит
за чик-чирик в туннеле декабря,
подай ему, — всего-то крошки грошик.
Пусть свищет вечно, воздух серебря,
пернатый бессеребренник-художник.

Блажен, кто подаянье близ фрамуг
смирненно собирает на кормушках,
отдаривая музыкой, кто звук
даёт увидеть в росписях воздушных.
Им всем завещан заповедный сад,
а в нём, как шёлком, щёлканьем расшитом,
щеглы порхают, иволги царят
и зёрнышками хлебников рассыпан.

Ветер

Воздушной пястью сграбастав простор,
его расстоянья шутя между пальцами
просеивая, поднимает и сор,
и вздор — то стремглав, то с неспешной развальцею.

Школяр неусидчивый множества школ,
всю жизнь забавляется поиском истины,
на лес налегает, как грудью на стол:
то бегло пролистывать томики лиственниц,

то буки обшаривать в поисках букв...
Лесные орехи сшибает обоймами,
щелчком проверяет зелёный бамбук
на прочность, чтоб позже тростями гобойными

присвистнуть — и ухнуть в печную трубу.
 Он крыльями мельниц играет плечистыми,
 он злит водостоки щекоткой в зобу
 и флюгеры вертит во рту зубочистками.

Разбойник, охальник, взлетает на мол
 портовой шпаной с вороватой повадкой,
 прибрежной волне задирает подол —
 и с визгом и брызгами мчит на попятную.

Он роз поставщик, что по краешкам схем
 и карт расцвели над морскими маршрутами.
 По атласам древним он помнится всем
 лицом полнокровным, щеками раздутыми.

Он гибнет немедленно, лишь взаперти
 окажется, но, воскресая уверенно,
 вновь тянет и манит — с собой по пути, —
 о ветер, о вертер, о вектор намерений...

Англия

Встречала близящийся берег
 рукоплесканьями вода.
 Расположилась, как в партере,
 в заливе лодок череда.
 Они покачивались, мокли,
 по пояс погрузясь в рассол.
 Иллюминаторов монокли
 вальяжно наведя на мол,

паром, устроившись недурно,
 разглядывал, задравши нос,
 как с меловых утёсов Дувра
 пускает ветер под откос
 гурьбы гагар, пригоршни чаек,
 в момент замусорив залив,
 пунктиром птичьим размечая
 границы судоходных нив.

Он медлил заходить в фарватер,
 покрытый тьмой живых крупиц,
 по клочковатой влажной вате
 в воде качающихся птиц.

Обрыв прибрежный, зубы скаля,
прибоем дёсны полоскал,
прилив, как крышкою рояля,
волной захлопывал причал.

В глазах рябило. Свет дневалил,
вертело солнце калачи,
из поднебесных готовален
достав блестящие лучи,
вонзало циркулями в бухту,
чертило блики и кружки, —
а чайки ссорились, как будто
хотели наперегонки

склевать искристую приманку,
набить сиянием зобы,
чтоб горло высветлить с изнанки
и крики хриплые забыть.
Пекло. Всё длилась солнца шалость
над милями морских саванн,
и по-английски, не прощаясь,
из бухты уходил туман.

* * *

Так пахнет чаем в Англии трава,
настоем дикой мяты и душицы.
Всё живо в ней, и край любого рва
шевелится и тихо копошится.
Всё в живности: покажется, что высох
на солнце луг, а всмотришься — ничуть.
И в жимолости шорохи, и в тисах
возня; в овсе, что вымахал по грудь,

малиновка горит; поодаль мелко
дрожат шпалеры одичавших роз
и слышен чей-то свист; на пихте белка
сидит, хвостом изобразив вопрос.
Кидается то в поле, то к откосу
отпущенный побегать фокстерьер
и столбенеет, если из-под носа
выпархивает вдруг — овсянка, сэр!

* * *

В стране единорогов их самих
живьём уже не встретить: оттого ли,
что корм не тот (по слухам только жмых
сухой они едят), не то в неволе
им не житьё; иль веры в них в обрез,
иль с девами какая катастрофа, —
они ушли в геральдику, как в лес,
и на монетах повернулись в профиль.

Попрятались в печати и гербы,
в приют латыни, в заросли девизов,
застыли там, поднявшись на дыбы,
тем самым словно нам бросая вызов:
Essemus¹! Как найти теперь твой след,
животное нездешнего покроя,
где взять набор подсказок и примет
чтоб отыскать тебя, как Шлиман Трою?

Со временем всё раздаётся вширь.
Пропорции и мерки изменились,
как и ландшафты: там исчез пустырь,
здесь небоскрёб на месте рощи вылез.
И если зорко посмотреть с холма,
прищурившись, на городок в долине,
 заметишь, что дубравы бахрома
обводит силуэт: он, странно длинен
и крепко сбит, лежит, срастясь с землёй,
домами, переулками; деревья
смыкают кроны, вылепив листвою
громадину невиданного зверя.
Века прошли, как на спину он лёг
и спит с тех пор, в багульнике и вербе,
наставив в небо потемневший рог,
прикинувшийся шпилем старой церкви.

¹Essemus — мы были (лат.)

* * *

Неужто всё происходило тут...

Вилли Брайнин

... а в комнату войдёшь — они замрут.
Со скрипом сипловатым и картавым
качалка, еле сдерживая зуд
качания, прикинется кентавром.
Отпрянув друг от друга, замолчат
цветы в горшках, ты слышал этот шорох.
Но запах их насмешливый, как чад,
висит ещё, а шепотки, в которых
сплелись тычинок сплетни, всколыхнут
щекоткой воздух и опять застынут.
Скрываться не берут уже за труд
цветки, тебе невинно глядя в спину.
Шушукаются спички в коробке.
Ты застигал не раз уже: головка
к головке — и шушат накоротке,
откроешь — и замрут наизготовке.
Чуть приседает, одеревенев
и мебелью прикидываясь кроткой,
на красных лапах выточенных лев
комода, рык удерживая в глотке.
Сглотнув, зубами скрипнешь: отчего
вся комната глумлением объята,
откуда мука там, где волшебство
и любованье правили когда-то?
Прищуриваясь, подавляя смех,
пространство словно с жалостью на мушку
берёт тебя, мельчайшую из всех
вещей. И понимаешь: потому что,
невольню в соучастники потерь
попав и в соглядатаи конвульсий,
им видеть довелось, как двое в дверь
ушли, но лишь один назад вернулся.

* * *

На охоту выходят впотьмах.	Научись у кольца полыньи,
Шарят в сумерках, дулами дыбьсь.	обводящего заводь молчанья,
Скройся в зарослях звуков, в словах,	замыкаться в себе, сохрани
как в ибискусе прячется ибис.	с недомолвками и мелочами
Растворись, разменяй себя на	всё, что жаль наяву и во снах
умолчанье, затишье, безмолвье,	обнаружить потерей ли, кражей,
вместо голоса пусть тишина	потому что не дремлет в кустах
защищает подходы к гнездовью.	лис, в листве притаившись бумажной.

9 мая

Сухие обмылки пригодятся при нанесении выкроек на ткань"
Советы по домоводству, 1960

Здесь пропуск в анкете, там припуск на швы.
 Убористым шрифтом теснясь
 в строю, со свободой слова на «вы»,
 заученный текст повторяли годами.
 Вростал, натирая, наложенный жгут,
 бинта заскорузлая бязь,
 а ветер и раны — что в сумме дадут
 парадному глянцу казённых изданий?

Копили обмылки, хранили лицо
 вещей, наизнанку сложив.
 Ложились безропотно заподлицо
 в печатный набор вереницами литер.
 Сквозь сито терпенья, дуршлаг дистрофий,
 оставив детей на разжив,
 просыпались просом в сухую цифирь,
 которою всех уравнил аналитик.

На лампочке штопали старый носок,
 из швов выпускали запас,
 глухими согласными сгнули в срок
 в параграфах сносок, синодиках ссылок,
 и свежего сленга пружинистый мох
 разросся поверх, не скупясь.
 Не нужен для выкроек новых эпох
 истраченный временем старый обмылок.

Владимир Мамонтов
(Россия, Москва)

Владимир Мамонтов, российский журналист. Писал заметки со школьных лет. Работал на всех газетных должностях, отличаясь умеренным, но неотступным желанием продвинуться. Был главредом двух советских монстров — «Комсомольской Правды» и «Известий». С приходом интернета и наступлением пенсионного возраста вернулся к писанине — стал колумнистом и блогером. В планах создать свой сайт, на котором до последних минут компостирует публику воспоминаниями и нравочужениями.



© Художник Андрей Карапетян

Сны

Тане было восемьдесят шесть, когда в её ванной комнате начала горячиться стена. Обнаружила она это осенним утром, осторожно прошаркав через всю двухкомнатную квартиру. Таня начала умываться, качнулась, излишне резко выпрямившись — и оперлась о кафель ладонью.

В ладонь полилось тепло.

Таня удивилась. Кафель её одинокой, старушечьей ванной комнаты был обычно холоден к ней. Тепло хранилось в змеевике, но оно ушло однажды, а грели разве что обещания Таниного внука Петра починить серебристую змеевидную трубу, которая вытекала ртутью из кафеля, извивалась, будто её режиссировал Фриц Ланг, а потом снова скрывалась в стене. О том, что было там, в застенном мире Таня старалась не думать. Из какой-то только ей понятной осторожности.

«Стена греется, — подумала Таня. — А вдруг что-нибудь случилось? А вдруг там, у соседей, пожар?» И Таня стала думать, что пойдёт сейчас к двери, откроет

удобный засов, единственный, который было легко открывать её высыхающим рукам в отличие от ключей в тугих замках, и позвонит в дверь рядом: эта квартира точно смыкалась с её ванной.

Она хорошо понимала, как устроен её дом, потому что до пенсии работала в проектно-институте. Но эта часть мира, в которой схема окружающего пространства была похожа на старинный чертёж-синьку, жила теперь отдельно от каждодневных тревог и опасений. А пугало Таню, что соседская дверь всякий раз, когда она решалась к ней подойти, выглядела иначе.

То обита дерматином, прошита накрест узкими поясками и густо пропилена обойными гвоздиками. То крашена «под дерево»; так маляр дядя Саша (ныне это искусство утрачено) редкой кистью рисовал на десятом слое охристой масляной краски годовые кольца и сучки распиленной древесины.

Иногда дверь была совершенно чугунная, как у печи, иногда французская, словно открываться ей положено было в сад, а иногда поднималась вверх, свистя и скрежеща. И люди открывали ей всё разные: то полуголая девушка, заматанная зелёным полотенцем, то мальчик в коротких вельветовых штанишках, из-под которых виднелись чулки, пристегнутые поясом.

Иногда же это был руководитель её отдела, Марк Михалыч Завадский, проектировщик божьей милостью. Но чаще всего это была такая же одинокая баба Зинаида, с которой они пили чай и обсуждали новости: прожектор, что стоял во дворе, прошлой ночью светил прямо в окна, а в доме напротив готовили переворот, не иначе. Всё шастали в подъезд и таскали какие-то сумки.

«Переворот?», — спрашивала Зинаида, вздыхая и жалею Таню. «А что ж ещё?», — отвечала Таня.

На этот раз ей открыл мальчик.

— У вас пожара нету? — спросила Таня.

— Я не знаю, — ответил мальчик. — Я еще ничего не знаю про пожары. Какой пожар, вот придумала старая! — мальчик оборотился девушкой только что из ванной. — Нету пожара! С чего вы взяли?

— Ну нет и нет, — сказала Таня, стараясь заглянуть через голое покатое девушкино плечо в квартиру, чтобы удостовериться. За плечом явно виднелись какие-то красно-оранжевые сполохи.

— Ах вот оно что, — засмеялась девушка. — Это цветомузыка. Это не опасно. Громко играет? Я сделаю тише.

— Нет, не надо, музыки-то я и не слышала, — ответила ей Таня. — Извините за беспокойство. Я одна. И у меня в ванной стена горячая.

— Ну пойдём, посмотрим, — сказала Зинаида, странное дело, теперь это была она. — Чего там опять у тебя. Ариадны-то нету? Опять лекарство, поди, выпить забыла?

Ариадна была приходящая домработница-сиделка-санитар. И приходила два раза в неделю, а прочие дни Таня пока обходилась сама.

Соседка и Таня пошли в ванную. Стена за это время покрылась серой ворсистой плесенью, от неё шёл пар.

— Ничего нет, — сказала Зинаида.

Таня задумалась. За долгую жизнь она уже не раз попадала в неловкие ситуации, когда она-то видела людей и предметы, а другие — нет. И эти другие настораживались, сомневались и делали на сей счет всякие нелестные и даже опасные для Тани предположения.

— Ну нет, и слава Богу, — сказала она. — Спасибо, Зиночка, иди, поздно уже. Я спать лягу.

— Поспи, Таня, — со вздохом сказала Зинаида и пошла к себе, а Таня задвинула засов, легла и вправду уснула; тогда она ещё умела утешаться тем, что Зинаида, женщина куда более земная и мудрая, не ощущала жара и не видела страшной плесени. А значит, их могло и не быть.

Разбудил Таню стук в дверь. Она очень быстро и молодо встала, невысокая, кудрявая, в белой ночной рубашке и, подойдя к двери спросила: «Кто?»

За дверью шумел дождь, его потеки из узкой щели над порогом приликали к босым пальцам Тани. Вода сразу не впитывалась в сухой земляной пол, а гуляла ртутными катышками.

— Меня зовут Василий, я расквартирован к вам, — раздался хороший молодой голос. — Вы Таня? Мама не говорила вам?

— Мама во вторую смену. А я одна.

— Вот оно что! Ну что тогда? — опечаленно произнес из-за двери молодой хороший голос Василия. — У меня вот и адрес ваш. Меня к вам распределили на постой. Мне на ночь всего, а потом на фронт. Расквартировали к вам. Мама-то не говорила?

Таня открыла. На пороге стоял насквозь промокший и совершенно незнакомый Василий. Он был в шинели; пахло тяжелым набрякшим сукном, кирзой и патронами.

— А где ваше ружьё? — спросила Таня, отступая в коридор.

— Винтовка? Она там, в пирамиде, — сказал Василий. — Заперта пока. На пункте. Мне переночевать только. А утром я уйду. Вот адрес ваш, уполномоченный дал. Улица Детский дворик, 6. Странное название.

— Ну, проходите, — решила Таня, отступила ещё чуть, и Василий вошёл, внося с собой дождь и тревогу вечера.

Они стояли друг напротив друга — он в броне набухшей шинели, она в маркизетовой рубашке. Долго так продолжаться не могло, потому что Тане полагалось смутиться и кинуться надевать что-то понадежнее, с учётом появления на пороге солдата, завтра отправлявшегося на смертельный бой с врагом. А тот должен был скинуть шинель, оказаться в ладной гимнастерке и тут же оправить её привычным жестом, загоняя складки назад.

Так они и сделали, он скинул, она кинулась, эта слаженная взаимность всё упростила и разгладила, словно они были брат с сестрой, читали одни книжки, смотрели одни фильмы и воспитывались в одной семье по одним лекалам.

— Я мигом, — сказала Таня из-за двери платяного шкафа, надевая более обстоятельное платье.

— У вас пол земляной, — удивлённо сказал Василий.

— Только на кухне, — ответила Таня, — вы сапоги снимайте и проходите в горницу.

Василий так и сделал: поставил к остывающей печи сапоги, хозяйски обвесил их портянками, доскакал на цыпочках до влажного домотканого коврика, повторил Танину ухватку, а именно вытер босые ноги, прежде чем шагнуть в горницу, где уже горела керосиновая лампа.

В руках он держал вещмешок. В нём был странный набор продуктов, из которого к прямому употреблению годилась бутылка вина, где-то Василием раздобытая, да хлеб. Ещё там помещалась жестяная банка растительного масла, яичный порошок и сухое молоко. Всё это он выставлял на стол.

Если бы не Василий и не просмотренные прежде правильные кинофильмы, научившие сокрытию слабостей, Таня не удержалась бы, а тут же схватила ложку и съела сухого молока, а также и яичного порошка — с хлебом, жадно. Но она только слотнула слюну и пошла ставить чай из неизвестной травы. В городе было голодно, Таня была иждивенка, мамина работа едва могла их прокормить, сестра Тася закончила свой институт и работала далеко-далеко, много присылать не могла, сама не оперилась, папа давно умер, так и не вылечив лёгочной болезни, привезенной из окопов ещё Первой мировой войны.

— Американцы шлют по ленд-лизу, — несколько виновато сказал Василий, вынимая гостинцы. — Мы им руду. Песца. Даже кишки бараньи. Мне товарищ из Мурманска говорил. Не знаю, зачем им, может, колбасу будут делать, фарш в них заталкивать. Как вы думаете, из порошка можно яичницу сготовить? Разболтать... Яйцо, молоко. А?

Таня стояла спиной к дверному проёму. Пока он это говорил, она наливала воду, ставила чайник на плиту, а потом присела, закидывая в топку тонкие обстружечки, чтоб скорей огнём взялось. И пока пламя разыгрывалось, Таня поняла, что от её ответа на простой вопрос о яичнице зависит удивительно много. У неё иначе выгнулась спина, изменилась походка, а руки, секунду назад бывшие девчачье-пухлыми, вдруг стали крепкими и совершенно женскими.

— Вы отдохайте, Василий, — сказала она певуче, на тон ниже обычного своего голоса, как если бы её прежде играла Целиковская, а стала Серова. — Я сама похлопочу. Сделаем сейчас болтушку, откроем ваше вино. Есть хлеб, чай, даже... Кусочек сахару, — Таня подумала, что мать не осудит её за разглашение. — Это же пир.

Василий поддел ножом крышку масляной банки, крупно нарезал хлеб — нарезал его значительно крупнее, чем учила его мать, но он отчего-то твёрдо знал, что от того, как сейчас нарежет хлеб, зависит очень многое. И нарезал его крупно. По-мужски.

Яичница-омлет получилась тонкой, плотной, сухой. Таня ела медленно, а Василий смотрел на отвороты рукавов её тёмно-синего в мелкий горошек крепдешинового платья. Из них выплывали Танины руки, а из ворота — Танино горло, делавшее малозаметное, но трогательное движение, когда Таня глотала кусок.

В доме нашлись два бокала — разновеликих и разноокрашенных. Тане достался стройный зеленый, со стёртой надписью. А Василию простой, безымянный, приземистый. У Тани вино казалось бурым, а у гостя — рубиновым.

— Вы ешьте, Василий, — приговаривала Таня. — Вы солдат? Страшно идти на войну. А куда вас посылают?

— Гимнастерка пока солдатская. Но я ускоренные курсы кончил. Мне, наверное, взвод дадут. А куда пошлют — мы не знаем. Обстановка сейчас на фронтах быстро меняется.

Темнота осенней ночи окончательно облепила Танин город, а дождь за окном загудел пчелиным роем. Василий взял бокал за корокую ножку и сказал:

— Давайте, Таня, за вас выпьем. Вы храбрая девушка. Пустили ночью невесть кого.

— Чего уж там, невесть кого, — ответила Таня и удивилась сама своему новому голосу. — Лейтенанта Красной армии. И адрес у вас есть — от уполномоченного.

Щёки её, круглые и румяные, про которые маляр дядя Саша говорил, смущая девушку, — «Ну и щёки у тебя, Танька, за ночь не обцелуешь», — совсем разгорелись. Она крутнула бокал меж пальцами и сказала весело:

— А знаете, что тут написано? Только уж не видно совсем. «Здесь край вина — у счастья нету края!» Мне мама говорила. Мама у богатых людей прежде работала, до революции, у купцов. И ей этот бокал на именины подарили. Её очень хозяин любил. Бокал-то старый, надпись уж и тогда была плохо видна. Но хозяин маме объяснял: ты, Аннушка, не думай, что это подарок зряшный, это дорогой бокал! А что надпись стёрли — так счастье губами разнесли.

— Хозяин, — сказал Василий. — Словно два века назад.

— Да, если бы мама не рассказывала, так я бы и не понимала, о чём речь. Но ведь жили и при царе! И как они с папой счастливы были!

Таня взяла с комода фотографию в резной деревянной рамке.

— Вот папа с мамой.

Василий взгляделся в серьёзные лица. Таня была похожа на маму, но мамину смуглую, острую, обтянутую красоту она весело и беспечно округлила, подпернула носиком, обнесла завитушками, распустила улыбкой. Папиных черт Василий заметил не много, но тут Таня вдруг села за другой край стола, свет лампы упал иначе, и в упавших темно-синих тенях Василий разглядел отцовский взгляд; или ему так показалось.

— Папа то на войне, то болел, — сказала Таня. — Я совсем маленькая была, когда он умер. Если бы мама не рассказывала, я бы и не помнила его. Он был десятым ребёнком в семье, представляете? А всего было двенадцать. Василий, а кто ваши родители? Вы откуда?

Лампа моргнула, синие тени колыхнулись.

— Ты что, Таня, забыла? — Танин отец вышел из темного, обданного баннным паром и поросшего серым мхом угла их земляной кухни, прошёл в горницу и положил ей руку на плечо. — Васенька же твой брат. Вы ещё

вместе с ним в деревне жили, его курица в глаз клюнула, а ты в подпол провалилась.

Вася сидел, уткнув лицо в ладони. Потом он медленно развел руки в стороны. И Таня увидела вдруг, что правый Васин глаз действительно чуть-чуть меньше левого.

— Обошлось тогда. У него глаз-то цел и разницы почти не видно, — сказал отец. — Чего на столе-то у вас?

— Что Вася принес, — честно ответила Таня.

Отец помрачнел, осмотрел банки, снедь. Разгладил мятую газету, в которую Василий заворачивал бутылку — чтоб часом в вещмешке не побилась о жестяную банку, прочел заголовки.

— Опять война? — спросил он. — А пьёте чего?

— Портвейн. Крымский, — ответил Вася. — Вы присаживайтесь. Как вас по имени-отчеству?

— Семён Андреич. Мне нельзя. Когда выпью — сильно сердце ночью бьётся и задыхаюсь.

В дверь постучали. Таня кинулась открывать, на пороге стояла мама.

— Чего «Кто?» не спрашиваешь? — сердито начала она, но Таня перебила её:

— У нас Василий. На постое. Он мне брат. И папа пришёл.

Мать замерла, не размотавши платка, закрыла глаза, и лицо её искривилось:

— Танечка, господи, какой папа? Опять? Какой брат? Ляг, девочка, милая моя...

Она вошла в горницу, увидела накрытый стол, Василия, взволнованно выпрямившегося, и улыбнулась, словно успокоенная этой картиной. «Пугаешь меня, Таня: папа, брат. Вы по бумаге? От уполномоченного?», — спросила она, погладила Таню по голове и исчезла, потому что на самом деле до её появления с ночной смены было ещё часов шесть.

Таня и не подумала лечь, а снова села за стол, вписавшись в собственный зыбкий образ, оставшийся там, когда кинулась открывать дверь. Она молчала, водя пальцем по клеёнке. Молчал и Василий. За гулом дождя они услышали вдруг очень похожий звук, но чуть другого тона.

— Чайник закипел, — догадалась Таня. — Давайте пить чай и рассказывать друг про друга. А папа ушёл?

— Папа? Ушёл, — ответил Василий. — А вы откуда знаете?

Таня поняла, что с ней опять случилось то, природу чего не стоит сейчас сразу выяснять. Она имела ввиду своего папу, только что появившегося из жаркого ворсистого небытия, а Вася — своего, и вовсе не факт, что это был их общий папа. Да, он осязаемой птицей промелькнул над керосиновой лампой их неожиданных посиделок, сообщил эту невероятную новость, но... Мог оказаться персонажем непроверенным, зыбким, а то и ложным. Вполне могло быть, что рубиновое чувство, которое Таня несомненно испытывала к Василию, сходно сестринскому. Но кровь у щёк, изменение тембра голоса и кое-что ещё ясно говорили ей, что за

родственной стадией превращения есть и другая, куда более острая, тревожная и сердечно-мерцательная.

И Таня слукавила:

— Не знаю, догадалась.

— Ого! — заволновался Василий. — Это так заметно?

А тут Таня сказала не совсем от себя, словно кто-то в ней и за неё, но очень к месту:

— Женщины замечают многое и чувствуют тонко. Настоящего чаю у нас нет, вы уж простите. Травки.

— У меня тоже в пайке нету, — развел руками Василий. — А что за травы вы завариваете?

— Это мы у мамы утром спросим. Она заполошная какая-то сегодня, прибежала, чего прибежала? — сказала Таня и прикусила язык, поскольку удивленный взгляд Василия дал ей понять обычную её ошибку. Но Таня быстро нашлась и сказала:

— Не обращайтесь внимания, Василий. У меня очень развита фантазия, представляю разное. Ведь мама может и правда беспокоиться. Как я тут одна с незнакомым человеком? Но у них на рыбзаводе очень строго. Отлучаться нельзя.

Василий согласился, похвалил чай и стал рассказывать о себе и своей семье. Таня искренне хотела вникнуть, но быстро запутался в именах его сестёр и дядёв, один из которых был георгиевский кавалер. К счастью, Василий перешел к одной очень запомнившейся Тане истории.

— Вот вы, Таня, спрашиваете, страшно ли мне на войну идти, — начал Василий. — Понимаете... Не то, чтобы страшно, а обидно. Горько. Я вот вам один случай из своего детства расскажу. У нашей калитки как-то собрались музыканты с трубами. И заиграли красивую такую мелодию. А я схватил свою дудочку детскую, вышел за калитку и стал играть вместе с ними. Они закончили, самый строгий музыкант вытряс слюни из трубы — да как гаркнет на меня: «А ну, кыш, малец, не место тут тебе чирикать, тут человек помер». Это похоронный был оркестр. И люди кругом стояли печально, а я-то не знал. Я вообще не знал тогда, что люди умирают. И почему-то так стало обидно мне, что такой глупый, такой простодушный, я выскочил с дудочкой, а тут тяжёлое, неведомое и нерадостное, чего моя головёнка ещё и вместить не могла. Вот завтра иду я на войну, она такая огромная и безжалостная, а мне ещё и взвод могут дать. Представляете?

Таня открыла глаза. Солнце било в окно. У кровати тикали часы — видела Таня неважно, боялась, что ослепнет совсем, но слух у неё был очень молодой. Она нашарила очки, которые всегда клала на отведённую им середину тумбочки, надела их, лёжа. Потолок чуть прояснился, но не как прежде, когда она могла разглядеть каждую шероховатость побелки: как маляр дядя Саша ни гасил известь, а крупинки оставались.

Впрочем, какая побелка, подумала Таня. Я живу в совсем другое время, это совсем другая комната, мне восемьдесят шесть лет, мой адрес Вороно-Мещерская, три, квартира двенадцать, меня зовут Татьяна Семёновна Бес-

пальцева, сегодня суббота, а, значит, придёт Василий. Вернее, не Василий, вот дался мне этот Василий, а Пётр, внук, который явится с пластиковым вещмешком — и Таня улыбнулась, дивясь такому соединению двух предметов, имён и времён, — и достанет оттуда разные деликатесы, которые съест большей частью домработница Ариадна, потому что Тане одного нельзя, другого не хочется, а третье так незнакомо, что даже страшно попробовать.

Утро Тани было временем обхода, проверки, обретения привычных вех. Прежде всего она открыла верхний ящик комода, старого истертого комода из прошлой жизни, вытерпевшего множество перевозок по запутанной траектории. На прежнем месте находились: тетрадь всех расходов, которые она вела уже много лет, несколько аккуратно сложенных в нетолстую стопочку отечественных купюр различного достоинства, термометр в картонном цилиндрическом футляре, воронёные ножницы, ещё мамины, театральные очки, парадные тяжёлые очки — жаль, но дужки их тронула уже прозелень — и бумажка, где крупно записаны были несколько важнейших телефонов. Пётр, поликлиника, соседка и живущая на другом конце столицы подруга Людмила Ивановна.

Потом Таня открыла дверцу платяного шкафа, наклонилась и проникла рукой в нутро его нижнего отдела, где плотно лежали пуховая шаль, джемпер с оленями, который Тане был когда-то маловат, а стал велик, надаренные ей вязаные носки и шарфик неправильной формы, называвшийся кашне «Летучая мышь». Он когда-то прекрасно дополнял первое Танино пальто с лисьим воротником и когтистыми лапами, шляпку из фетра с фигурной булавкой и ботики. Да, ботики... Они всегда были большой проблемой... Но что об этом? Теперь ей годятся любые — лишь бы удобные, старушечьи, да и из дому она теперь почти не выходит.

Тем временем рука её никак не нащупывала то, что искала: старого чемоданчика на защелке, в котором лежали куда более важные вещи. А именно: мешочек с драгоценностями — парой колец и брошкой, камеи, кулончиком и цепочками, золотые часы «Заря», завернутые в бумагу доллары — их иногда приносил Пётр, рассчитывая, что Таня пустит их в ход, а она не тратила, фотографии, которым не нашлось места в альбомах по разным, иногда семейно-таинственным причинам. А главное — пачка писем, перевязанная тесёмочкой.

Таня пошурудила в шкафу и даже выгребла на пол тёплую шерстяную грудку. Нету чемоданчика. Сердце заныло. И тут Таня вспомнила, что не пила своего ежеутреннего лекарства; а вот это было совсем уж удивительно, потому что обеденные и вечерние лекарства она иногда забывала принять, а утреннее — никогда, поскольку утра до сей поры оставались самыми ясными отрезками её странных отношений с действительностью. Она к тому же и не умылась ещё, но тому была причина, которую Таня прятала от себя самой. Она не спешила проверять, как дела в ванной, потому что оба ответа, хоть нормально, хоть горячо и ворсисто, имели тревожный, подспудный смысл. Она ведь слышала, как Ариадна уже говорила кому-то по телефону шёпотом: «Я прямо не знаю, может её в клинику?» А всего-

то и случилось неожиданное появление Марка Михайловича Завадского, который, вероятно, тоже переехал в этот дом и поселился в квартире рядом. Такие совпадения случаются сплошь и рядом в жизни, а особенно в кинофильмах, которые Таня любила смотреть смолоду.

Не найдя чемоданчика, Таня прежде всего выпила забытое лекарство, потому что потеря чего угодно не равнялась на её весах потере жизни, и колотье в груди требовалось унять. Потом она набрала Петин номер, который помнила наизусть, но могла ведь и забыть в любой момент, а потому записала на памятке первым.

— Петя, а ты приедешь сегодня? — спросила Таня и, получив утвердительный ответ, добавила как бы мимоходом: — Чего-то я чемоданчик свой не могу найти, вот и поищешь заодно. Ведь там ценности.

Телефон усомнился в пропаже: чемоданчик? Сама же и переложила куда-то. Таня не стала возражать. Но в груди все холодело и холодело: она не помнила ни вот на столечко, чтобы вытаскивала чемоданчик и перепрятывала свои сокровища. Да и куда их спрячешь в двухкомнатной, солнечной и симпатичной, но совершенно небольшой квартире?

Затолкавши шали и носки в шкаф — порядка вещей драматическое развитие событий не отменяло — Таня двинулась, прихрамывая, держась рукой за стены, в кухню. Там она изучила настенный календарь. И так, сегодня суббота, вчера была пятница, приходила Ариадна, сделала уборку, сварила суп, нажарила котлеток без соли и перца. Теперь она придёт во вторник. Утром в пятницу чемоданчик был на месте, если Таня правильно помнила. Она, правда, не открывала его; это было не слишком частое, особое, почти детское таинство её досуга — пересмотр сокровищ, но ковчег гнезвился там, в глубине, у стенки. Прикосновение к гладкой коже было знакомым и успокаивающим. Ах ты, Господи, куда же он делся? Может, Зинаида вспомнит? Может, придёт Ариадна и скажет?

Дождь шёл, лампа горела. Чай был выпит, а Таня и Василий всё сидели за столом и говорили обо всём подряд, и в рассказах этих годы мелькали, как дни. Что чай? Что бокал крымского портвейна? Нет, не они разогнали спешную откровенность и быстроту взглядов. По меркам обычной, мирной жизни лейтенант и студентка, хотя сидели за одним столом при свете мерцающей лампы, ещё толком даже не встретились. Но жизнь вокруг не была обычной: «Ему дадут взвод», — неотступно думала Таня, и понимала его волнение, потому что до этой поры о ней заботилась мама и сестра, а она не успела ни о ком. Они даже не коснулись друг друга, а им уже предстояла скорая, грозная, как песня про огромную страну, и горькая, как чайная трава, разлука. И оттого в Тане с Василием порознь, но в одну и ту же секунду заработали телесные приборы, засекавшие волнующую бездну. Бездна исподволь, по-кошачьи, звала испытать её головокружение; однако ранняя и неухоженная жизнь испытателей ещё не выработала канвы, которой стоило следовать этим тревожным, электрическим вечером. Слова и чувства только пробивались, пробуя верный путь, отступая, делая жаркое забегание — и возвращались к временному, спасительному, но красноречивому молчанию.

Она уткнула в скатерть локти и подпёрла ладонями подбородок. Таню так однажды фотографировали, фотография хранилась у неё в альбоме, и Таня на карточке очень нравилась себе. «Короткий рукавчик очень идёт молодым девушкам, — говорил фотограф, усаживая Таню. — Он рассказывает о них ровно столько, сколько нужно, чтобы влюбиться. Давайте, мадмуазель, поставим локоточки так, словно чего-то ждём». Василий смотрел на Таню в точности, как обещал премудрый фотограф.

— Я постелю вам на диване, — наконец сказала Таня. — Там мама всегда спит, но она утром сразу после смены не ложится. Вам рано вставать?

— В семь.

— Ну, как раз и она к семи придет.

Таня стала укрывать кожаную спину дивана старым серым одеялом, потом простыней, заботливо заталкивая ее край в плотную расщелину между сиденьем и спинкой, чтобы простыня не сбилась, когда Василий будет ворочаться — а она почему-то твёрдо знала, что он будет ворочаться. Сквозь старую наволочку покалывали перьевые ости.

— Одеяло верблюжье, тёплое, — сказала Таня, доставая его с верхней полки шкафа. Она поднялась на цыпочки — и тут Василий заметил, что пальцы на левой ноге Тани были странно подогнуты. Повернувшись с пухлым свертком в руках, Таня поймала его взгляд. Она уже привыкла, что рано или поздно на этот изъян обращают внимание, и объяснила:

— Когда мы ещё жили в деревне, я упала в подпол. Маленькая совсем. Хорошего доктора не было, всё вот так срослось.

Она стояла, обнимая жаркий верблюжий куль. Обнаруженная вдруг неисправимая деталь, которая так не нужна была ее молодости и свежей красоте, и объяснение, привычное, но в этот раз давшееся Тани ценой дрогнувшего голоса и неуловимого движения горла, потребовали ясного, мужского ответа. Василий подошёл к Тани. Та стояла, прижимая одеяло к груди, и смотрела на Василия испытующим взглядом, который достала из совершенно нового, неведомого ей прежде самой женского тайника.

— Да брось ты, Таня, чего ты прячешься да свет гасишь? — сказал Танин муж, надвигаясь ласково, но нетерпеливо, добиваясь своей выгоды, не выждав, пока по Таниным жилкам проберется нужный жар. — Разве ж я на это смотрю? Ты даже не думай, я на это не смотрю. Мы похожие с тобой — меня курица в глаз клонула.

— А тебя правда курица?

— Да нет, конечно, это я шучу так. Помогал отцу в кузнице, отскочил кусочек окалины. Ты ж не отворачиваешься.

— Это правда, — сказала Таня. — Я просто не замечаю этого.

— Нас бы другие, может, и не взяли бы, а так... Подходящие мы.

Таня промолчала, думая, что хорошо сделала, погасив свет.

— Ты плачешь, что ли? — спросил Василий, беря Таню за плечи. Девушка словно очнулась, возвращаясь в на минуту оставленные контуры.

— Вы ложитесь, Василий, — едва слышно шепнула она. — Ты лучше ложись, Вася.

Теперь, много лет спустя, все что было дальше, стало представляться Тане раз от разу иначе.

Раньше, когда в ванной ещё не покрывалась пугающей плесенью стена, она твёрдо знала, что, разрешив Василию быстрые прикосновения и даже неразвернутые поцелуи, всё-таки убедила его лечь на диван, а сама ушла за занавеску и затаилась, стгорая от обиды, что он оказался так робок и хваля себя за рассудительность. Если в воспоминаниях всё было иначе, крепдешин исчезал с легким шуршанием, заменялся сначала касаниями, потом объятьями, пустыми и изводящими обоих, и все сопровождалось горячими настойчивыми просьбами, встречавшими горячие, бессмысленные отказы, значит это был сон-мечта.

Надо признать, что снились Тане сны и вполне завершённые, не оставлявшие сомнений. Но тут возникла другая беда: облик Васи в таких откровенных снах вполне мог сплестись с обликом Марка Михайловича, а иногда — Таниного бывшего мужа Ивана Степановича, меченого кузницей, который, как многие мужчины в этой семье и стране, давно и рано умер.

Если бы не Танина пропажа, которая облаком плотно застила ей сознание, то за утренним чаем (а заварить его она ещё умела сама), Таня обдумывала бы и вот какое странное обстоятельство: у неё был внук Петр, но никогда не было ни дочки, ни сына. Как это вышло? Она не помнила. Надо бы спросить у мамы — но она всё не возвращалась с работы, а дождь за окном всё шёл и шёл. Таня поглядела на часы: пол-седьмого. Надо будить Василия, а то на войну опоздает, и его начнут выгонять с войны, словно Мишеньку из университета; он вечно лекции просыпал.

Таня отправилась, прихрамывая, назад, в горницу, но в ней не было ни Василия, ни дивана. «Что же это я? — забеспокоилась Таня. — Это же было тогда, а не теперь, это же просто сон, и мамы давно нет, я живу в совсем другое время, это совсем другая комната, мне восемьдесят шесть лет, мой адрес Вороно-Мещерская три, квартира двенадцать, меня зовут Татьяна Семеновна Беспальцева, сегодня суббота, а, значит, придет Василий. Дался мне этот Василий! Пётр, Пётр!»

Осталось вспомнить, кто такой Мишенька. Но это получилось само: загадка, почему у нее был внук, хотя не было сына, внезапно объяснилась, словно в голове у Тани открылась форточка, и свежий воздух переворошил слежавшиеся листочки: всё просто, Мишенька был племянник, сын её сестры. Петя был, в свою очередь, его сын. Пётр Михайлович. А сестру звали Тася. А маму? Анна Алексеевна. А папу? Семен Андреевич. «Ага! Вспомнила», — обрадовалась Таня и взялась пить чай, пока не остыл. И опять сама похолодела: как же это она сбилась на неглавное?

Вспоминала имена, родство-свойство, а ведь пропал чемоданчик! Жалко «Зарю», брошки — но жальче всего связочку писем: писем с фронта, которые писал ей Василий.

С этими письмами Таня связывала в последнее время большие надежды. Она не показывала их никому, и долгие годы не перечитывала их — а

тут перечитала однажды. Потом ещё раз. Потом ещё. Их было тридцать одна штука. Последнее пришло в самом конце войны, из-под Кенгсберга, и было письмо очень коротким, вот мол, заканчивается война, и всю эту войну наша переписка согревала сердце в стужу, теперь будет мир, мы увидимся и решим, что делать дальше. Таня ответила: конечно!

И всё. Как отрезало. Больше письма не приходили. Таня первое время просто ждала, потом очень переживала, потом собиралась сделать запрос — и не сделала. Потому, что не хотела узнать о его смерти — это раз, а пуще того не хотела узнать, что Вася жив, но к ней не приехал. Не вернулся. Это неведение было ей утешительней, чем обе возможные правды.

Однако сейчас, когда стала горячая стена в ванной, а тревожный прожектор метался по ночному двору, Таня всё чаще стала задумываться, что останется однажды совсем одна. Вокруг неё были, к примеру, Пётр и Мишенька, но они всё чаще совмещались в одного неопределённо молодого человека. Она даже путала их имена, придёт Мишенька, а она ему «Петя, посмотри лампочку, будто бы моргает, вдруг лопнет, а я осколков-то не соберу, не вижу». А ведь такая путаница означала, что людей вокруг оставалось всё меньше, не так ли?

Было два — стал один. Странная эта арифметика снилась ей в виде альбома с фотографиями: в реальности он был старый, разбухший лицами и групповыми портретами, с синей бархатной обложкой, прорезями, маленькими полулуниями, куда углами вставлялись карточки. А во сне альбом каждый день худел, и вот Иван Степанович, муж, человек добрый, но не тонкий, давно умерший, стал неотличим от Марка Михалыча, человека тонкого, но не мужа.

Солнце било в окна, круглый двор подогревался сковородкой, и Таня стала задвигать шторы. Как изменилось-то всё, подумала она. Раньше так хотелось тепла и света, и квартиры делились на «солнечные» и «тёмные», а теперь обильное солнце режет глаза и вызывает сердцебиение.

Тут в дверь позвонили. Таня пошаркала открывать. На пороге стоял... Кто же это стоял на пороге? Нет, чего это я? Дождя же нет? Нет. Значит, точно не Василий. А Мишенька. Или Пётр. Вот глаза то-как подводят, пелена прямо, да и лампочка всё мигает, не лопнула бы.

— Привет, бабуля, — сказал вошедший.

Ах, вот оно что! Это Петенька! Да конечно он, как же его не узнать. Он худой, глазастый, а на футболке у него что-то написано по-английски. Таня спрашивала у него, что, а он смеялся и говорил, мол, непереводаемая игра слов. Таня подозревала там нечто грубое или совсем уж телесное а внуки обычно полагают, что бабушкам такое неведомо, или огорчительно.

Она же, размышляя о загадочных словах, вдруг вспомнила, как с сестрой Тасей бегала купаться ночью в Чёрном море, на которое она приез-

жала однажды в санаторий. Почему-то их страшно волновало и смешило, что бегали они из своего корпуса через густой, ароматный, лунный парк к галечному пляжу в одних ночных рубашках. Заводилой была Тася, ей всё не спалось. Она думала по ночам о плечистом парне, похожем на пловца или гимнаста, однако же работавшем учётчиком на заводе. Он что-то такое таинственно долечивал в своём молодом и безупречном теле, что никак не вязалось с его безопасной профессией. Парень шутил с Тасей, но от совместной поездки на комбинат пробовать сладкое вино отвертелся, новую юбку клёш-полусолнце вообще не заметил. Тася вечером ложилась на штампованные простыни, вздыхала, вертелась; поскольку натура у неё была не половинчатая, не укромная, она не притишала, не укрощала томление, а вскакивала, стаскивала простыни с Тани и ещё одной соседки, и говорила жарким полушёпотом: «Пошли купаться без?» «Без?», — спрашивали Таня и соседка. — «Угу, — отвечала Тася. — Без!»

И они купались в Чёрном море абсолютно без, а такого не было ни в одном фильме, которые они смотрели, да и в книгах, которые читали — разве что в одной, но это была особенная, дореволюционная, почти запретная книга о невозбранных и бесстыдных желаниях, которой трудно было бы следовать рабфаковкам.

Но книга с ятями, которую мать хранила на дальней полке, конечно, волновала. И отгибала уголок занавески, за которой другая жизнь. Таня вспоминала самые странные эпизоды этой книги, когда они во влажных ночнушках возвращались, сдавленно щебеча и хохоча в тон с хором теплолюбивых насекомых, к своему сонному корпусу с белыми колоннами под лунным светом.

А уж если быть совсем честным, то и Марк Михайлович, случившийся много позже, и чувства к которому Таня тоже засекретила от всех, своим успехом был обязан удивительному соответствию тех её лунных, волшебных времен. Он был женат, носил калоши с литерами МЗ в бархатном нутре, чтоб не путались с другими, похожими. Но, оставив их — и тон проектировщика божьей милостью — в прихожей, шёпотом рассказывал Тане, целуя её нежнейшим образом, чувственные сказки — про девочку в крепдешинном платье с короткими рукавами, на пуговках, каждая из которых была нежным этапом на пути их долгого взаимного познания. Познания всего — без стеснений и изъятий, что с учётом Таниных некоторых несовершенств было особенно трогательно. И если с мужем они были равно несовершенны, то с Марком Михайловичем — как раз совершенны сказочно, сердечно.

— Ну, что там у тебя пропало? — спросил Пётр.

Таня рассказала про чемоданчик.

— Чемоданчик? Чудеса, — сказал Пётр. — А где ты его хранила? Как он выглядел-то?

Они проследовали к шкафу, последовательно вытащили из него кашне «Летучая мышь», джемпер с оленями, шаль. Петя наклонился и заглянул вглубь. Он рассчитывал, что Таня перепутала что-то, и он увидит кожаный бок и защёлку чемоданчика. Но там было пусто.

Битый час Петя шарил на полках, открывал дверцы тумбочек, заглядывал под кровати и рылся в кладовой. Танины сокровища как сквозь землю провалились.

Таня во время этих поисков шаркала следом за мечущимся внуком и молчала, потому что не хотела его сердить тем, что вертелось у неё на языке. Она не раз заводила речь, чтобы Мишенька с Петенькой забрали к себе её перстенёчки: мало ли что. Вот допустим, я померла. Приехали врачи, милиционеры, санитары. Могут оказаться и нечестные люди! И заберут то, что Таня хотела бы оставить как бы в наследство Мишенькиной жене Алевтине или Петенькиной будущей, покуда неизвестной подруге, а достанется всё чужим, вороватым людям. И что отвечали легкомысленные племянник и внук? «Да кому они нужны, да пусть у тебя лежат, да живи себе на здоровье».

Про деньги в конверте она молчала: их полагалось потратить на улучшение Таниного быта, и Мишенька с Петенькой, да и Алевтина очень бы расстроились, если б узнали, что Таня откладывает их «на смерть». Смолчала она и теперь: ведь в данном случае неразумные дети оказались правы: деньги, похоже, пропали, лучше было бы их потратить, пока Таня ещё ощущала потребность во вкусной еде, красивых мелочах и приятных ненужностях. Похоронила бы уж как-нибудь родня и без её сэкономленных.

Молчала она и про письма, которые больше всего было утратить. Таня уж давно хотела рассказать о них внуку, попросить вот о чём: поскольку он был журналист, то мог бы напечатать в газете выдержки из этих писем (а они были поучительными, трогательными и патриотическими), а также Васенькину фамилию. Вдруг бы он прочитал и откликнулся?

Но Таня всё откладывала и откладывала этот разговор по одной причине: ей почему-то казалось, что внук тотчас спросит, а чего это ты, столько лет не искала, а тут на тебе? Придется объяснять, ведь лет сорок прошло с тех пор, а врать Тане не хотелось, не любила она этого, да и странная правда совсем бы уж обидела Мишеньку с Петенькой. Дело в том, что Таня в последнее время стала ужасно бояться, что её старость, болезни и бесполезность постепенно утомят Мишу, Петра, Алевтину. А поскольку они, хоть и любят её, но не беззаветно, как любили все, кого она пережила — мама и старшая сестрёнка Тася, как любил её муж Иван Степанович, меченый окалиной, как любил её Марк Михалыч, проектировщик божьей милостью, как любил ее исчезнувший, но незабываемый лейтенант, а может, и брат Василий, то не станут изо всех сил противиться её медленному неизбежному уходу. Они смирятся с ним раньше, чем смирится она, оставят одну, а хуже того, сдадут в клинику — и над ней

будет неотвратимо блёкнуть потолок, мучить свет прожектора, будет всё горячее стена в ванной, и полуголая соседская девушка, обмотанная зелёным полотенцем, найдёт способ отдвинуть снаружи задвижку, придёт к ней и оставит на присмотр плачущего Мишеньку в вельветовых штанишках и чулках, пристёгнутых резинками, поскольку у самой пожар в квартире.

А разве можно теперь доверить Тане ребёнка? Она уж не та теперь, чтобы присматривать. Вдвоём с Тасей, покуда она жива была — куда ни шло. А сейчас...

— Тася, ты куда? — спросила мать.

— Гулять, — ответила сестра. — Может на станцию сходим, паровозы смотреть.

— Мальчишка ты, что ли, паровозы смотреть... Танечку возьми с собой.

Тася подошла к Танечке, стала спиной, присела. Таня обвила ей шею руками, обхватила сестрины крепкие бока ногами — привычно так, поскольку после падения в подпол ногу натруждать было нельзя, то она почти год провела на Тасиной спине, как кудрявый, сопливый и плаксивый рюкзачок.

На станции было много народу, провожали эшелон. Танечке было удобно на Тасиной спине, она даже удивилась, какая сестра высокая, или она научилась летать, потому что сверху был виден весь железнодорожный узел. Таня стала всматриваться — нет ли тут и Василия, потому что вокруг люди были все военные, в мокрых шинелях, с котомками за плечами и винтовками.

Вроде мелькнул — но Пётр стал трясти её за плечо.

— Ты чего, бабуля? Плохо тебе?

— Плохо, Петенька, — честно сказала Таня. — Отведи меня, я лягу.

Повалилась она на кровать как-то косо, тяжелее обычного. Все хвори, все страхи вдруг надвинулись, как она и предполагала: даже зуб заболел, задвигался и стал царапать щеку изнутри.

— Зуб? Двигается? Чего это он? — спросил Петя, выслушав её тихие жалобы. — Да и как такое быть может?

Таня горестно замолчала, потому что началось: ей не верили. От неё устали.

Во вторник домработница Ариадна не пришла. Телефон её не отвечал, а на фирме, которая Ариадну рекомендовала, ответили, что, да, рекомендовали — и точка, а уж как, на сколько, на каких условиях, это дело клиента. И хоть имелись у Мишеньки с Алевтиной её фамилия и адрес, было ясно, что никого они не найдут: родом Ариадна была из Молдавии, а куда она теперь подалась — никто не знает.

Поскольку Танин заветный чемоданчик так и не нашёлся, проще всего было предположить, что он не только существовал, но что Ариадна

его с собой и прихватила. В доме она за полгода освоилась, секретов от неё Таня не таила, да и не могла уж по немощи. В последнее время Ариадна всё намекала, что надо ей жалование увеличить, поскольку Таня стала совсем несносная старуха. Просила Ариадну по ночам не петь и не молиться неведомым богам.

«Ну, вы можете себе представить, чтоб я пела и молилась?» — спрашивала Ариадна. Женщина она была крупная, длинноносая, когда-то яркая. Насчет молитв было исключено, а вот насчет пения брали странные сомнения из-за некоторого сходства Ариадны с Монсеррат Кабалье. В целом она была здоровая женщина и ухаживала за Таней хоть и без богомольной истовости, но мыла, кормила и даже беседовала. «Она то такая, то такая, — шептала она Петеньке, когда тот приходил. — То прям молодец, а то как во сне. По ночам ходит. Я делаю, что могу. Но её в клинику надо. Я вам как бывшая медсестра говорю».

Петенька кивал, но знал, что никуда Таню они не повезут: новое, чужое место, да ещё такое недоброе, как клиника, окончательно оборвет Танины связи с реальностью. Заметил Петя и другое: Ариадна слегка побаивалась Таниных запутанных отношений с миром, отказывалась верить, что где-то тут рядом живут Танина мама, сестра Тася, Марк Михайлович, Иван Степанович и другие. «Всё к ней то Вася какой-то придёт, то Марк Михайлович, вроде, сосед. И вам говорить не велит про это», — Ариадна сообщала это совсем тихо. — Вот ей-богу, за такими больными ходить — только нервы себе портить». Петя соглашался, и жалования добавляли.

Но успокоения это почти не вносило. Если после странных Таниных откровений соседка Зинаида только примирительно вздыхала, да напоминала Тане про таблеточки, Ариадна же с Таней спорила, указывала ей на логические нестыковки и сердечности меж ними не было. Варит бывало Ариадна Тане постную кашку, шёлковый халатик весь в цветах и огурцах, грызет бутерброд с копчёной колбасой, которой Тане теперь уже нельзя, и указывает: какой ещё Марк? Да ведь не приходил никто! А Таня виновато помалкивает.

Таня во вторник сразу заметила, что Ариадны нет. Не пришла? Не пришла.

В то утро она не встала с постели — да так и не вставала до самого конца. У неё посменно дежурили Миша, Петя и Алевтина. Она всех их — и проходящих, пропахших бенадёжностью врачей — звала Васей, Тасей, мамой и Марком Михайловичем. Потом только Васей и мамой. А потом никак. Физические подробности её ухода вовсе не нужны ни этому рассказу, ни миру; мир и не такого навидался, а рассказ только удинится. Она больше ни разу не вспомнила о письмах, и Петя стал уж сомневаться, а была ли эта перевязанная лентой пачка — или это спутанные старушечьи сны пополам с мечтами и воспоминаниями.

Однако же, через полгода примерно, он пришёл по Таниному адресу — и подумал, что не проверял её почтовый ящик. Газет Таня не выписы-

вала, но бумажками разными ящик наполнялся. Вывалилась приличная груда реклам, листовок и предвыборных биографий, среди которой благородно желтели какие-то справки и жировки из другой жизни, а, главное, пачка старых писем, перевязанная ленточкой. Какие-то из них прежде были треугольниками, но потом их пересложили заново.

«Милая Танечка! Кажется, скоро войне конец. Мы сейчас стоим недалеко от Кенигсберга. Сегодня был бой, мы потрепали фашистов, как положено. Тебе за меня стыдно не будет, когда вернусь. Хочу, чтобы ты, милая, знала, что тот вечер в твоём доме я помню до мельчайших деталей. Я уж сто раз писал тебе об этом, но ещё пишу, потому что знаю, что ты думаешь, а может, он и забыл меня, или, мол, я ему не подхожу по каким-то обстоятельствам. Ты, Танечка, очень мне подходишь по всем обстоятельствам, и если б ты только знала, сколько раз тот вечер мне вспоминался. Ты уж писала, что, кажется, и ты всё помнишь, но напиши ещё, знаешь, как говорят — повторение мать учения. Лети с приветом, вернись с ответом. Василий».

Сразу ли Ариадна оставила в ящике письма и бумаги, подбросила ли потом, усовестясь, а может, и поняв что-то из старушечьего бормотания (Алевтина так и сказала: «Сидит, поди, читает, на мизинце кольцо Танино, в глазах крупные слёзы — какая любовь!»), но Пете казалось, что это чересчур), осталось неизвестным. Петя опубликовал строки из писем в своей газете — как раз к 9-му Мая. Но никто не откликнулся.

Анна Чалышева
(Россия, Сыктывкар)

Чалышева Анна Александровна родилась в г. Шуя Ивановской области. Студентка Сыктывкарского государственного университета. Публиковалась в коллективном сборнике «СтихиЯ», альманахах «Белый бор», «Переключка», журналах «Встречи» (Чита), «Арт», «Юность», «Литературная учёба», газете «Российский писатель». Автор сборников стихов «Дыхание» (2011), «Письмо из апреля» (2014). Лауреат всероссийской литературной премии имени Антона Дельвига (2014). Живёт в Сыктывкаре.

Оставленный рай

Оставленный рай

Учились взрослеть на обломках эпохи,
В руинах надежды, в трущобах любви.
И только отчаянья жалкие крохи
Кипели в отравленной небом крови.

Мы красили флаги акриловой верой,
Цитируя мёртвых, пытались понять,
Как жить в эту странную смутную эру,
Где боги отчаялись что-то менять.

И наши пророки все ждали посланий,
Рождения избранных, знаков с высот.
А мы превращались в овец для закляний,
Чтоб счастлив был проклятый Богом народ.

Нам ставили жгучие чёрные метки
На душах, раздетых при всех догола.
И дым становился отчаянно-едким,
Когда нас с тобою сжигали дотла.

И искры взметались безумно и рьяно,
Никто не посмел приближаться к огню...
И ты мне шепнула: «Я завтра восстану»,
И я отвечал: «Я тебя догоню».

И вот мы стоим за воротами Рая,
Покинув жестокий знакомый приют...
И шепчешь ты мне: «А ведь здесь умирают...»
И я отвечаю: «Ну, значит — живут...»

* * *

Знаешь, теперь-то, наверное, ни при чём,
 В точку попал или всё-таки был неправ ты...
 Читай меня только поверхностно: «всё путём».
 Не лезь между строчек, я там зарываю правду.

Не вздрагивай, если я свет неожиданно притушу.
 Тьма на лице — это просто подобье грима.
 Читай меня только поверхностно, я прошу,
 Всё, что чуть глубже, пускай протекает мимо.

Вечность из льдинок — ты помнишь, мой милый Кай?
 Если ты помнишь — забудь и останься сильным.
 Читай меня только поверхностно, не вникай,
 То, что за кадром, не будет «светиться» в фильме.

Завтра опять будет солнечно — дождь прошёл.
 Что, обещали осадки? Опять? Да ладно...
 Читай меня только поверхностно, хорошо?
 Не лезь между строчек, я там зарываю правду...

Выше

Не дрожи, слышишь, не грехи этим —
 И летай выше, раз в крови ветер,
 И дыши чаще, раз звезда в темя,
 Бог простит падших — Он всегда в теме.

Выходи смело, отсекай мили —
 Не всегда в белом те, кому — крылья
 Он дает вместо всей земной доли,
 Только тем честным, кто хлебнул боли,

Не шадил крови и не знал меры,
 Не жалел дровьев для костров веры,
 И стирал ноги на дорог ленте —
 Он в своём блоге нас теперь френдит.

Так бери выше и не жди лиха —
 Разве Он слышит, если звать тихо?
 Так стреляй метко, раз зарей мечен —
 И люби редко, но зато — вечно.

Собери волю, поменяй кожу —
 Я привык к боли, значит, ты — тоже.
 Подави жалость, призови стаю —
 Бог простит наглость, Он же нас знает...

Светлячок

Я красив в первозданной мгле,
 Быль ли, небыль
 Нет следов моих на земле —
 Гляньте в небо.

Среди звезд, в золотой тиши,
 Полной тайны,
 Как комета, как след души,
 Я летаю.

Я не чудо, но волшебства
 Верный признак,
 Хоть, конечно, для большинства
 Только призрак.

Я как эхо, как тень слезы
 Старых кукол.
 Тает в отсветах бирюзы
 Твёрдый купол,

Что накрыл ваш суровый мир,
 Скрыл от Бога...
 Просто учитесь быть людьми
 Слишком долго.

Колыбельная ангелу

Ангел мой, боль неясная —
 Сизая, белокрылая...
 Вверил мне не напрасно ли
 Право карать и миловать?

Смотришь — беды не ведаешь,
 Прячешь тоску заветную...
 Как мне искать по следу лишь
 Грусть твою предрассветную?

Ангел мой, нежность таяя,
 Верность без капли жалости...
 Знал бы ты, как устала я...
 Нет, ты не знай, пожалуйста.

Мы разделить пытаемся
 Общее одиночество...
 То ли весь мир сжимается,
 То ли заплакать хочется.

Ангел мой, ночь бессонная,
Снова душа в метании...
Тьма ли то законная,
Или твоё дыхание?...

Вот уж рассвета искрами
Небо цветёт над городом...
Спи, мой родной, мой искренний,
Спрячу зарю за шторыю...

Апокалипсис

Не уйти нам по лезвию сна,
Не сбежать до рассвета.
И когда разразится война,
Будешь ты не одета.

Между книжных не спрятаться строк,
Не уйти до премьеры.
В тире падает мёртвым стрелок
В лапы чёрной пантеры.

Не отдать наши карты другим,
Не сбежать до расстрела.
И уже не смывается грим
На лице твоём белом.

Мы дошли до последней черты,
Не найти в себе силы.
Тебе вспомнятся губы, что ты
Поцелуем клеймила.

Не найти нам следов на песке,
Не сбежать до цунами.
И в твоей остаётся руке
Только рваное знамя.

Не повесить уже зеркала,
Не уйти нам без боя.
Все, кому ты безбожно лгала,
Вдруг встают пред тобою.

Не свернуть на крутом вираже,
Не сбежать до удара.
Новый мир народился уже,
А мы всё ещё в старом.

Письмо

Здравствуй. Я снова пишу не к месту,
 знаю, не вовремя, ты прости,
 просто так вышло, тебе известно,
 мне не свернуть с твоего пути.
 Горло болит, говорят — простуда,
 носятся с ковшиком молока.
 Только живу в ожиданье чуда
 или хотя бы его звонка.
 На перекрестьях вселенских лестниц
 о людях, что ничего не ждут,
 лишь по историям их болезней
 можно понять, что они живут.
 Через всё множество расстояний,
 взлетов, падений и встреч во снах —
 мы обойдёмся без заклинаний,
 помни, что главное — не в словах.

Если вдруг солнце светить устанет,
 а время свой остановит ход
 помни, кто любит — тот не оставит,
 а кто не любит — пускай идёт.

Все мы по-разному смотрим в небо,
 видим то высь, то колодца дно.
 Но только я понимаю, что где бы
 Ты ни был, небо для нас одно.
 Это дано нам понять внезапно,
 строчками удивляя тетрадь...
 И ни сейчас, ни в условном завтра
 я не умею тебя терять.

Здравствуй. Пишу тебе из простуды.
 Градусник жарит и греет ртуть.
 Что до меня — я была и буду,
 так что ты тоже — возьми и будь.
 Что же до боли, обиды, смерти —
 рано иль поздно, но всё пройдет...

Пиши мне — мой адрес там, на конверте:
 Улица Мира, Апрель, Восход...

* * *

О том, что мы не ангелы с тобой,
Давно я знаю — и не понаслышке.
Нас Гавриил не звал своей трубой,
Мы не взлетали вверх с пожарной вышки.

В небесных мы не числимся войсках,
И нимбов нет у нас над головами,
На высоте мы чувствуем лишь страх,
И перья здесь оставлены не нами.

Мы не спускаемся на землю с вышины,
И только в горе шепчем мы: «О Боже!»
В хранители мы тоже не годны —
Мы и себе помочь порой не можем.

Так почему же, если ты со мной,
Мне в небо заглянуть подчас так сладко,
И крылья чую я всем сердцем — за спиной —
И кожей воспалённой на лопатках?

И мы стоим на верхнем этаже,
И смотрим вдаль с отчаянной надеждой...
Быть может, мы — крылатые в душе?
Быть может, мы летали где-то прежде?

Владимир Гудаков
(Франция)

Родился в г. Краснодаре. Закончил факультет иностранных языков в Краснодарском педагогическом институте, факультет истории и социологии Кубанского государственного университета. Во Франции с 1989 г. Литератор, культуролог, доктор социологических и исторических наук.

Рыбный путь в «Чрево Парижа»

Для начала вспомним описание рыбного царства в «Чреве Парижа» Эмиля Золя. Вот только одно предложение: «Глубинные водоросли, среди которых дремлет таинственная жизнь океанских вод, отдали по воле закинутого невода всё своё достояние вперемешку: треску, пикшу, плоскушку, камбалу, лиманду, — простую рыбу, серовато-бурую с белёсыми пятнами; коричневых с синевой морских угрей, похожих на крупного ужа, с узкими чёрными глазками, таких скользких, что казалось, они ещё живы, ещё ползают; были здесь и плоские скаты с бледным брюхом, окаймлённым светло-красным ободком, с великолепной спиной, которая покрыта шипами и вплоть до торчащих плавников испещрена киноварными чешуйками и поперечными полосками с бронзовым блеском, напоминая мрачной пестротой рисунка жабью кожу или ядовитый цветок; попадались здесь и акулы, ужасные морские собаки, мерзкие, круглоголовые, с растянутым, как у смеющегося китайского божка, зевом, с короткими и мясистыми крыльями летучей мыши, — должно быть, чудища эти сторожат, щеря зубы в беззвучном лае, бесценные клады морских гротов»...

И оказывается, рыбы сторожат не только «бесценные клады морских гротов», но и сокровищницу мирового искусства — Лувр. Они с полуоткрытыми от удивления ртами, выплывают из оснований реверберов вокруг пирамиды Лувра, чтобы взглянуть на толпы туристов со всего мира, пробегающих мимо них с целью как можно быстрее попасть в самый популярный музей мира.

И, конечно же, морская рыба свежего улова продавалась с самого начала существования Центрального Рынка. Поэтому, когда французский король Филипп Август поиздержался, он взял деньги у некоего рыбного продавца по имени Жан Алэ, а ему позволил взимать один денье (серебряная монета) с каждой рыбной корзины, проданной на рынке. Заимодавец так разбогател, что вложил избыток капитала в сооружение часовни Святой Агнессы. И над входом, естественно, был высечен барельеф в форме рыбы, озолотившей заказчика. И по сей день эта золотая рыбка смотрит на вековую суету людскую. К этой часовне постепенно пристраивались другие, что в конце концов привело к сооружению одного из самых гран-

диозных столичных храмов — церкви Святого Евстафия. Благодаря своему расположению и значению она вступила в конкуренцию с собором Парижской Богоматери. В ней, например, в 1585 году принял крещение Ришелье, в 1622-м — Мольер, а в 1721 году (кстати, о рыбных названиях и именах) Жанна-Антуанетта Рыбина (Jeanne-Antoinette Poisson), более известная под именем маркизы де Помпадур, любовницы и фаворитки Людовика XV.

А прямо напротив рыбного барельефа расположился бутик кухонной утвари, с интересным предложением: «Утварь для приготовления изысканной пищи». Но это только начало следующих один за другим магазинов домашней и кухонной утвари и гастрономических бутиков. Одна из таких витрин символично выражает замечательно-привлекательным образом одну из главных черт искусства жить по-французски — гастрономии: Эйфелева башня во всю витрину, обвешанная с двух сторон кастрюлями.

А чуть дальше по этой же улице Монмартр «Книжный магазин для гурманов» и забегаловка для всех гурманов, обезумевших от жажды: «Thirsty mad cat» («Кот, одуревший от жажды»). Ещё одно эхо Центрального Рынка.

Кстати, по возрасту «Чреву Парижа» примерно столько же лет, сколько и Москве. Первое летописное упоминание о Москве относится к 1114 году. Крытый же парижский рынок был создан около 1137 года Людовиком VI, а две первые рыночные постройки появились в 1181 году при Филиппе Августе.

А теперь давайте прогуляемся по рыбному пути, оставившему свой вековой отпечаток от Ла-Манша, в особенности от крупнейшего рыболовного порта Франции Булонь-сюр-Мер, до центра Парижа. И след этот прослеживается прежде всего в названиях переходящих одна в другую улиц, начиная от окружной дороги: авеню Ворота Рыбников, улица Торговцев Рыбой, улица Рыбной Слободы, Рыбная улица. Последняя переходит в улицу Маленьких Каменных Плиток и в улицу Горделивой Горы, которая и вливается в «Чрево Парижа». И даже две северные станции метро называются: «Маркадэ — Рыбники» и «Торговцы рыбой», поскольку они тоже находились на пути морской рыбы свежего улова. А на углу Рыбного Бульвара, являющегося частью знаменитых Больших Бульваров, и Рыбной улицы наблюдает за вековым приливом морской рыбы и указывает ему путь маяк под названием Великий Король (Le Grand Rex). Этот храм седьмого вида искусства (по одной из общепринятых классификаций) был воздвигнут в стиле ар-деко в 1932 году как самый большой кинозал Европы. И не случайно для этого был выбран Рыбный бульвар. Именно он был, да и сейчас остаётся в центре массовых развлечений парижан и туристов со всего мира.

Конечно, все вышеупомянутые рыбные названия — это сегодня только память о мчавшихся веками в центр Парижа двуколках со свежей

рыбой. А началось всё ещё в средние века, когда выловленную на Ла-Манше рыбу нужно было менее чем за 24 часа доставлять в Париж. Прежде всего, к королевскому двору, в религиозные общины и, конечно же, на Центральный Рынок. Поэтому конная тяга булонской породы, одной из самых известных французских тяжеловесных пород лошадей, была веками единственной в своём роде. Пятеро таких тяжеловесов должны были каждый день мчать в Париж около четырёх тонн морской рыбы свежего улова, заключённой в специальные шаровидные сосуды и обложенной для сохранения своей свежести морскими водорослями. Кибитка была перекладной — булонцы сменялись каждые два часа, ведь путь был не близкий, целых 70 льё (более 300 км). От Булонь-сюр-Мер нужно было нестись вдоль побережья прямо на юг до Абвиля, пересечь Пикардию, прибыть в Париж через Ворота Рыбников и финишировать в «Чреве Парижа».

Всё это вековое действо закончилось с появлением в 1848 году железной дороги, но было восстановлено в 1991 году. Конечно, теперь это не пригон свежей рыбы, а спортивная гонка конных упряжек. Она называется «Рыбный Путь», устраивается в сентябре каждые два-три года и носит общеевропейский характер.

Даже парижские пассажи не избежали рыбного влияния. Так один из них, параллельный улице Горделивой Горы и построенный ещё в середине XVIII века, называется Пассаж Лосося. Это, наверное, наименее известный и наиболее скрытный из всех парижских пассажей. Он защищает свою тихую и спокойную жизнь от любопытствующей публики двумя решётчатыми воротами.

И конечно же, на некоторых улочках вокруг «чрева» есть рестораны с рыбными названиями, такими, например, как «Рыба, ракообразные».

Не забыты и моллюски. Так, на выходящей к «чреву» с XIII века Раковинной улице есть парочка «Даров моря» и даже садоводческий магазин называется «Ракушечный Сад».

Закончим сказанное выше одной французской поговоркой: «рыба, чтобы стать вкусной, должна поплавать трижды: в воде, в масле и в вине».

Самый известный ресторан морских даров находится на главной улице едального квартала, улице Монторгёй, переведённой выше как улица Горделивой Горы, изображённой на картине Клода Моне в 1878 году под названием «Улица Монторгёй, украшенная флагами». Ресторан называется «Скала Канкаля». Канкаль — это город в северной Бретани, знаменитый своими устрицами, подававшимися с середины XVI века два раза в неделю к королевскому столу. А скала — напоминание о каменном бретонском берегу с острыми выступами и отвесными крутыми склонами. И один выступ даже раздвинул ресторанный стеной и позволяет потрогать себя и приклеившихся к нему устриц. В этом ресторане «ели, пили, пировали» Александр Дюма, Теофиль Готье, Эжен Сю и многие,

многие другие... Оноре де Бальзак увековечил его в своей «Человеческой Комедии». Здесь собиралось лучшее парижское общество, унаследовавшее наследие Эпикура, добавившее к нему «искусство стола» и превратившее его в «искусство жить» по-французски. А дюжина устриц, например, в 1814 году стоила всего 15 су. И это цена после поражения Наполеона, в занятом союзниками Париже.

Борьба за чрево клиентов

И конечно же, на улице Монторгёй осталось ещё кое-что от бывшего «чрева». И это кое-что напоминает о прошлом, процветает в настоящем и стремится в будущее. И сейчас эта улица — гастрономическая витрина Парижа, причём, витрина не только французского искусства поесть, но и итальянского, японского, китайского, ливанского и прочего. И каждая кухня старается всю — близость «чрева» обязывает. И не только к улыбкам и предложениям продегустировать то или иное блюдо, но и к их высшему качеству.

На самом бывшем рыбном пути и вокруг него идёт постоянная битва за чрево клиентов. Так, прямо напротив друг друга расположились две итальянские пиццерии: «Caldo-Freddo» («Горячо-Холодно») и «Made in Italy». И примерно в одно и то же время выходят из них навстречу друг другу с улыбками и кусочками пиццы на подносах для дегустации две итальянки и наперебой предлагают зазевавшимся прохожим выбор. И эта гастрономическая дуэль очень нравится как парижанам, так и гостям столицы.

А какая же еда без вина? И, конечно же, на этой же улице античный бог вина и веселья нашёл себе прибежище в магазинчике с завлекающим названием «Приют Бахуса».

А с другой стороны парка, разбитого на месте бывшего «чрева», расположился ресторан «Клык Центрального Рынка», и на выставленной на улицу доске разъяснение: «...Здесь каждое животное выращено в полном бокале... (игра слов, по-французски en plein aire et en plein verre — на открытом воздухе и в полном бокале), а затем «Взять бокал в коптильне, выпить хорошего вина и укусить настоящий, кровоточащий стейк». Вот оно — эхо чревоугодия.

Эта рекомендация напоминает об одном обычае, существовавшем до сноса рынка. Очень рано, часов в пять утра, рыночные торговцы заходили в околочревные таверны, чтобы съесть луковый суп, улиток или жареные свиные ножки. Об этой традиции напоминают нам и названия некоторых современных рестораций: «Улитка», «Ушастая Свинья», «У Ног Свиньи».

Один из ресторанов, связанных с историей Центрального Рынка, находится на улице с экзотично-историческим названием «Улица Большой Шантрапы» («Rue de la Grande Truanderie»), плавно переходящей в «Улицу Шантрапы Малой» («Rue de la Petite Truanderie»). Ресторан называется «Фарамонд» и входит в список исторических памятников из-за своего

интерьера в стиле «Прекрасной Эпохи». Но самое главное то, что в нём можно поесть инкогнито. Вот почему его посещали Клемансо, Миттеран... Хемингуэй, подаривший миру фразу «Париж — это праздник, который всегда с тобой», тоже посиживал в нём. Когда я увидел его имя среди именитых посетителей «Фарамонда», мне это напомнило один ресторан в самом центре Мадрида, над входом которого была надпись: «Здесь никогда не был Хемингуэй». Ресторан всегда был полон. И понятно почему. Ведь любому заядлому туристу хочется посидеть в ресторане, где не ел, не пил и не творил великий писатель Хемингуэй.

Прогуливаясь по улочкам вокруг бывшего «чрева», понимаешь, что такое искусство приготовления еды и искусство еды. Это Искусство с большой буквы.

Как театр начинается с вешалки, так французский гастрономический ресторан начинается с меню перед входом, приветствием встречающего официанта, выбора места в зале и подачи меню. После выбора блюд — пауза, как перед началом спектакля. Затем занавес поднимается, официант появляется, и начинается танец с подносом. Когда видишь, как в лучших парижских ресторанах официанты пробегают между столиками, спускаются и поднимаются по лестницам, то лучше понимаешь, почему балет, рождённый в Италии, именно во Франции расцвёл в качестве придворного балета и стал одним из самых пышных зрелищ. Закончив свой танец с подносом и вплотную приблизившись к столику, официант пропевает первое название блюда. И только когда пропеты все гласные названия блюда, оно изящным жестом ставится на стол. Один из околочревных ресторанов так и называется: «Пение гласных» («Le Chant des Voyelles»). Закончив свою арию, официант незаметно удаляется, чтобы не прерывать переход клиентов от вокала к наслаждению расположением, оттенками цвета и штрихов поданного блюда. И наконец наступает кульминация удовольствия: обоняние и осязание сочетания запахов и вкусов. Потом — сцена расплаты за полученное удовольствие, и в финале зрителям и слушателям предлагается в ближайшем будущем повторить либо весь спектакль, либо его самые изысканные блюда.

Примечание: Все переводы с французского выполнены автором. — В.Г.

Владислав Корнилов (Россия, Тюмень)

Корнилов Владислав Владиславович родился 22 июля 1965 года в Тюмени. В 1987 году окончил Тюменский индустриальный институт им. Ленинского Комсомола, по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», в котором в дальнейшем пять лет преподавал и вёл научную работу. В поисках своего дела освоил множество профессий и ремёсел: кузнеца, токаря, слесаря, шорника, резчика по дереву, мебельщика-краснодеревщика, строителя.

Стихи и песни на свои стихи пишет с 2005 года.

Принимал участие в Грушинском фестивале авторской песни (2006 г.). Лауреат различных степеней городских и региональных конкурсов авторской песни. В 2008 году опубликовал свой первый поэтический сборник «Песочные часы». В 2012 году стал лауреатом третьего регионального конкурса композиторов имени А.А. Алябьева в номинации «Эстрадная песня». В 2013 году выпустил сольный аудио-альбом «В параллельных мирах», а также аудиосказку для слепых и слабовидящих детей «Приключения капельки». В 2014-м опубликовал сборник стихов «Параллельные миры». Печатался в коллективных сборниках и газетах Тюмени и Санкт-Петербурга. Лауреат второй степени тюменского литературного конкурса к 70-летию Победы (2015 г.) Финалист Международного поэтического конкурса им. И.Н. Григорьева (Санкт-Петербург, 2015 г.). Член Союза писателей России.

И зимы уже не превозмочь...

Письма в вечность

Я не мечтаю об успехе громком —
Рифмую дни и отправляю в вечность,
Как письма без адреса потомкам —
Такая вот наивная беспечность!
А вдруг дойдут?! Чем только чёрт не шутит?!
А может, будет Богу так угодно?!
Пусть кто-то пальцем у виска покрутит,
Поправив строчку... на «прикиде» модном!

Колодец

Кусочек неба в рубленном окладе,
 А в нём, как рыба, плещется луна.
 Засохли капли крови на прикладе,
 Котомка дичью до краёв полна.
 Её я сброшу наземь у колодца,
 Сниму ружьё с затёкшего плеча,
 Щемящим эхом в сердце отзовётся
 Вселенская осенняя печаль.
 Замешкался сегодня на охоте,
 Сквозь чащу продираясь напролом.
 Морозный воздух так упруг и плотен.
 Луну в колодце зачерпну ведром.
 Заломит зубы (стылая водица),
 Я прямо из ведра пью не спеша
 Настой луны, и не могу напиться.
 И расправляет крылышки душа!



© Художник Андрей Карапетян

Питерская полночь

Глебу Горбовскому

Фонаря грустящий светлячок
На задворках призрачного города.
За окошком красный червячок
В градуснике съёжился от холода.

В закоулках памяти всю ночь
Бродят тени прошлого несмелые,
И зимы уже не превозмочь —
С неба полетели «мухи белые».

Полночь — на часах одни нули,
Наступил тот редкий миг безвременья:
Сердце перебоями шалит,
А душа идеями беременна!

Есть ещё и мысли, и слова —
Жизнь пока не завершилась точкой,
Но всё ниже клонится глава
Ночь за ночью, с каждой новой строчкой.

Полночь

Двенадцать раз прокуковала,
и, хлопнув дверцей напослед,
в свой домик спряталась устало
кукушка — редкий домосед.
Шинкуя вечность на мгновенья,
на кухне ходики стучат,
и маятник играет с тенью,
и новый день уже почат.
Ползут по циферблату стрелки,
томятся шишки на цепях.
Клубком свернувшись у тарелки,
сопит лохматый пёс в сениях.
Гляжу в окно поверх рябинок,
а за окном белым-бело,
летят скелетики снежинок,
врезаясь в стылое стекло.
А на столе — листочек в клетку
(на нём две строчки слов-стежков),
остывший кофе на салфетке
и груда клетчатых «снежков».

Трещинка

Когда расстанемся с тобой
 (Такие разные мы, дескать), —
 Уйду в себя, потом — в запой,
 А возвращусь дней через десять.
 И будет хмурый день тягуч,
 Как прошлогоднее повидло,
 И солнышка в окладе туч
 Сиреневых не будет видно.
 Звонок за дверью прозвенит,
 Так виновато-осторожно,
 Но взгляд твой будет ледовит,
 И станет на душе острожно.
 Повиснет жизнь на волоске
 Внутри невзрачности подъездной,
 И трещинка на потолке
 В тот миг покажется мне бездной.

Последний выстрел

*Бывшему охотнику Егору Трушникову.
 (написано на основе реальных событий)*

Он шёл за ним уже который час;
 кровавый след тянулся вдоль пригорка;
 «Врёшь — не уйдёшь!» — азартен был Егорка,
 и белке в глаз он попадал на раз,
 а тут немного дрогнула рука,
 и пуля не нашла заветной цели,
 не волчи вдруг привиделись в прицеле
 глаза, и он застыл, как истукан.

Развязка близко, он его настиг
 уже почти у самой кромки бора,
 (зловеще клацнул карабин затвором)
 победы предвкушая сладкий миг!

Волк ковылял уже едва живой,
 вдруг, развернувшись, захромал навстречу,
 сочилась кровь из левого предплечья,
 и волк мотал устало головой.
 Приблизился на несколько шагов,
 взглянул в глаза охотнику так странно
 присел на снег, зализывая рану.
 Десяток метров разделял врагов.
 Смотрел охотник в жёлтые глаза,
 а волк в его небесно-голубые,

и не уместны здесь слова любые,
когда по шерсти катится слеза.
А серый взглядом, будто бы просил:
«Добей меня, прерви мои мученья,
ты выстрелил за-ради развлечения,
но я тебя за то уже простил!
Не можешь? Что ж, давай, я помогу», —
волк встал... и сел к охотнику спиною,
и целый мир, объятый тишиною,
застыл на окровавленном снегу.
«Ну, что ты медлишь, ты же Царь зверей?!
Стреляй! Ты победил сегодня в схватке!
и, как всегда, всё у тебя в порядке,
а мне лежит дорога в мир теней».

Охотник опустил свой карабин,
не в силах сделать тот, последний выстрел,
а волк, прощаясь, вдаль смотрел, — как выстрел
и пропитал подлесок цвет рябин!
Тянулось время. Из последних сил
рванулся волк охотнику навстречу,
ощеривши клыки, в последний вечер
предсмертным рыком тишину пронзил.
Раздался выстрел... Волк упал на снег,
глаза по-человечьи так смотрели,
и шапка снега покатилась с ели,
и рухнул на колени человек.
С трудом поднялся и побрёл домой,
ни разу, ни на миг не оглянувшись,
лишь у околицы, сняв лыжи, затянулся
цигаркой под ущербною луной.

Всю ночь его терзал тот «волчий» взгляд,
кошмарный сон лишил его покоя!
Ну, надо же, случится же такое.
Как он хотел бы всё вернуть назад!
Наутро свой кормилец-карабин
и все патроны, что имелись в доме,
охотник бросил в прорубь на затоне,
и «горькую» неделю пил один.

Он дал зарок,
что не притронется к ружью,
Уехал в город, вскорости женился,
Ночами больше волк ему не снился.
Лишь волчья тень
ходить повадилась к ручью.

Отголоски памяти

Монашеский не дремлет скит
на берегу пруда,
старик-монах псалмы бубнит —
седая борода.

«Молчи, чернец, не пустозвонь!» —
Сова кричит в ночи.
(Порхает бабочкой огонь
над фитильком свечи.)

Ты видишь в трепетном огне
костры былых времён?
Тень предка на лихом коне,
что руссами клеймён?

И грива вьётся на ветру,
едва поводья тронь!»
Но догорит свеча к утру,
и вдаль умчится конь.

Плывут по небу облака,
цепляясь за кресты.
Струится Млечная река
По свитку бересты.

Лиловый сумрак

А. Блоку
на статью «О современном состоянии
русского символизма»

Лиловый сумрак застит дали
Иных бесчисленных миров,
В которых демоны снедали
Всех, кто посмел искать там кров.
Так было на Земле извечно:
На утлом плотике из слов
Плывёт поэт рекою Млечной
В смертельной власти вещей снов.
Плывёт... плывёт, и вот однажды
Жизнь оборвётся невпопад.
Поэт в Раю проснуться страждал,
Но вновь попал из ада в Ад.

Заутреня

Серый небосвод.
 Дождик моросит —
 Бог водицу льёт
 Из небесных сит.
 Православный храм
 Над рекой парит,
 Четырём ветрам
 На холме открыт.
 Колокольня крест
 Окунула в хмарь.
 Птиц сгоняет с мест
 Колокол-бунтарь,
 А потом, устав,
 Погудел... и сник,
 Чрево опростав,
 Вывалил язык.
 И побрёл звонарь
 По ступеням вниз,
 Старенький фонарь
 На руке повис.
 Слабый огонёк
 Бьётся на ветру,
 Словно окупёк
 В сети поутру.

Председатель колхоза

За окном петушился рассвет.
 Пыхали багрянцем деревья.
 Русской печкой чадил сельсовет.
 Просыпалась тревожно деревня.

 Он ходил взад-вперёд и курил,
 Зябкий китель набросив на плечи;
 Он ходил, как в бреду, и твердил:
 «Трудодни отдавать будет нечем...»

 Свил петлю из обрывка вожжей.
 «Ни семян... ничего не осталось!
 Всё свезли подчистую ужей!
 Да оставьте ж хоть самую малость!»

 И спина изогнулась дугой
 От зловещих угроз-резолуций,
 Самокрутки одна за другой
 Затухали на треснутом блюдце.

 Как посмотрит он людям в глаза?
 Что он скажет сиротам и вдовам?
 По щетине скатилась слеза
 На газету с наркомом Ежовым.

О поэтах

Огонь в камине с треском грыз дрова
 Волчонком, что неделю не кормили...
 И теплилась в душе едва-едва
 Надежда, что не зря мы жизнь прожили...
 ...Оставим горсть весёлую стихов
 Да пригоршню рифмованную грусти...
 И бездну нерифмованную слов —
 За это Бог нам все грехи отпустит...

Томик стихов
Н.Г.

Стопка книг у мусорного бака
 В старом целлофановом пакете...
 Подошла бездомная собака:
 Чем бы подкрепиться на рассвете?

Потянула за пакет зубами,
 Опрокинув, прочь пошла уныло.
 Сахарными взбитыми клубами
 Облако багровое проплыло.

Дворик заметает полусонный, —
 Дворник пьяный снова бьёт баклуши.
 На плите заснеженной бетонной
 Мёрзнут книги, словно чьи-то души.

Ветер перелистывал страницы,
 Оставляя снежные закладки.
 И мелькали глянцевые лица
 И стихи в сиреновой тетрадке.

Ночное камлание

Бубна тугие раскаты,
 бесится пламя костра,
 тянет дымком сладковатым,
 месяца сабля остра.
 В танце шаманка камлает,
 густо бубнят бубенцы,
 к духам природы взывает
 как завещали отцы:
 голосом низким, гортанным
 им заклинанья поёт,
 взглядом пугая стеклянным,
 зелье шаманское пьёт.

Тайны подземного мира
 приоткрываются ей,
 и на шнурочке кумиры
 пляшут во власти теней,
 оберег древний, охранный
 сжат в кулаке неспроста.
 Вдруг упадёт бездыханно,
 пена пойдёт из рта...
 После, поднявшись устало,
 лодочкой сложит ладонь,
 всё, что дурное пристало,
 слижет священный огонь.

Память

Бросил камень в омут памяти —
И пошли, пошли круги...
Смотрит в дымку снежной замяти
Прадед мой из-под руки...

За столом сидят родители,
Чугунок пыхтит в печи,
И встречают победителя
Шаньги, сайки, калачи...

Дед с сигаркой на завалинке
Гладит рыжего кота,
Несмотря на лето, в валенках —
Кровь давно уже не та...

Жизни слайды скоротечные
По вагонному окну...
И гудок тревожный встречного
Разрывает тишину...

Одинокая скрипка

Одинокая скрипка в придорожной убогой таверне
Нам тихонько играет до боли знакомый мотив...
Я тебя вспоминал постоянно, родная, поверь мне,
Проклиная тот день, что принёс наш с тобою разрыв...

Столько лет пролетело, но глаз твоих карие вишни
Мне забыть не давала медовая наша весна!
Эту пытку не знаю, за что мне устроил Всевышний,
Посылая тебя мне в цветных нескончаемых снах.

Я проснуться хотел, и в своей одинокой постели
Обнаружить тебя мирно спящей под грешной луной,
Но на стенах моих выцветали от солнца постели,
И песочные замки размывал беспощадный прибор...

...Я наполнил вином два дешёвых стеклянных бокала.
Ты мне смотришь в глаза, за улыбкой скрывая тоску.
«Ничего не вернуть...», — ты тихонечко мне прошептала,
Не давая ни шанса возродиться надежды ростку.

...Одинокая скрипка в придорожной убогой таверне
Мне тихонько играет до боли знакомый мотив...
Солнце сонное скрылось в прибрежной, уютной каверне.
Ты ушла от меня, не поняв, не приняв, не простив...

Старый башмачник

В центре, рядом с магазином «Дачник»,
Где с утра подмётки рвёт народ,
Обувь ремонтирует башмачник,
У него всё задом наперёд...

На стене часы с обратным ходом
Тикают навстречу остальным...
Возвращают время год за годом,
С мерным равнодушием, стальным.

«Уступи свои часы, башмачник,
Я любую цену заплачу!»
«Жизнь, как нескончаемый задачник», —
Он сказал, похлопав по плечу.

Улыбнувшись, кашлянул недужно:
«Я тебе открою свой секрет,
Возвращаться в прошлое не нужно,
Я там был — там счастья тоже нет!»

Таёжная заимка

Стоит заимка среди тайги дремучей —
Из лиственницы срубленный приют,
В распадке притулившись, рядом с кручей.
Сермяжный, доморощенный уют:
Порог, отполированный веками,
Убогое оконце на восток,
Рога оленя да иконка в раме,
Прибитая под самый потолок,
Топчан и стол, кормилица-буржуйка,
Стоящая на валунах в углу...
Из чайника бьёт в стену пара струйка,
Вытапливая из сучка смолу...
...Смола течёт янтарною слезинкой,
Из глаз столетий по щеке бревна...
На фотоснимке, пригвождённом финкой,
Любимая,

но «бывшая»...

Она...

Вдова Паганини

«Вдова Паганини» — так назвали скрипку после смерти Маэстро, прах которого не мог обрести земной покой более 30 лет...

Генуя. Скрипка Гварнери
 В кубе из бронестекла...
 ...Видела столько феерий,
 Столько невзгод навлекла.
 Выгнута гордая шейка,
 В эфах изящество змей.
 Ты укротить их сумей-ка
 Дьявольской страстью своей!
 Ты поднеси к ней,
 Никколо,
 Острый, как бритва, смычок,

Пусть изливается соло
 Кровью в дорожный песок!
 ...Скрипка хрипела и пела!
 ...Слёзы текли по щекам
 Впалым и мертвеннобелым,
 Но неподвластным векам...
 ...Нервные, цепкие пальцы
 Брали за горло её...
 ...Все мы до смерти скитальцы,
 Ты же
 и после неё...

Штора

Андрею Шевцову...

Жить можно и без шторы на окне,
 Квартирное не пряча закулисье —
 Пусть любопытство утоляют лисье
 Прохожие безликие ко мне.

А что мне прятать? Стол? Диван-кровать,
 Который я давно не разбираю?
 Я с рифмами ночь напролёт играю
 И каждый стих готов расцеловать...

Жизнь за окном уносится вперёд —
 Кто лезет в депутаты, кто под танки,
 А я живу на том же полустанке,
 Надеюсь, что придёт и мой черёд...

Всё мишура... Всё суета сует...
 Но всё равно мы с жизнью будем квиты —
 Разыгранные с вечностью гамбиты
 Нас приближают к званию ПОЭТ!

Случай на светофоре

В обёртке соболиного манто,
 В ботфортах
 от «Версаче»
 или «Гуччи»,
 Ты в мякоти соседнего авто
 В кудряшках медных,
 беспощадно-жгучих.
 Духов пьянящий,
 тонкий аромат
 Сводил с ума,
 и погружал в нирвану!
 И сыпал соль
 зелёный,
 томный взгляд
 На сердца кровоточащую рану.
 Улыбка, не сходившая с лица,
 Дурманила,
 в объятия манила...
 Смыкала веки, полные свинца,
 Какая-то неведомая сила...
 ...Исчезло всё:
 машины
 и дома,
 Остались только звуки клавиесина —
 Наверно, я совсем сошёл с ума —
 Почувствовался привкус апельсина...
 ...Промчалась Маргарита,
 на метле
 Спешащая на шабаш
 в полнолуние...
 Обёртка от батончика «Нестле»
 Тихонько прошуршала мне:
 «Колдунья...»

 ...Вернул меня к реальности клаксон...
 Зелёный!!!
 Зеленой уже не будет!
 Открыл глаза —
 растаял сладкий сон...
 Мороженкой
 на раскалённом блюде...

Деревушка

Доживает свой век деревушка...
А когда-то здесь было село...
И сияла крестами на солнце церквушка,
И на сердце так было светло!

Мы ватагой и в лес, и на речку,
И картошку пекли на углях,
А по праздникам ставили к образу свечку
И мечтали о дальних морях!

Мы до крови в «войнушку» играли,
Не загнать было нас дотемна,
Неприступные снежные крепости брали,
Под истошные крики «УРА!»

На покос и в ночное ходили,
Сладко спали в стогу до зари!..
И в безоблачном детстве нам радость дарили,
Нарезая круги, сизари!

Соловьи заливались в сирени,
Стало нам по ночам не до сна!
Под «тальянку» частушки задорные пели,
Хороводилась наша весна!

Куковала за речкой кукушка,
Не скупилась — ты только спроси!
Там смешную девчонку в забавных веснушках
На руках я влюблённо носил!

...Годы мчали — мы взрослыми стали,
Разлетелись птенцы из гнезда...
И встречаться друг с другом давно перестали,
Но забыть не дано никогда!

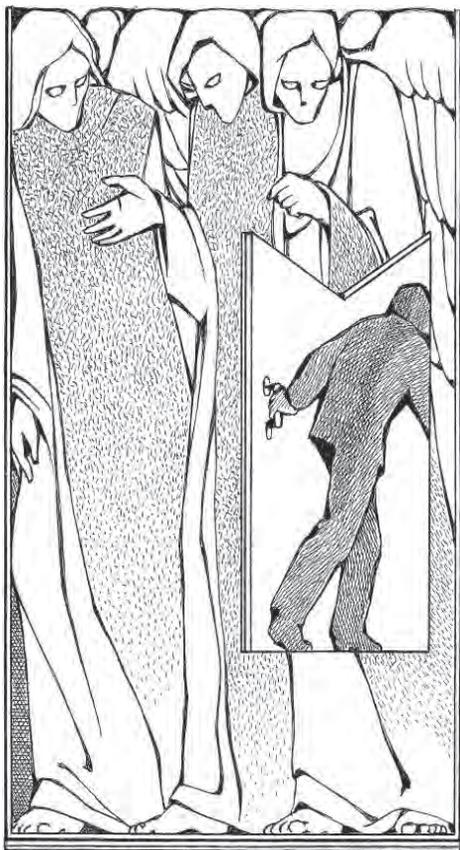
Доживает свой век деревушка...
Ничего не воротить назад...
И стоит над заросшим погостом церквушка
Без крестов, среди истлевших оград...

о. Андрей Ткачёв
(Россия, Москва)

Родился в Львове, в 1969 г. Был настоятелем храма преп. Агапита Печерского в Киеве, публицистом, ведущим телепередач. Сейчас служит в Москве. Публикуется во многих изданиях русскоязычной прессы.

На чистом армянском

Было время, в парижском такси можно было за рулём встретить отставного русского генерала. Или писателя. Или дворянина. И швейцар, открывающий двери в ресторан, мог оказаться бывшим профессором права в императорском университете. Разговоришься, небось, с таким, стоящим на обочине жизни человеком, и только успевай запоминать и удивляться. Кого только и сегодня не встретишь за рулём уже московских такси. Весь бывший Советский Союз, разлетевшийся на кусочки. Армяне, таджики, грузины, узбеки. Кто от войны убежал, кто вслед за любовью приехал.



© Художник Андрей Карапетян

Тот от бандитов скрывался, а этого шальные деньги поманили. Кто на учёбу прибыл, да так и завяз в большом городе. У всякого своя история взлётов, падений, надежд, разочарований. А дороги по Москве длинные, плюс пробки. Вот и выслушал я уже этих историй изрядное количество. И последней историей хочу поделиться.

Я с телестудии домой возвращался, с записи передачи. Когда уже отъехали, ведущий позвонил, поблагодарил за участие. Из разговора для постороннего слушателя ясно было, что у нас темой передачи было нечто духовное, к Богу относящееся. И когда разговор закончился, водитель с лёгким восточным акцентом произнес:

— Вам повезло. Вы сели в машину к очень верующему водителю.

Поворачиваюсь вполоборота на голос. Лет сорока пяти. Плотный, смуглый. По внешности — ничего особенного. Грузин или

армянин моих лет. Не сказать, что мне всегда в охотку кого-то слушать или самому болтать. Часто (после эфира особенно) помолчать — в самый раз. Но если человек в собеседники просится, отмораживаться невежливо. На Кавказе бы этого не поняли. И вот мой смуглый шофёр продолжает:

— Хотите, расскажу свою историю?

— Хочу, конечно.

— Вот там сейчас небо такое тёмно-синее. Видите?

Над Москвой, закутанной в вечернюю серость, слоями висели сизые невесёлые тучи.

— Вижу.

— Я там был.

— ?

— Я умер однажды. О передоза.

— Вы наркоман?

— Нет. Я бывший бандит. (Он повернулся ко мне, словно оценивая мою реакцию на последнее слово.) А там всё было: и женщины, и водка, и наркотики.

— Как вас в бандиты занесло?

— Жил просто. Учился, работал. Бизнес был. И я сделал один мужской поступок. Отказался от своей доли в большой сделке, чтобы другу помочь. Он был бандитам должен. Они оценили. Сказали: ты настоящий мужик. Если тебя кто спросит о чём или наедет, скажи, что ***кие за тебя. И тогда у меня все двери открылись. Деньги пошли, и всё прочее. Ну, и наркотики тоже. И вот я перебрал. Вижу — я лежу на кухне, и сам на себя сверху смотрю. Потом душа вверх понеслась, вон туда — в тучи.

— Хорошо было?

— Сначала легко очень. Но тревожно. Страшно так. Будто что-то должно случиться. И это недолго было. Потом ко мне со всех сторон помчались какие-то страшные твари. Гадкие такие. Как маргышки или как худые собаки. А зубы мелкие и острые, как бритва. И клыки — два снизу и два сверху. И пятак, пятак, как у свиньи. Нос свиной, понимаешь. Стр-р-р-рашные, ужас! Летят со всех сторон. Вцепились в меня и стали рвать. Я кричу пацанам, которые внизу, в хате были: «Пацаны, стреляйте!» Все же с пистолетами были. Я, дурак, думал, что этих бесов можно пистолетами отогнать. И тут мне на ухо кто-то говорит на чистейшем армянском языке (а я уже несколько лет по-армянски толком не разговаривал): «Зови Иисуса. Иисуса зови.» На чистейшем армянском! Я тогда кричу со всей силы: «Иисус, Иисус!» И моментально оказываюсь опять на кухне. Лежу, вокруг меня пацаны собрались. Этот голос мне говорит: «Скажи им, чтобы они ушли.» И опять — на чистейшем армянском.

Я говорю: «Слушайте, уйдите, а? Я один побуду.» Они уходят, а голос мне говорит: «Подойди к окну.» Я подхожу. Знаете, когда на улице уже темно, а в комнате горит свет, то стекло, как зеркало. Я подхожу и вижу себя, как в фильме ужасов. Знаешь, такие рожи, как у бесов или как голый череп. Голос

мне говорит: «Ты всегда передо Мной вот такой. Гадкий.» Я Ему говорю: «Слышишь, кто ты?» Дерзкий был, понимаешь. А Он мне в ответ: «Кто Я?!» И я в этом вопросе вдруг почувствовал, что Он всё про меня знает. «Я кто?!» — спросил. А я чувствую, что я перед Ним весь голый стою. И так стыдно, ужас!

Пацаны за дверями стояли и слушали. Думали, что я с ума сошёл. Меня слышат, а Его не слышат. Говорят: ты что там, чокнулся? А Он мне на чистом армянском языке говорит: «Как ты живёшь?! Как бес живёшь. Я тебя разве для этого создал? Горе приносишь, гресишь каждый день, обманываешь, деньги отнимаешь. Ты видел, что тебя ждёт?»

Я кричу: «Не отдавай меня им. Только не отдавай!» Он говорит: «Я не отдам. Я тебе помогу.» Потом помолчал и говорит: «А ты Меня потом всё равно предашь.» Так и сказал: всё равно предашь. Я потом вырвал литров десять какой-то зелёной грязи из себя. Помылся, домой поехал. И всё бросил. Наркотики, женщин. Всё.

За окном машины быстро темнело. Мой водитель замолчал. Молчал и я.

— А что было потом? — спрашиваю через минуту.

— Потом я Евангелие прочёл. Оно у меня сохранилось. Маленькое такое, чтобы в кармане носить. Там каждая страничка от моих слез покрученная. Я столько плакал! Десять лет в протестантскую церковь ходил.

— Почему не в армянскую?

— Как-то не сложилось. Я не понимал обрядов. Мне хотелось читать Слово Божие и плакать. Больше ничего. Так много лет прошло. Я много от протестантов взял. Конечно, они люди. И я узнал со временем всякие вещи, ну, изнутри. Вы понимаете. Но это неважно. Я молился и служил Иисусу. Работал в строительстве. Много зарабатывал. Жертвовал.

— А как насчет «ты Меня предашь»?

— Да, я Его и предал. Опять начал грешить. То выпьешь, то травку покуришь. Но не изменял жене. Нет. И с бандитами не общался. Просто опустил крылья. Сдулся. Перестал расти и жить в Слове.

— А теперь как?

— А теперь я узнал православие.

— ???

— Пару лет назад. Я прочитал про Серафима Саровского. Эй! Ничего красивее нет. Я, конечно, всех люблю. И протестантов люблю. Они мне ничего плохого не сделали. И своих армян люблю. Но православие — это красота. Настоящая красота. Это истина.

Где-то на этих словах мы подружились к месту, с которого видны уже были окна моей квартиры. Рассчитались. Пожали руки. Без восторгов. Я — задумчиво. Он — улыбаясь. Можно было бы говорить и больше. Но всего по чуть-чуть. И сколько их будет ещё, этих интересных и неожиданных разговоров в кабине такси или ином месте. В двадцать первом веке. Внутри мегаполиса. Среди разноплеменного многолюдства. Под неусыпным оком Того, Кто нас защищает и Кого мы предаём.

Евгений Орлов
(Латвия, Рига)

Родился в Риге 14 сентября 1960 года. По образованию — филолог. Работал журналистом и редактором в прессе и на ТВ. В 2010 году в Риге вышел поэтический сборник «Грамматика слуха. Тайнопись». Две книги лирики. Создатель и руководитель портала «Stihi.lv». Организатор поэтических конкурсов «Открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии» и «Кубок Мира по русской поэзии».

Эпоха возражения

* * *

ещё тревожен цвет сирени
и как ребёнок на экзамен
ещё сбегашь спозаранок
сорвать заветную пятерку
ещё в вишнёвое варенье
с его вишнёвыми глазами
влюблён и хочется признаться
в любви к вишнёвому варенью
ещё нет умысла в обмане
расчёта в неслучайных связях
ещё от помысла до жеста
не надо слов — такая малость
ещё по-прежнему осталось
начать одно стихотворенье
«ещё тревожен цвет сирени»
и чтобы правдой показалось

* * *

кому я изолью печаль?
тому кто не умеет слушать
туда — в заоблачную даль
в бескровное пространство суши
где и железо и слюда
воды не видели с рожденья
и безответное свеченье
зовётся богом иногда

Стоп-кадр

ты будешь улиц чёрным муравьём
или стопой божественной на нём?
в свою обитель
шёл людный век — последний из живых
всего наследник всех читатель книг
о всем мыслитель
шёл смутный век — смущённый честью быть
той частью нити чем вонзают нить
в ушко иголки
шёл век старьевщик — сборщик красоты
он нёс сухие факты и цветы
а под футболкой
на маленьком на простеньком кресте
все те кто жил когда-либо — все те

Воспоминание о новом годе

гостинцем из-за пазухи
хрустальное с мороза
явилось солнце яблоком
в сиротский городок
где лазаретным запахом
пропитан белый воздух
и чёрные проталины
на простынях дорог
где человек в ватнике
и с ним ребёнок в валенках
напоминали блох

явилось солнце в глянцевом
полупрозрачном панцире
влачился шлейф-дымок
а человек в ватнике
и с ним ребёнок в валенках
прыг скок себе прыг скок

год провожали весело
на елку шар повесили
как будто — узелок

* * *

...Если только можно, Авва, Отче,
Чашу эту мимо пронеси...

Борис Пастернак

наверное я верю богу больше
чем тот кто в храме зажигает свечи
целует крест
и прочие дела...

наверное я больше доверяю
ему своё здоровье и удачу
без лишних о себе напоминаний
уверенный: увидит и спасёт

наверное мой мозг не так устроен
чтоб докучать всевышнему молитвой —
набором слов в хроническом наборе
и аз к тому же ведаёт склероз

наверное душе моей уютно
в его нечеловеческих ладонях
тепло кружить меж линиями жизни
и льнуть причастьем к линиям любви

и оттого что бог не просто слово
я напишу его с обычной буквы
не стану рифмовать его с порогом
да и вообще не стану рифмовать

но главное — оставлю выше строчек
цитатой из любимого поэта
а бог прочтёт мой стих и улыбнётся
как солнце улыбается траве...

Санчо

забыла? он и сам себе не нужен
но ослик жив и стало быть — в пути
дорога дорога и зла к тому же
мечту прожить — не остров обойти

но в целом все в порядке донна... донна...
(он имени не помнит твоего
но если кто-нибудь ему напомнит
взамен получит много ничего)

а путь его лежит туда где что же?
и где-нибудь да ждут его враги

навесят кренделей крестьянской роже
затем убьют и снимут сапоги

казалось бы куда с таким итогом?
но ослик жив и стало быть — в пути
о донна... донна... дорога дорога
коль по дороге не к кому идти

* * *

из тех медуз что сохли на песке
мой выбор пал на самую сухую
едва напоминвшую медуз
скорее — только контур и лучи
внутри его (как шрамы на виске
адепта фехтовального искусства
на день второй в гробу) её скелет
напомнил иероглиф или слог
системной фразы yí wang ch yng shern
которую я выучил не зная
к чему приводит знание её
зато теперь мне ведомо откуда
(и что сказать дотошливым славянам)
ведет свой род и племя мой скелет
— из тех медуз

Эпоха возражения

мне нет числа и чисел нет во мне
безденежье безвременье безлюдность
наряженный в наружное — извне
тащу в себя духовную наружность
ей тут легко: она на высоте
в божественно-прекрасном окружены
невысказанных благостных идей
и мудрости ещё не давшей тени —
кто вечно жил тот мальчиком умрёт
не ведая расчётов и расплаты
так облаку незрим его полёт
и так закат своей не знает даты

Безлюбье

1.

и хочется жить и колется смерть
и в окна с околицы плятятся раки —
им скоро краснеть и у каждого злака
в глазах очевидная тяга созреть...

безлюбье моё! не грызи не кори
за то что дряхлеешь со мной год от года —
я сам бы тебя придушил до зари!
но я и лягушку не в силах убить
а ты к сожалению тоже — природа!

2.

аквариум заполненный безрыбьем
розариум насыщенный безрозьем
такая концентрация не жизни —
отныне лист и ветка — только порознь!

любовь не умирает? мрёт как мамонт!
а после — наступает век разумный
век многолюдных бронзовых мельканий
и золотого мёртвого безлюбья...

3.

ты видеть меня не желаешь и жалишь
лишь ближе на шаг подойду
змеелюбка
ты целую свору гадюк выпускаешь
шипящих
согласных с тобою ублюдков!
они отравляют и очно
и мощно
рвут медные узы столбов с расстояний —
мосты телефон телеграф
даже почта
тобою немые и захвачены в камень!
но это ж медузья повадка горгонья —
сей труд не ценить и бояться украдкой
(чтоб не отразиться в глазах отрешенных)
итог подвести:
всё — мертво
всё — в порядке

4.

я знаю меру миру!
мне ковать
прокрустову
чугунную кровать!
мне сталь варить
на нужды гильотины!

всё измеряется умением лежать
подлизывать вставляя и подставляя...
а остальное — лишнее
кретины

5.

мой светлый ангел (что ты?) где ты?
проходят годы (естся хлеб)
ты (верно) шефствуешь по свету
да я уже — оглох (ослеп)

иссох и пыльными губами
я еле-еле шевелю
и шепелю «люблю...» веками
и веками шеплю «люблю...»

как мальчик каменный занозу
мой отвратительный склероз
ещё нащупывает образ
однажды впившийся — до слёз...

Татьяна Карева
(Англия, Лондон)

Родилась и выросла в Риге. Окончила Даугавпилский педагогический институт, потом магистратуру в Латвийском университете. 25 лет работы в школе, преподавала русский язык и литературу в средней школе и английский в начальной. Работу свою любила, но в последние годы стала ощущать, что мой предмет не так востребован, как прежде. А после того, как один хороший ученик как-то спросил: «Татьяна Ивановна, вы такая умная, такая образованная, почему вы учительница?» После этого вопроса стала думать о том, что, видимо, пришла пора что-то менять. Выпустила свой класс. А уже через год оказалась в Лондоне. В 50 лет страшновато так радикально менять жизнь. Мне повезло.

Любовь к Англии и английскому языку у меня с детства, из литературы в основном, но не только. Просто когда-то она была неразделённой и односторонней, Англия была где-то в параллельном измерении, и я никогда бы не поверила, что смогу с ней вот так запросто...

Жаль только, что так поздно. Нам бы чуть раньше встретиться!

Сёстры

Старомодны... Обстоятельны... Немного карикатурны. Уходящая натура... Смеёмся, убегаем, находим предлоги. А ведь это уйдёт — скоро, скоро, скоро, не успеешь оглянуться. Уйдёт эпоха с её особенностями, историями, неповторимыми характерами, невозвращаемой красотой. И ведь не остановишь, не окликнешь, за руку не схватишь... Удержать невозможно. Каждый из стариков — ручной огранки драгоценность.

Ирина Витковская

Семь лет назад я приехала в Англию. Сначала работала в доме престарелых BUPA, потом подруга перетащила меня в такой же дом католического сообщества Sacred Heart. Главная задача сообщества — просвещение. По всему миру их школы, колледжи, университеты. И сами монахини в большинстве своём учителя, преподаватели, лекторы. Есть ещё врачи.

Сестры-монахини — это совсем другой контингент.

Во-первых, монашество — как армия. Учит дисциплине и подчинению.

Во-вторых, они все женщины. А ещё... У монахинь нет середины. Они могут быть или абсолютными альтруистами, душой и телом преданными сообществу и церкви, или махровыми эгоистами, видящими только себя



© Художник Елена Любович

и свои проблемы. Только так. Без середины. Последнее, наверное, потому, что у них никогда не было семьи, не было, за кого болеть сердцем. А первое... в этом суть и смысл их жизни.

А ещё здесь интернационал в чистом виде. Монахини из разных стран, язык общения английский.

И как по-разному наступает старость и начинаются проблемы с памятью!

Сестра Магдален из Бельгии. Родной язык французский. Магдален — типичная старуха Шапокляк. Когда она ещё способна была ходить, на-

ходила особое удовольствие подловить сестёр или персонал в неловкой ситуации и наслаждаться этим. Или даже самой создавать подобные ситуации. Как-то я её спросила: «Магдален, а в бытность учителем, должно быть, вредной была?» Магдален подняла брови: «И ещё какой! Но меня любили». А потом, подумав, добавила: «Не все, правда».

Когда Магдален оказалась прикована к инвалидному креслу, она вдруг помягчала и подобрела, видимо, оценив помощь и заботу. Зато стала забывать английский язык и всё чаще переходить на французский.

Сестра Лючия, наоборот, забыла начисто родной корейский, и теперь, когда родственники приезжают навестить её, они вынуждены говорить с ней по-английски.

Сестра Клари — немка. Она приехала в Англию, когда началась война, а потом — ирония судьбы — британский воздушный флот разбомбил её дом вместе с семьёй. Рассказывая об этом, Клари поднимает вверх указательный палец: «Я знаю семь языков. И все семь я знаю превосходно. И ничего! Ничего не забываю. Зато умею прощать. И понимать».

Пожилые англичанки в большинстве своём вовсе не чопорны, они любопытны и эмоциональны.

Иду на работу. Параллельным курсом со мной движется такая дама с зонтиком. Посматривает на меня, уже понятно: сейчас заговорит.

— Да, — отвечаю, — погода прекрасная, да, весна. Нет, я не из Польши. Из Латвии. Да, грех жаловаться, год был хороший, хоть и очень ветреный.

— А вы медсестра? — это она узрела подол моей формы, кокетливо выглядывающий из-под куртки.

— Нет, я просто кэрер.

— Нет! — в возмущении дама остановилась и нацелила на меня зонтик и указательный палец правой руки. — Вы не просто! Вы не просто! — указующий перст переводится с меня на небо (видимо, беря его в свидетели). Вы Кэрер Здравоохранения! (Health Care Assistant) Именно так, каждое слово произносилось с заглавной буквы. И гордитесь этим! — Она свернула на остановку, потрясая зонтиком.

Начать гордиться, что ли?

Недавно хоронили одну монахиню... Она ушла тихо. Монахини вообще в большинстве своём уходят тихо, без агонии, просто сначала меняется ритм дыхания, а потом просто прекращают дышать. О ней знали немного, даже сёстры по общине, проводившие с ней десятилетия: ну врач, ну хирург, участвовала в войне...

А когда она умерла и открыли её документы, оказалось, что она была единственной женщиной-хирургом в Воздушных Силах Британии во время войны, неоднократно спасала жизни, десантируясь на военные корабли, спасла жизнь капитану, проведя операцию в открытом море во время шторма...

А какой красавицей она была! Мы перебирали фотографии юной Агнес, знающей о своей красоте и гордящейся ею... Она даже была помолвлена! Но она мечтала стать монахиней ещё в юности! Даже сейчас вопрошаю космос: сожалела ли она когда-либо об этом решении? В военной форме она особенно красива. И улыбка невероятно прекрасна!

Я её застала уже лежачей. Рак в последней стадии, пролежни, но она шутила, иронизировала, подбадривала нас (если не материлась, отвернувшись к стене и посылая нас подальше).

При этом причёска, внешний вид — «мы делаем себя!».

И да, забыла упомянуть: награды от королевы лично, и прочее, прочее, прочее!

Ещё одна сестра-монахиня. Кэй. Крохотная, её можно было потерять в кровати, настолько незаметны вес и объём. Вес вообще был воробьиный — 38 килограммов, а сколько энергии и жизнерадостности в ней было! Она и была похожа на птичку, английскую малиновку (робинс), мы так её и звали. Она не дожила несколько месяцев до своего столетия.

На её двери была табличка: «Я ирландка, а у вас какие оправдания?» Уже будучи прикованной к инвалидному креслу, она показывала, сидя в нём, как следует танцевать ирландские танцы, какие именно движения ногами правильны, а какие ошибочны.

Когда она попала в дом престарелых, она делала всё: готовила, убирала, стирала... Когда её пытались остановить, говоря, что она здесь для отдыха, возмущалась: «Я правильно поняла, что это мой дом? Вот и не мешайте мне в моём доме делать то, что считаю нужным!». Каждый день пешком проходила больше тридцати километров, чтобы навестить сестёр в соседней епархии, игнорируя автобусы: ведь Бог дал человеку ноги, а человек избрал колесо...

Она была младшим ребёнком в семье из пятнадцати детей, и когда умерла старшая сестра, воспитала пятерых её детей. Сообщество позволило ей на время оставить служение Богу ради служения ближним. Подняла детей, потом вернулась в Лондон. И опять заражала всех своей энергией и жизнелюбием.

Пятнадцать лет учительства в Африке.

Она могла быть очень ребячливой. Как-то позвонила в звонок, а когда я пришла, посмотрела на меня глазами шрековского кота: «Это не я! Кто-то позвонил и выпрыгнул в окно! Я даже не разглядела, кто!».

Она уже умирала. Я гладила её руки, сердце сжималось от боли и сочувствия. «Как ты, Кэй?» — Она улыбнулась, сил говорить уже не оставалось: «Чудеесно. И ты... Тоже... Чудеесная... И все вы...».

Коллеги рассказали. Очень похоже на анекдот, хотя те бьют себя кулаком в грудь, доказывая, что истинная правда, они были свидетелями. Так вот, мы работаем с католическими монахинями на пенсии. К одной из них пришла посетительница. Дальше диалог:

Монахиня (глуховатая):

— И как твоя дочь?

— Ой, и не спрашивай! Проституткой, прости Господи, стала.

— Кем-кем стала?

— Да проституткой же!

— Слава Богу! Мне послышалось, протестанткой.

Стихотворение о болезни Альцгеймера.

Do not ask me to remember.
 Don't try to make understand.
 Let me rest and know you're with me.
 Kiss my cheek and hold my hand.

I'm confused beyond your concept.
 I am sad and sick and lost.
 All I know is that I need you
 To be with me at all cost.

Do not lose your patience with me.
 Do not scold or curse or cry.
 I can't help the way I'm acting,
 Can't be different though I try.

Just remember that I need you,
 That the best of me is gone.
 Please don't fail to stand beside me,
 Love me till my life is done.

Как-то в интернете нашла стихотворение на английском языке. Наивное, его и стихотворением трудно назвать. Я попробовала перевести его на русский, потому что затронуло что-то. Подстрочник не подстрочник, в

общем, очень вольный и неуклюжий перевод, не претендующий на что-то. Но каждый раз, читая его, вспоминаю Дениз.

Не просите меня вспомнить.

Не пытайтесь заставить меня понять.

Оставьте меня в покое, но в ощущении, что вы рядом,

С вашим поцелуем на моей щеке и вашей руке в моей.

Мой разум блуждает за границей вашего понимания.

Мне грустно, больно и одиноко.

Все, что я знаю, лишь то, что мне нужно,

Чтобы вы были рядом любой ценой.

Не теряйте вашего терпения со мной.

Не ругайте меня, не проклиняйте, не кричите.

Я не способен изменить своё поведение

и уже не буду другим,

даже если буду стараться.

Просто помните, как вы мне нужны,

Что лучшее во мне ушло навсегда.

Пожалуйста, просто поддержите меня

И любите меня, пока я жив.

Сестра Дениз. Она была единственным ребёнком в хорошей еврейской семье. Очень поздним ребёнком, при этом очень талантливым. Первая ученица в школе, колледже, университете, мамина и папина гордость. Школа «Sacred Heart» была лучшей в округе, поэтому была выбрана именно она. А потом уже сообщество послало её в колледж, университет, давало гранты...

Когда ласковый, послушный и красивый ребёнок, твоя гордость и опора в надвигающейся старости, вдруг заявляет, что собирается стать католической монахиней, какой может быть твоя реакция? Скандалы в семье не утихали. Дениз просто ушла.

Чувство вины и предательства осталось на всю жизнь. Тем более, у мамы диагностировали болезнь Альцгеймера.

Всю жизнь она знала, что это настигнет и её (семейная болезнь из поколения в поколение по женской линии), а она была биологом. Всю жизнь с ужасом видела её приближение даже в простых случаях забывчивости.

Ученый-биолог. Двенадцать лет в Африке, большей частью в Уганде, работа со студентами, у многих из которых был СПИД. И это чувство беспомощности, когда знаешь, что не всех увидишь в следующий раз...

Бесконечные поездки, перелёты, бесконечный перевес в чемоданах — она везла книги, пособия, которых не хватало, купленные на свои деньги. Бывало, находились понимающие люди, которые пропускали, бывало, приходилось доплачивать.

Эта работа была для неё всем, смыслом и самой жизнью жертвенной натуры. Но болезнь прогрессировала, и работу пришлось оставить. Как она пыталась бороться! Кроссворды, бесконечные задачи, чтение на иностранных языках — ничего не помогало! Болезнь наступала.

Говорят, к нам в дом поступило совершенно несчастное существо. Дениз уже не могла справиться с бытом, и сообщество отправило её в дом престарелых. Она по натуре была борцом и продолжала бороться даже с теми, кто хотел ей помочь.

Я увидела Дениз тогда, когда она смогла принять свою болезнь. Или болезнь приняла её. К ней постоянно приходили её друзья, которых у неё было очень много, она радостно улыбалась и им, и нам — и не переставала что-то радостно говорить. Иногда приходилось тихо шикать, особенно во время мессы.

Наматывала километры по нашим коридорам — она всегда любила ходить, а тело оставалось здоровым. Иногда застревала в каком-нибудь углу, и тогда её приходилось извлекать оттуда.

И только иногда вдруг судорожно вздыхала, будто вспомнив что-то, и крепко сжимала твою руку.

Два разных взгляда на жизнь и на мир, в чём-то противоположных, в чём-то сходящихся. Две сестры-монахини. С юности всю жизнь вместе: сидели за одной партой в одной из школ Сообщества, потом вместе учились в университете, потом одновременно вступили сами, кажется, даже в один день. Срослись душами и характерами.

Одна Тарси, с острова Мальта, приехала в Лондон учиться. Другая Моника, англичанка. Одна пессимистка, другая невероятная оптимистка. Одна мизантропка, другая обожает общение (первая, пообщавшись с говорливой кэрершей полминуты, заявляет, как приговор: «Не, пойду к Иисусу лучше, Он меньше говорит», что значит «пойду в домашнюю церковь от вас, болтушек!»).

Первый вопрос утром после пробуждения Тарси: «Я надеюсь, все сёстры здоровы?» — звучит, как ^ «Ну я надеюсь, хоть кто-то выжил?». Вторая рассветным солнышком из-за моря высказывает из постели и уже готова всех любить: «Каааак хорошо, что именно ты разбудила меня!».

Заслышав шум в коридоре, первая: «Вот! Кто-то упал и убился!». Вторая (об одной из сестер в электрической коляске): «Лилиан опять сносит двери на своем пути! Я всегда говорила, что она плохой водитель!». И ведь угадала!

Действительно упала одна из сестёр. Первая: «Ооо! — трагически хлюпая носом, — Она ещё жива? Сломала руку или ногу?» — и вторая, хихикая: «Представляю, как смешно она летела, задрав юбки, ведь у неё вес между пушинкой и воробьём!».

И отношение к жизни, смерти и старости. Первая: «Мы все умрём в грехах и страданиях!» И вторая: «Я знаю, Господь уже приготовил для меня самое крепкое из Своих объятий!»

Так и живут. Ругаются, мирятся, но друг без друга не могут. И это высшая философия и гармония!

Какая все же хорошая штука — хойст! И как раньше без него обходились?

Сестра-монахиня Джудит так и не смогла полностью оправиться после инсульта: слишком поздно её нашли, слишком много времени прошло. Половина тела осталась парализованной, речь не вернулась. Единственные звуки, которые она могла издавать, были «да-ди-ду», но сколько интонации, оттенков эмоций и выражений было в этих звуках!

«Да-ди-ду!» — Как я рада тебя видеть! «Да-ди-ду» — Мне не нравится твоя новая прическа! «Да-ди-ду!» — Какая гадость эта ваша заливная рыба! «Да-ди-ду» — Мммм, как вкусно!

А как она разговаривала по телефону с сестрой! «Да-ди-ду» имело столько оттенков и значений, что разговор получался живым, эмоциональным и осмысленным.

И вот обычная операция переноса Джудит из кровати в кресло. Она пытается помогать, как может: приподнимает непослушное тело, чтобы мы могли подсунуть слинг, здоровой рукой укладывает у себя на груди неподвижную... Но в этот раз вместо своей руки она взяла мою! Привычным жестом подтянула ее себе на грудь, и тут вдруг недвижимая бесчувственная рука зашевелилась! «А-а!» — взвизгнула Джудит, обнаружив ожившую конечность прямо перед своим лицом. «Да-ди-ду!» — строго сказала она мне, что означало: «Не морочь голову старой Джудит!», — поняв свою ошибку.

Но в знак примирения здоровой рукой погладила мою.

В воскресенье после мессы перед обедом сёстры-монахини могут себе позволить рюмочку шерри. После такого обеда сопровождаю одну сестру в её комнату, ведя её под руку. Внезапно она теряет равновесие (а с ней это постоянно случается, потому и сопровождаем), хватается за перильца (у нас по периметру коридора специальные перильца для поддержки), немедленно впадает в панику: «Я упаду! У меня голова кружится!».

Напустив на себя самый суровый вид, я, как можно более назидательно, заявляю: «Труди, слишком много шерри! Боюсь, в следующий раз придется воздержаться».

Труди жалобно смотрит на меня: «Но ведь совсем чуть-чуть!» И тут с ней происходит волшебная метаморфоза: согнутая спина распрямляется, коленям возвращается сила, и они перестают дрожать, и Труди походкой бывалого пехотного генерала шагает к своей комнате, бросив мне небрежно: «Что встала? Двигайся давай!»

В нашем монастырском доме престарелых готовятся к дню рождения королевы. Развесили британские флаги (юнион джек), портреты королевы, её фотографии... Одна сестра-монахиня, проезжая мимо на электрической инвалидной коляске, остановилась посмотреть: «Все-го девяносто? Соплячка!» — с высоты своих девяноста семи высокомерно и истинно по-королевски фыркнула она и зашуршала дальше. (В русском переводе «spring chicken» звучит грубее, но нужно было видеть выражение её лица и слышать интонацию! «Желторотый птенец» здесь явно не подходит!).

Сегодня вспомнила Джин. Это не сестра-монахиня, это женщина из дома престарелых, где я работала раньше. Для меня она осталась образцом английской леди. Джин была из аристократической семьи, получила прекрасное воспитание и образование, это чувствовалось в каждом слове, движении, жесте, но при этом никакого снобизма, сама мягкость и доброта.

Четверо детей, все врачи, причем высокопрофессиональные, профессора.

А какой замечательный английский у неё был! И её тактичные замечания (всегда только наедине): «Таня, по-английски очки "spectacles", не "glasses", не старайтесь идти по примитивному пути!».

Безупречная во всех отношениях: манерах, речи, поведении, одежде. Помогать ей с одеванием было испытанием терпения для всех. Это действие занимало минимум час, потому как — это не подходит по стилю, это по цвету, это не сочетается совсем, ну как же вы не видите?! Ещё всегда туфли на каблуках, чулки, комбинация — даже в самую жаркую погоду!

Чувствуя приближение маразма, Джин завела склерозник-дневник, куда заносила не только все ожидающиеся события и визиты, но и свои впечатления, мысли и ощущения на каждый день. Однажды в этом дневнике появилась странная запись: «Пэйшенс. Терпение. Это имя особы, у которой совершенно нет терпения. Не хочу видеть её в своей комнате».

У женщин из Африки бывают забавные имена. У нас были Иисуса (в моём английском языке постоянно спотыкался и промахивался мимо букв), Счастье, Богатство, ЛюбовькБогу, УлыбкаБога... Терпение — ещё самое обычное из них. Однажды я увидела Пэйшенс, в ярости вылетающей из комнаты Джин, хлопая за собой дверь: «Не могу больше! Как только вы ее терпите?!».

Когда я зашла в комнату, Джин сидела на стуле, как всегда с безукоризненно прямой спиной, в комбинации и одном чулке. На кровати были

разложены вешалки с её одеждой. Много вешалок! «Таня, — меланхолично спросила она меня, — как имя особы, которая только что покинула комнату?» — «Терпение», — смеясь про себя, отвечаю я. — «Терпение? — заинтересованный взгляд, в котором ответный смех, — ты, должно быть, шутишь?» — «Нет, Джин, это её имя». Джин придвинула склерозник и взяла ручку сделать запись, которую сама же озвучила мне.

Вспомнилось про девяностые.

Сестра-монахиня Мэри — удивительно трогательное существо, ей уже самой за девяносто, а она всегда нарядно и изысканно одета (монахини Sacred Heart не носят подряски), прямая спина, светлая улыбка, то, что по-английски называют «smart». Так вот, в девяностые она семь лет преподавала в МГУ. Вспоминает об этом с радостью и тоской. Её пугали преступниками, убийствами... «Наверное, это всё было, но помнится другое, — удивительно кроткий взгляд снизу вверх и слегка наискосок, — вот всё время буду помнить, как в метро хулиганистого и голодного вида парни-"гопники" — это слово старательно произносится по-русски — вдруг останавливают меня, я уже прощаюсь с кошельком и жизнью — и неожиданно дают мне пакет еды: "Кушайте, бабушка!" — тоже по-русски, с удивительной её улыбкой».

Потом, до ухода на пенсию, она преподавала в Оксфорде, до сих пор её бывшие студенты приходят к ней. А недавно бывшая её студентка написала в газете статью, посвященную Мэри. С любовью и благодарностью.

Сестре-монахине Рэчел через неделю будет девяносто два года. У неё действительно фигура, как у девушки, свой тёмный цвет волос с небольшой проседью и свои зубы. Год назад я перевела её стихотворение, теперь очень жалею, что не сохранила или хотя бы не продублировала оригинал. Теперь я умнее.

А перевод стихотворения — вот, оно в прозе:

«Эта пожилая женщина в зеркале не я. Или, скорее, старуха, ведь ей за девяносто? Но у старух не бывает таких тёмных волос, только слегка с проседью. И сохранившихся зубов.

Это я? Я не могу поверить!

Пусть не старуха, пусть пожилая женщина, но ей за девяносто. А мне...

Мне шестнадцать. И я только в начале пути. И знаю, что всё будет хорошо. И я никогда не буду старой.

Но я опять гляжу в зеркало и вижу старуху. Нет! Это не я! Ведь я ещё...

Живите сейчас. Живите сегодня. Ведь завтра может вас встретить вот таким отражением в зеркале».

В послушании монахинь есть что-то общее с армией. Одна из них была менеджером нашего дома лет двадцать назад. Говорят, самым лучшим менеджером. Я её как-то спросила, предполагала ли она, что будет здесь пациенткой. «Что ты, Таня, — ответила она мне, — мы никогда не решаем и не планируем. Сообщество решает за нас. А нам остается всегда быть готовыми все оставить и следовать туда, куда нас отправят. Куда нас пошлет Господь».

По ассоциации с армией вспомнила забавный (ну как сказать) эпизод из предыдущего дома. Меня иногда посылали на этаж, где собрали пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией. Я не любила работать там, было невыносимо тяжело, хотя физически легче, чем на моём этаже: сиди себе, посматривай за ними. Но не могла. Психологически тяжко.

Там был один отставной сержант. Невероятно агрессивный, драчливый, орущий матом на кэреров. Он не позволял помочь себе, и для кэреров это всегда было пыткой — ухаживать за ним.

Моя смена началась с жуткого вопля из его комнаты: «Убирайтесь! Пошли вы все на...! Оставьте меня в покое!» — из комнаты вылетела перепуганная девочка-кэрер, вслед за ней с грохотом вылетел костыль. «Таня, — почти рыдая, запричитала она, — я ничего не смогла сделать! Ничего! А ведь уже пахнет!» — «Таак», — сказала я и решительно зашагала в его комнату. Все было проделано так быстро, что он едва открыл рот. «А ну встать!» — рявкнула я на него, глядя ему прямо в глаза. «Ес, бос!» — на той же ноте рявкнул он мне в ответ и послушно встал. И позволил проделать все процедуры.

Всю жизнь в армии!

Сестра Лилиан выросла в доме со слугами. Барские замашки остались у неё до сих пор. И если другие сёстры звонят в звонок только по очень важному поводу, Лилиан может позвонить из-за ерунды: задернуть занавеску, передвинуть вазу с цветами, подать носовой платок... И так каждые десять минут. При этом Лилиан вполне мобильна и всё это способна делать самостоятельно. Да и прекрасно знает время, когда мы особенно заняты.

Услышав очередной звонок и увидев на дисплее номер комнаты Лилиан в момент, когда другой сестре нужна была настоящая помощь, чертыхнувшись, бегу по длинному коридору на другую сторону здания. Увидев моё взмыленное недовольное лицо, Лилиан мастерски, как ей кажется, пытается отвлечь внимание: «Таня, какие у тебя красивые серёжки! Вот у Терезы не такие красивые. А как они тебе идут!».

Я только открываю рот задать обычный вопрос: «Лилиан, это было ОЧЕНЬ срочно? ОЧЕНЬ важно?» — как вслед сережкам летит другой комплимент: «А туфли у тебя какие красивые!».

Я не выдерживаю и начинаю смеяться. Лилиан, тряся баскетбольным животом, хихикает вместе со мной.

Сестра Маргарет. Главным в её жизни была внезапно вспыхнувшая страсть к Индии. Сообщество отправило её туда, когда ей было чуть за двадцать. Любовь была с первого взгляда и навсегда. Не знаю, как индуизм уживался с католицизмом, но у Маргарет это было органично, единое целое, гармония разного.

В Индии она провела лучшие годы своей жизни, Индией она заболела, и эта болезнь осталась с ней навсегда.

Сообщество отозвало её из Индии, когда ей было уже сорок лет: хватит пребывать в нирване, пора делиться с сёстрами опытом.

Для монахинь долг превыше всего. Наверняка она не хотела возвращаться. Но вернулась. А потом рутина спустившегося с небес на землю: директор колледжа, курсы в университете, преподавание йоги, языка, философии... Говорят, она была замечательным директором, великолепным лектором, но всегда ощущалась какая-то трещина — чувство безвозвратной потери, хотя все свои отпуска она проводила в Индии.

В доме престарелых Маргарет осталась верной своей любви, продолжала лелеять её. Только за те три года, что я знала её, она исписала десятки общих тетрадей молитвой «Ом» — примерно одна тетрадь на неделю. Руки постоянно были перемазаны в пасте, но Маргарет упорно продолжала писать.

А ещё иногда приезжали друзья из Индии, и тогда Маргарет запиралась у себя в комнате, повесив на дверь табличку «Не беспокоить!».

Когда я уехала в отпуск домой, получила печальное сообщение: умерла сестра-монахиня Джоан. Отмучилась. Ещё на днях перед моей поездкой в Латвию она желала мне хорошего отдыха и хотела знать точное время моего вылета. Чтобы молиться. Она была очень сильной молитвенницей.

Я была её «ключевым кэрером». Это означает, что я вела всю её документацию, должна была всё знать о её вкусах и предпочтениях, болезнях и недомоганиях, лекарствах и результатах анализов, следить за её гардеробом... Фактически как член семьи.

Болезнь Паркинсона в последней стадии. При этом ясная голова и полное понимание того, что с ней происходит. Отдельные моменты затемнённости сознания не в счёт. Как-то после очередного приступа удушьяющего кашля (один из симптомов) измождённая Джоан ещё пыталась шутить: «Я не возражаю умереть. Мне только сам процесс не нравится».

Я не встречала в жизни таких борцов, каким была Джоан. Список её хронических болезней занимал целую страницу в её истории. Три года назад в результате падения она сломала шейку бедра. Уже тогда она пыталась уйти: перелом диагностировали слишком поздно, а в её истории есть запись о запрете везти её в больницу без её согласия. А она упорно не соглашалась, преодолевая страшную боль. В тот раз всё закончилось хорошо, но она запомнила ощущение ухода и потом несколько раз говорила мне, что не хотела бы повторения. Речь о попытке, не об уходе. Даже тогда, когда не могла уже

встать самостоятельно, упорно продолжала вставать и на наши просьбы разрешить нам ей помочь упрямо отвечала: «Пока могу — сражаюсь!» И сражалась. Бессильная, как котёнок, но борец. Упорно вставала утром, даже тогда, когда не было никаких сил, отказывалась прилечь после обеда отдохнуть, продолжала преодолевать себя и свою болезнь.

До самого конца Джоан хотела быть в курсе происходящего в мире, жалела, что не может полноценно пользоваться компьютером: зрение всё ещё было хорошим, но из-за болезни Паркинсона были зрительные расстройства: строчки расплывались и набегали друг на друга.

Была очень любознательным и очень душевно открытым человеком: хотела знать всё о жизни окружающих людей, от того, как ты провёл выходные, до того, что чувствует женщина во время родов. При этом была необыкновенно тактична. У нее было невероятное количество друзей самого разного возраста, её обаяние привлекало всех.

Так грустно писать о тебе в прошедшем времени, Джоан.

Царствие Небесное.

Покойся с миром.

R.I.P.



© Художник Андрей Карапетян

**Лада Миллер
(Канада)**

Родилась в Новгороде, жила в Воркуте, училась в Саратове. После окончания Саратовского медицинского института с разницей в одиннадцать лет последовали две эмиграции: Израиль и Канада. Работаю врачом. Печаталась в нескольких сборниках и альманахах, в периодике и, конечно, в Сети. Лауреат и победитель нескольких международных поэтических конкурсов. Книга стихов «Голос твой» вышла в свет в 2015 году.

В нерассказанном лесу

Послушай

У белых ворот оглянусь...
Всё в прошлом, но машут упрямо
Сердитой панамкою грусть,
Надежда весёлой панамой.

Деревья слетаются в сад,
Большие цветущие птицы,
А я ни вперёд, ни назад,
Не выплакать, не возвратиться.

В твоём удивительном здесь
Остаться немею и трушу.
Пусть выжжен и выскоблен весь,
Но ёкает сердце — послушай.

Заблудилась

У волчка чудес наперечёт...
Лес горчичный — горе мне и рай.
Лечь в охапку — где тут самый край?
Пусть ухватит и уволочёт.

Ах, как вздрогнет нежная трава,
Как сожмётся солнечный кулак.
У волчка слова, как жернова,
Я меж ними — зёрнышко, пустяк.

Брызнет счастье — выгадаешь брешь,
Ускользнёшь чумная ото всех.
В чаще леса — ягоды и смех...
Заблудилась. Отыщи и съешь.

Погоди

Жизнь кончается больно и быстро...
Не хватай, не целуй, погоди.
Я наткнусь на тебя, как на выстрел,
Как на крик в говорящей груди.

Изо всей своей силы и грусти
Тянешь к сердцу, торопишься — Эй!
Пузырящийся воздух невкусен,
Да и нет в пустоте пузырей.

Всё не так. Слишком страшно и резко
Рассветает. Держи меня за...
Вот крючок. Здесь кончается леска.
Начинаются рот и глаза.

Говори

Говори, смешинка, недотрога,
Не молчи. Волнением томим,
Посижу, послушаю немного,
Слишком трудной выдалась дорога
К берегам распахнутым твоим.

Что потом? Обычная волынка —
Поцелуй, клятвы, недосып,
Дух и тело, облако и глина.
Говоришь, вторая половина?
Вот и я — вдохнул тебя и влип.

Мне с тобой то радостно, то больно,
Головой поникшей не качай.
Мне тебя смеющейся довольно
Одного боюсь — когда молчат.
Говори...

Голос твой

Кто-то вздрогнул и голос разлил,
 Заискрились в декабрьской пасти
 Эти сумерки — реки чернил,
 Эти выюжины — скважины страсти.
 Если чисто и пристально петь,
 Выйдет время и зёрен накрошит.
 Жизнь с изнанки похожа на смерть,
 Только длится значительно дольше,
 Выбирает: кто пан, кто пропал,
 Ошибается глупо и часто...
 Голос твой неоправданно ал,
 Ну а что еще надо для счастья?

В переводе с птичьего

Ещё чуть-чуть, и сад остепенится,
 Затеплится, заварится... Ещё —
 Вернутся недоверчивые птицы,
 Доверчивые сядут на плечо.

Как облако из чайника, как вата
 Из куклы, перекроенной стократ,
 Появится моё — Не виновата.
 Распустится твоё — Не виноват.

Нахлынет май — то мять меня, то маять,
 Укачивать под простенький мотив,
 И прошлое останется на память,
 А будущее выйдет, не простив.

Отчаянье разделится на гроздья,
 Тоска влетит в незапертую грудь.
 Придёшь домой — повесь меня на гвоздик,
 Гулять пойдёшь — в прихожей не забудь.

Любить легко. Но тем сильнее жажда,
 Чем ближе недоступная вода.
 По-человечьи — ты меня однажды...
 А я тебя по-птичььи — навсегда.

В нерассказанном лесу

В нашем нерассказанном лесу
 Сосны держат небо на весу
 И, души игольчатой не чая,
 Нежно ранят т`плые бока,
 Чтоб слезились солнцем облака,
 Как цветочным чаем.

Посреди пернатых трав и крох
 Мы с тобой не более, чем вздох
 Радости. Бывает же удача.
 Насмерть заблудившийся в лесу,
 Я тебя укрою, унесу,
 От иголок спрячу.

У костра, где угли и закат,
 Будем слушать музыку цикад,
 Сочинять бесхитростные песни.

Впрочем, что нам песни и цветы,
 Вот сидим на кухне — я да ты —
 Лучше — есть ли ?

Меня здесь больше нет

Меня здесь больше нет. Не больше и не меньше
 Песка на берегу, ракушек на песке.
 Кричат со всех сторон покинутые вещи
 По-птичьему — на простом, понятном языке.

Как море прячет свет, как голову роняет
 Заплаканный закат — почти не разглядеть :
 Посмотришь — и пропал: от края и до рая —
 Уже не то, что жизнь (совсем не то, что смерть).

Меня здесь... Ни меня, ни возгласа, ни тени,
 Ни тяжести слепых, нагретых солнцем плит,
 Ни трепета в груди, ни книжки на коленях —
 Вкус яблок на губах. И больше не болит.

Давай, улыбнись

День полон Шагалом и хрупкой листвой,
Дрожащей от смеха и ветра,
И мы вдруг становимся сами собой
Безудержно и беззаветно.

Ах, как удивляются сквер и вокзал,
И все бесполезные вещи —
Над улицей люди (Шагал, так Шагал) —
Цветными шарами трепещут.

По парам и врозь. Улыбаясь и нет.
Промокшие, лёгкие люди
Прносятся, трогая щёки планет
И млечные звёздные груди.

Сегодня, любимый, наш первый полёт,
Пусть ты опечален и болен,
И пусть за туманом окрестных болот
Не видно плечей колоколен,

Давай, улыбнись. Изумится народ,
Трамвай громыхающий взвизгнет,
А небо подхватит тебя и спасёт
От всепоглощающей жизни.

Анатолий Цыганов
(Россия, Ухта)

Анатолий Фёдорович Цыганов родился 22 марта 1949 года в селе Сосновка Новосибирской области.

После окончания Новосибирского геологоразведочного техникума в 1970 году направлен работать в республику Коми, г. Воркуту. Работал в полевых партиях. Прошёл путь от техника до начальника партии.

Окончил заочно Ухтинский государственный университет по специальности «геофизика». С 1988 года живёт в г. Ухта. В настоящее время работает ведущим геофизиком ОАО «Севергеофизика». Публиковался в журнале "Наш современник", альманахе "Белый бор". Автор двух книг прозы

Студент

В середине сезона в сейсмопартию прислали молодого специалиста. Долговязого, не по годам лысеющего парня тут же окрестили «студентом прохладной жизни». В балке, где было постоянно накурено и довольно-таки жарко от постоянно горящей печки, он вежливо просил немного приоткрыть входную дверь. Когда у него спрашивали, на сколько приоткрыть? Он уточнял: «Градусов на пятнадцать». Вежливость молодого специалиста шокировала выдавших виды пропитых и замороженных бичей. Поэтому вначале гордые сыны подворотен пытались игнорировать приказы новоявленного начальника и запанибратски называли его Сашкой. Но у бывшего студента оказалась сибирская закваска, и он быстро заставил с уважением называть себя Александром Ильичом. «Буду не в обиде, если назовёте по-простому — Ильич», — смеясь, представился он. Уважительному отношению невольно поспособствовал любитель приколов Генка Гуков.

Дело было так. На базе партии заканчивался уголь, топить печи было нечем, а высланные за углём трактора ещё были в пути или всё ещё загружались. Уголь летом доставили пароходом на побережье, выгрузили на причале, и приходилось вручную загружать замороженные глыбы в коробки на полозьях, которые таскали тяжёлые болотоходы. На рейс уходило два-три дня, чего вполне хватало на возобновление запаса топлива. Но весенняя пурга выбила график отопительного сезона, и печи уже были на подсосе. Начальник партии принял решение остановить работу сейсмоотряда и направить людей вездеходом за углём. Старшим назначил молодого специалиста.

Бичи бодро побросали в кузов мешки и лопаты, расселись по боковым лавкам и дружно закурили. Генка пристроился возле лобового окна

и принялся с интересом вглядываться в дорогу. Путь был долгим, дорога — однообразной, тундра — однотонно-серо-серой. В общем, тоска и ничего интересного. Но зато не видны осточертевшие, обветренные, как и у него самого, хари бичей. Колея то ясно обозначалась в небольших выбоинах, то исчезала на продуваемых всеми ветрами почти лысых буграх. Иногда след колеи надолго исчезал, и водитель мог ориентироваться только по воткнутым по бокам красным вешкам. Вездеход неторопливо урчал, переваливая через бесконечные бугры, и однообразный звук навевал дремотное состояние. Бичи потолковали о том о сём и, тихо посапывая, закивали дружно бедовыми головами. У Генки слипались глаза, но привычка всё вокруг подмечать не давала бывшему топографу предаваться дремотным мыслям.

Смеркалось. Серая тундра быстро поглотила короткий полярный день. Наступила ночь. Темнота по обочинам освещённой мощными фарами дороги казалась твёрдой стеной. Из колеи, недовольно фыркая и хлопая крыльями, выскакивали сонные куропатки. Промелькнули низкорослые кусты карликовых берёз, и колея пошла по голой тундре. Внезапно вездеход остановился. Задремавшие от монотонного гула и тепла, бичи испуганно встрепенулись и вопросительно посмотрели на Генку. Гуков сам немного придремал и упустил из поля зрения бегущую навстречу колею однообразной дороги. Всмотревшись в узкое окошко, Генка, наконец, еле различил в самом конце желтоватого света фар два огонька и силуэт белого зверька. Песец. Зверь стоял неподвижно и лишь иногда, как загипнотизированный, чуть покачивался из стороны в сторону. Сквозь стекло было видно, как водитель передаёт Сашке ружьё и патроны. Бичи задёрнули Генку за рукав телогрейки: «Что там?» Генка сам с интересом всматривался в запотевшее стекло и вяло отпинывался: «Да пошли вы». Водитель слегка подал вездеход вперёд, а Сашка, приоткрыв дверцу и тщательно прицелившись, нажал на курок. Раздался оглушительный выстрел, и песец упал. Охотники подъехали ближе и нерешительно остановились. Бичи задёрнули Генку сильнее: «Ну, что там? Попал или нет?» Генка и сам не мог понять и неопределённо пожал плечами.

А в кабине в это время происходил такой же неопределённый диалог:

— Ну что, попал?

— А хрен его знает. Вроде как попал.

— А почему крови не видно?

— Значит, не попал.

— Почему же он лежит?

— Наверное, притворяется.

— Точно. Я слышал, что песцы хитрые. Ты сейчас подойдешь, наклонись, а он вскочит и убежит.

— Что будем делать?

— Не знаю. Твоя добыча, ты и решай.

— Ладно, я пошёл.

— Ни пуха.

— К чёрту.

Сашка вылез из кабины и, потянув на всякий случай за собой ружьё, прыгнул на снег. Песец лежал неподвижно. Сашка ткнул в него стволом. Песец не шелохнулся. Потянув добычу за хвост, удачливый охотник наконец рассмотрел причину падения зверька. Шкура была абсолютно чистой, и лишь одна дробина попала точно в глаз, потому и не видно было крови. Закинув песка в кузов, Сашка прыгнул в кабину, и вездеход, фыркнув выхлопными газами, бойко запрыгал по голым от снега буграм.

В кузове бичи толпой окружили брошенного песка. Рассмотрев рану, удивлённо закивали головами — «классный выстрел». Генка хихикнул в кулак. Головы одновременно повернулись в его сторону.

— Что вы удивляетесь? Я Александра Ильича давно знаю. Мы с ним ещё в Таркасале работали.

Где находится Таркасале, бичи не знали, но почтительно прислушались. А Генку понесло:

— Они с дедом приезжали. Мы тогда белку промышляли. Я на выделке шкурок работал, а они с бригадой охотников из тайги аккуратно выходили. Шесть сотен шкурок, и ни одного брака. Все точно в глаз. Они патрон заряжают одной дробинкой, чтобы шкурку не портить, и так стреляют. Так то — белка, а тут здоровый песец. Ему попасть в глаз — как два пальца...

Бичи удивлённо ахали, почтительно слушая Генкин трёп. Генка ещё долго бы разглагольствовал на охотничьи темы, благо, язык без костей, но тут вездеход остановился. Станция конечная. Вылезай вкальвать. Бичи, охая и поминая матушку, поползли из кузова. Увидев молодого специалиста, внезапно выстроились в нестройную шеренгу. Весь день бичи беспрекословно слушались любых приказаний начальника. А под конец даже предложили испить чифира, чем несказанно удивили Сашку.

На базу доехали без приключений, а весть о сибиряке-охотнике быстро распозлзлась по экспедиции. Сашка, ни сном ни духом не ведая о Генкиной трепотне, продолжал нести трудовую вахту, слегка удивляясь небывалой покладистости бичей.

Любознательный характер и самоуверенность постоянно подводили молодого специалиста к неприятным ситуациям, любимым выражением его была фраза: «Что будем делать?». При этом он с милой улыбкой обращивался к начальнику отряда и слегка приподнимал брови. В ответ начальник бурчал другую заготовку, начинающуюся словами: «Я, конечно, не Бог...». Таким образом молодой специалист загнал в брак полпрофиля, и от его милой улыбки начальник отряда чуть не повесился. Другой раз он, решив, что для улучшения качества материала необходимо слегка добавить напряжение от аккумуляторов, для чего подсоединил ещё пару

банок к блоку питания. Блок питания не выдержал такого надругательства над техническими условиями и, слегка задымив, испустил дух. Приехавший по срочному вызову начальник отряда схватился за голову. Сашка вытянул из стойки обгоревший блок и, мило улыбаясь, задал неизменный вопрос: «Что будем делать?». Начальник отряда хотел сказать, что снимет ремень и будет больно пороть, но, вспомнив себя таким же молодым, а заодно припомнив, что он припрятал от наладчиков основную плату блока, пробурчал неизменную фразу: «Я, конечно, не Бог, но попробую исправить».

Пурга налетела внезапно. Белая воющая пелена закрыла небо, землю, жилые балки базы партии и, кажется, весь свет. Свист ветра, то затихая, то усиливаясь, давил на барабанные перепонки. Снег хлестко бил по лицу, забивая нос и уши. Короткий зимний день, не успев начаться, быстро угас, резко сменив белую мглу на слабое мерцание еле приметных окон жилых балков. Сквозь вой ветра равномерно слышалось только постукивание дизеля электростанции.

Дважды моргнув, свет погас — одиннадцать часов. В полной темноте разбушевавшаяся стихия металась по спящей базе, выскивая случайную жертву. Порывы ветра, подхватывая жесткий снег, били по окнам, царапая со скрежетом стекло. В накуренных балках тишина изредка нарушалась коротким всхрапом мятущейся души да потрескиванием оплавившегося в приоткрытой печи угля. Народ спал, убаюканный неистойвой песней стихии.

Внезапно ветер стих. Спящие заворочались, но никто не проснулся. Окна балка, забитые снегом, не пропускали свет луны, на мгновение вынырнувшей из-за тяжёлых туч. Лишь слабый огонёк печи едва освещал входную дверь. Вдруг утренняя темнота прорезалась слабым лучом фонарика. Кряхтя и поеживаясь, дизелист выполз из спальника и, второпях прикуривая сигарету, на ходу натягивая полушубок и рукавицы, запрыгал по сугробам к электростанции.

Рывкнул «пускат», и, равномерно тарахтя, дизель начал раскручивать генератор электростанции. Из балков потянулись к вездеходам заспанные водители. База окончательно проснулась.

Радист бодро выскочил из балка и принялся отдира́ть намёрзший лёд от просевшей под тяжестью снега антенны. Взглянув на термометр, ойкнул и мгновенно скрылся за дверью: термометр показывал минус сорок два градуса. Из балка, потягиваясь и широко зевая, вышел начальник отряда. Отряд необходимо было срочно перебазировать, и на поиски нового участка со вчерашнего дня был занаряжен вездеход, который уже стоял посреди базы, отрывивая из выхлопной смесь гари и соляры. Начальник отряда крикнул Сашке, чтобы тот собирался, и полез в кабину. Водитель, молодой парень, недавно вернувшийся из армии, возился с подсветкой.

— Баки заправил? — поинтересовался для порядка начальник отряда.

— Под завязку, — буркнул водитель.

Сашка, пыхтя и чертыхаясь, вполз в кабину.

— А я зачем? — Сашка поёжился.

— Поможешь разметку сделать, заодно и поучишься, как выбирать место под базу. В будущем пригодится.

Вездеход взревел и помчался по зимнику. Темнота ночи постепенно сменялась утренним сумраком. Еле заметная колея проглядывала сквозь ослепительно-белый снег. Часа два ехали по отработанному профилю и в самом конце свернули на старую воргу — летнюю оленью тропу, едва проглядывающую среди кустов карликовой берёзы. Внезапно горизонт засверкал тремя яркими лучами. Из-за очередной сопки показался оранжевый край солнечного диска. Под лучами солнца снег заискрился разноцветными кристалликами. Даль заиграла всеми цветами радуги.

Ехать стало веселее. Согретые приятным теплом, пассажиры задремали. Равномерный гул двигателя располагал ко сну. Вездеход, ныряя в овраги и с натугой преодолевая бугры, полз по белоснежным просторам. Край солнца постепенно начал таять, и тусклый сумрак опустился на затихшую тундру. Темнота захватила еле видную колею. В свете фар из-под колёс выпорхнули куропатки и удивлённо завращали маленькими головами. Длинноногий заяц метнулся в сторону от яркого света и помчался впереди вездехода, петляя из колеи в колею. Длинные уши долго мелькали перед глазами и, наконец, скрылись за очередным поворотом.

Вдруг равномерный гул двигателя сменился подозрительным постукиванием. Двигатель, чихнув пару раз, заглох. В кабине сразу стало холодно. Водитель метнулся из кабины. Через мгновение из-под капота виднелись только две ноги, обутые в стоптанные валенки. Начальник отряда, крепко выматерившись, выпрыгнул из кабины.

— Ну, что там?

— Да вроде всё в порядке, — заморгал глазами водитель. — Топлива почему-то нет.

— Не понял. Ты же сказал — под завязку заправился.

— Не знаю. Я «пистолет» всунул, а из бака вверх струя. Я в другой, оттуда — тоже. Два бака только дозаправил.

— Дубина, мать твою. Это же воздухом соляру шибануло! Точно, баки на нуле!

Водитель побледнел и кинулся к бакам. Все четыре бака были пустые. У бедного парня выступил на лбу пот. Руки задрожали, и ноги мгновенно ослабли. От базы отъехали более семидесяти вёрст. Вокруг — ни души. Растерянно потирая щёки, водитель заморгал глазами. Стоять на морозе было невозможно, и оба запрыгнули в спасительную кабину вездехода. Помолчали. Мороз постепенно начал проникать внутрь машины, заволакивая узорами стёкла.

— Что теперь будет? — у водителя от страха перекосило лицо.

— Что, что. Хреново будет, вот что. За нами вслед сейчас выезжают топографы, здесь они будут часов через семь. За семь часов при таком морозе от нас голые сосульки останутся.

— Может, пешком? — подал голос Сашка.

— Не дойдём — слишком сильный мороз, да и куда идти — темень, хоть глаз выколи.

— А что-то же мы де-делать бу-будем? — Рот водителя не слушался, страх парализовал все мышцы.

— Ты что? Идиот? — взорвался начальник отряда. — Умирать будем!

— Ка-как умирать? — даже в темноте было видно, как побледнело лицо водителя.

— Хочешь — молча. Хочешь — с песнями. Это без разницы.

Начальник отряда вытащил сигареты, чиркнул спичкой, и в свете мерцающего огонька увидел бледную, с синим отливом, маску лица водителя. Выпученные глаза подчёркивали неестественность выражения, и начальника отряда вдруг разобрал такой смех, что удержаться не было никакой возможности. Он принялся хохотать, хватаясь за бока и дрыгая ногами. Сашка вначале сумрачно уставился на обоих спутников, но, наконец, разглядев нелепый контраст в поведении одного и другого, вначале тихонько, затем всё громче и громче, с каким-то подвывом заржал. Водитель, глядя на это веселье, удивлённо приподнял брови и, не выдержав напряжения, навзрыд заплакал.

Мороз, пробираясь в кабину, обволакивал жёсткими щупальцами одежду путников, забираясь в рукава, сковывал движение. Пытаясь согреться, товарищи по несчастью принялись колотить друг друга, но это слабо помогало. Мысли начальника отряда лихорадочно работали, отскакивая одна от другой.

— Можно было бы зажечь ветошь, если бы слить масло, но на таком морозе оно сейчас, как стекло.

— А может, паяльной лампой? — подал голос водитель.

— Где паяльная лампа?! — начальник отряда даже подпрыгнул на месте. — Ты что молчал? Быстро доставай!

Из-под сиденья быстро извлекли паяльную лампу. На счастье, она была полностью заправлена. Раскочегарили. По кабине разлилось блаженное тепло. Пальцы стали отходить. Пассажиры заохали от боли, но жить стало веселее.

— Ну, вот и ещё немного времени отвоевали у смерти, — невесело пошутил Сашка. До него, наконец, дошла обыденность положения. Смерть витала где-то рядом, но до сознания до сих пор не доходило, что вот так запросто можно замёрзнуть, не пытаясь даже бороться. Да и с кем? И как? И никакой героики. Раньше он думал, что если что-то случится, то не с ним, а если и с ним, то когда-то, чуть ли не в другой жизни. Ощущая

рядом присутствие таких разных по характеру и восприятию ситуации людей, Сашка отстранённо думал о себе, как будто не он сейчас находился в замерзающей кабине, а кто-то другой, сидящий рядом. И этот другой был почему-то спокоен, так же как и сам Сашка. Мысли витали где-то далеко, и, не задевая сознание, перекатывались друг через друга.

Водитель уже не всхлипывал, сосредоточенно о чём-то думая. Начальник отряда курил одну за другой сигареты, молча вслушиваясь в монотонный гул паяльной лампы. Вдруг он приоткрыл дверцу и, кубарем вывалившись на снег, принялся прыгать и орать. Сашка удивлённо смотрел на нелепые прыжки начальника, но затем, услышав далёкий и всё приближающийся гул, выскочил вслед за ним и начал выделять ещё более разухабистые кренделя. Со стороны отработанного участка показался свет. В их сторону неторопливо шёл трактор. Огоньки фар, то появляясь, то пропадая в темноте, увеличивались в размерах и, наконец, вынырнули из мглы тундры прямо напротив вездехода. Из кабины выпрыгнул тракторист и удивлённо присвистнул:

— Вы как здесь оказались?

Начальник отряда начал объяснять, что они-то понятно, почему здесь, а вот как он сюда заехал? Водитель и Сашка, не слушая объяснений, уже забрались в кабину и притихли, сжавшись в уголке. Уже сидя за рычагами, тракторист, стараясь перекричать грохот двигателя, объяснил, что он сбился с дороги. Двигаясь по профилю, он почему-то выехал совершенно не в той стороне, где предполагал. Пригревшись, Сашка быстро задремал. Сквозь сон он уже почти не слышал, о чём кричал тракторист. Но внезапно одна мысль промелькнула в затуманенном мозгу: «А Бог-то есть».

На следующий день Сашка не поехал на работу. Его никто не тревожил. Утром прилетел вертолёт. Водитель вездехода, услышав издали гул, лихорадочно сгрёб вещи и, не обращая внимания на удивлённые вопросы бичей, помчался на вертолётную площадку. В вертолёте он забился в угол, и уже никакими уговорами его нельзя было оттуда вытащить.

Сашку долго расспрашивали, что у них произошло. Но он упорно молчал.

Анастасия Тамило (Россия, Санкт-Петербург)

Родилась в 1977 году. С детства писала стихи, но мечтала быть актером или следователем. В Санкт-Петербурге выучилась на актрису, играла в Театральной Лаборатории В. Максимова. Дипломант фестиваля «Рождественский парад» за роль Саломеи. Став мамой двоих детей, занялась тележурналистикой, объединив навыки актера и оперативника. Любовь к героям репортажей не уместается в формат телесюжета, поэтому два года назад начала писать прозу. Это моя вторая публикация..

Думаю, режу... Люблю

Е. Левченко, богу по призванию

- Евгений Петрович, он на столе, там уже анестезиологи!
- Иду. Ангидрид твою перекинь марганца... Очки! Танюш, не прине-
сешь мои очки, забыл в кабинете, на статуэтке Гуань Инь скорей всего...
- Затейник вы, Евгений Петрович.
- Да уж... Ключ держи. А скажи, как он с утра себя вёл?
- Кто?
- Фатов.
- Температура в норме, давление...
- Да-да... ээт всё мне известно. Сходи за очками, будь другом. Воз-
вращаться — поганая примета.
- Я — мигом!

Вот только не надо мне про бабкины пережитки... Суеверие — свято. Хирурги суеверны все до одного. Мы работаем на территории смерти (как это ни высокопарно, может, звучит), а здесь случайностей нет. Один прооперированный в связи с онкологией астролог мне признался перед выпиской: в гороскопе многих хирургов есть градус убийцы. Что за градус — не знаю, но войти в запретный человеческий предел — это не всякий себе разрешит, конечно.

Центральная точка моего кабинета (все-таки заведующему отделени-
ем полагается) — статуэтка Бодхисаттвы Те Гуань Инь «Железной бо-
гини милосердия». Настоящая резная самшитовая небожительница из
Китая. В Чайну я езжу в отпуск — спину подлечить и забить холодиль-
ник «Большим красным халатом», «Железной богиней», «Билочунем» —
элитными зелеными чаями и улунами (их в морозилке хранят, иначе вме-
сто полезных свойств — приобретут ядовитые). Чай, тончайшая резьба
по дереву и пранаямы — дыхательные упражнения — дисциплинируют
ум и руку. А «хирургия» и переводится как «рукодействие». И, хотя сте-

ны в кабинете лишь местами просматриваются от обилия икон — это всё подарки пациентов, и только. Я не молюсь — я думаю, режу и... люблю. Это помогает думать и резать эффективно.

— Вот ваши очки, Евгений Петрович! И ключ.

— Благодарю, Танюш. Поехали!

— С Богом, Евгений Петрович.

— Можно и с ним.

Стеклянная дверь — вход в судьбу человека. За ней — торжественный запах озона, спирта и кожного секрета — особых феромонов-релизеров, побуждающих к действию.

Операционная всегда казалась мне местом священным и домашним одновременно после многих лет, проведённых на «папиной работе». Ведущему торакальному хирургу города традиционно не с кем было оставить сына. Жена тоже оперировала в своей, глазной клинике. Бабушек и дедушек в помощь не было — родители па и ма не дожили до момента, когда сын и дочь стали полубогами, возвращавшими с того света и возвращавшими свет. Поэтому их дети, как обычные осиротевшие человеческие детёныши, рыдали на похоронах, размазывая щипучее горе по щекам и губам. Поэтому спустя годы их дети шили мясо кроличьих и куриных тушек, тренируясь накладывать швы живым человекам. Вязали поролоновые губки, ломая ногти. Заучивали многотомные конспекты, жертвуя безмятежными радостями семнадцатилетних. Подавляли жалость, тошноту, страх преступления, делая надрез на живой мышце и, как в невесомости, выходили на первую операцию. Так становились «небожителями» мои па и ма. А потом умирали тоже. Потому что, снимая белые маски, боги оказывались людьми, и даже их собственный «божественный» ребёнок, уже окончивший аспирантуру Первого меда, не умел сохранить земную жизнь навечно, а мог только ненадолго, силой своего скромного опыта и необоримого желания. Наверное, тоже кое-что...

Недавно читал о себе в газете: «За 23 года хирургической практики — три тысячи прооперированных пациентов, запатентованные авторские методики»... Методики возвращения с того света удивлённых существ без ног, лёгкого или почки. Ловящих последние годы или месяцы-подарки, как ловит солнце, жмурясь от боли в глазах, узник темницы сырой — по дороге на казнь. «Вскормлённый в неволе орёл молодой...» — эта фраза у меня с детства вызывает какую-то безысходную протестную тоску.

Не склонен к паническим атакам, но сегодня тревога проснулась раньше меня. Когда подходил к клинике, наступил на зеркальный осколок — он хрустнул, и небо расколосось на два опасных лепестка, как разбитое сердце в комиксах. Пациент Фатов, сорок пять лет, злокачественная опухоль трахеи, операция плановая, состояние удовлетворительное... А

вот у меня что-то потягивает внутри холодком, сквозит, как прореха, где-то незалатанная, незамеченная.

Понаблюдал — и довольно. Это всё в топку. Мой учитель говорил: операция — вневременное измерение, без прошлого и будущего. Есть только сейчас. Вот оно — сейчас — в моём дыхании, в ощущениях тела. Я наношу мыльный раствор на руки, шипит вода. Пергаментная кожа всеми трещинами вопит: «Осанна антисептику» — обработка церигелем. Стерильные перчатки. Вечная боль покидает поясницу на втором шаге в операционную. Скальпель. Я делаю надрез. Измерение Фатова. Впрочем, внутри все мы одинаково пунцовы, мокры и трепетны. Кровь, зажимы. Трубка трахеи, в районе бифуркации чёрное первичное образование. Удаляю вместе с частью органа.

— Евгений Петрович! Падает давление!

— Гидриттвою!..

— Нет пульса!!!

— Прямой массаж! Таня, отметь время и считай!

— Семнадцать ноль восемь! Один, два, три, четыре...

— Крава, будешь менять!

Сердце Фатова близко — благо плевральная полость вскрыта. Сердце Фатова, скользкое, теплое, сердце у меня в пятерне, прямо по размеру: сжимаю орган и разжимаю, делаю его работу — шестьдесят раз в минуту.

— Шестьдесят четыре, шестьдесят пять...

Два искусственных вдоха в легкие и... жмем дальше! Устанавливаю ритм своего дыхания — подольше не уставать. Вдох-выдох, сжимаю-разжимаю, пять минут, десять. Не заводится...

— Крава, смени!

Передаю сердце Фатова ассистенту, рыжему Игорю Краве. Ручищи для армрестлинга! Потянет. Свежие перчатки и халат! Вдох-выдох. Снова меняемся. Не. Заводится.

— Крава!

...«А когда вы папу домой отпугните, мы с ним будем ипить снеговичков в морозилке!» — четырёхлетняя «Мафа», точь-в-точь из мультика про Медведя, без конца целует папу, почему-то в нос. До чего дотягивается — больничные койки высокие. Поздний ребёнок. Фатов-Фатов... Ну, нет! Не сегодня, не со мной!

Анестезиологи покидают операционную со словами: «Чудес не бывает».

Чудес! В гробу я видал ваш «максимум 30 минут» из учебника.

Плевать! Пусть катятся! Отнимаю сердце у Игоря. Сжимаю — разжимаю, сжимаю — разжимаю. Отец бы не выпустил! «Отче наш, иже еси», — бабушка читала каждое утро... Что ж, запускаем всё! «...еси на

небеси, да святится имя твое...», — как это все запомнилось-то, в жизни ни разу не молился. Надо по технологии, сначала и в ритме. «Отче...» — сжимаю...

«...Аминь!» — разжимаю...

— Е... твою мать!!! Все в операционную, б!.. Он дышит!

...Дома ни с кем не разговаривал. Хлопнул стопку коньяку, чтобы уснуть. Спал час. Пришёл на работу. В коридоре — сонная «Мафа» с зелёным шариком для папы и испуганная фатовская жена. Рванули ко мне — качаю головой, проношусь мимо: «Через полчаса в ординаторской!» Подозрительно вглядываюсь в лица коллег — они уже знают, но что?.. Трус в белом халате и в ознобе от недосыпа оттягивает момент истины. Победителей не судят — это не про хирургию. Дурак знает, что через четыре минуты после прекращения кровоснабжения в мозгу начинаются необратимые изменения. После тридцати минут прямой массаж сердца не имеет смысла по всем учебникам. Но если уж «повезло» откачать — то откачанный остаётся в неоплатном долгу перед врачом за дальнейшее существование в качестве «овоща». Фатова возвращали пятьдесят минут!

— Здравствуйте, Евгений Петрович! — дежурная сестра, как-то хитровато избочив голову, зыркает глазами.

— Что, что «здравствуйте»? Что там?

— Пойдёмте, пойдёмте, покажу вам ваш «овощ»... — из последних сил тая чувства, кивает сестра, водомеркой летя к заветной палате.

— Вот. Любуйтесь.

На кровати у окна, полулёжа на высокой подушке, вчерашний труп читал «Новое литературное обозрение».

...В ординаторской упивались свежими новостями под кофе.

— Главное, он ведь знает, что соседу по палате заявил? «Вот, — говорит, — сейчас на операцию уйду и обратно не вернусь...»

— Так, а почему ты мне не сказала, Таня? Я же спрашивал о его поведении... ни за что не стал бы оперировать в этот день!

— Что, серьёзно, плановую операцию бы отменили?

— Серьёзней некуда. Нафига мне плановые трупы. Пациента в таком настроении нельзя оперировать — и точка. Миш, дай печеньку.

— Натё вам, и спасибо за ценную инфу, Евгений Петрович! Теперь я знаю, чем крыть в следующий раз, когда вы меня оперировать в мой день рождения поставите!

— Тише, смертный. Перед операцией по-быстрому отметишь с пациентом — и к анестезии оба будете в ударе!

Вечером с супругой-химиотерапевтом проставляем себе торт со сливками. Я заварил самый умиротворяющий чай — улун «Железная Гуань Инь». По китайской технологии. Нагрел чайничек, слил первую заварку в раковину. Пропаренные кипятком, во втором настое листья охотно и расслабленно раскрываются, отдают аромат туманных, зацелованных цветами высокогорий и энергию терпеливых рук, скручивающих каждый листок. Мы молча делаем первый глоток. Жена ждёт, и я рассказываю. Самым смешным в истории с воскресением Фатова мне кажется непреднамеренно резкий переход с молитвы на ругань... Хорошо ещё, что вслух — только ругался! Припоминая подробности, начинаю хохотать. Жена, сияя инопланетно-огромными синими глазами-фиалками, только покачивает головой.

— Пускай теперь в учебниках меняют время реанимации при прямом массаже сердца — с тридцати на пятьдесят минут. Ты проследи, Женя, всё-таки по ним Иван учится... — с нежной улыбкой произносит жена. Кажется, она меня ещё любит.

Пришедший с практики голодный сын «подрезает» с моего блюда блестящую вишню от торта. Шлёпнуть по лапе не успеваю — ловок, бродяга. Я был даже горд, когда ни мать, ни тётка-анестезиолог за год психологической атаки не сумели отвратить Ваньку от поступления в мед. Хотя от хирургии сам отговаривал потом, как мог — ни ночей, ни дней спокойных! Пять человек с моего курса спились-перегорели. Лучший друг — детский хирург — от инсульта в сорок лет умер: очередного летального исхода во время своей операции не вынес.

Не смириться со смертью, но научиться принимать и её, позволить себе входить в запретное и изменять несовершенную природу, выбирать между «тварь дрожащая или право имею» — третье: «действую в любых обстоятельствах во благо пациента», научиться расслаблять тело и ум без допингов... Если ты пришёл в хирургию и не смог всего этого — тебе крышка. Но если ты спустя семь лет после операции встречаешь в кафе или магазине «приговорённых», которым помог обойти, обмануть приговор — какое ещё счастье может с этим сравниться? Ванька наш не раз наблюдал подобные встречи хирурга со «своими». И если парень в двенадцать лет назвал сочинение на вольную тему «Циркулярная резекция бифуркации трахеи», то, скорее всего, он неизлечим...

- Паап, ты купил кролика?
- Да, посмотри в холодильнике.
- Ты не очень устал? Мы поработаем?
- Сам ты устал. Неси нитки.

Андрей Илькив
(Польша, Вроцлав)

Родился и жил на Украине. Был следователем прокуратуры, адвокатом. В настоящий момент живёт и работает в Польше. Печатается в русскоязычных изданиях России, Украины, Франции.

Солнце в глазах ночи

Рожественскими колокольчиками стыдливо задрожали монетки в детской рученьке крошечной, почти столетней или вечной старушки.

В небольшом ресторане музыка играла тишину, приглушенную светом. Поздний вечер. Черное небо. Или ранняя ночь. Свет яичного желтка. Нежная мелодия, как вуаль прошедших эпох...

— Возьмите, сколько нужно. Я совсем слепая. Простите, пожалуйста, — открылся кулачок перед кельнером.

Мой друг вдруг совсем рядом заговорил в такт тишине:

— К скромному ужину они всегда добавляли бокал красного вина.

Один. На двоих. Как судьбу. Одну на двоих.

Вечер каждой пятницы в течение многих-многих лет. Старички.

Однажды она пришла одна. Как прежде, заказала скромный ужин. На двоих. И бокал красного вина.

— Спасибо, мадам, — поблагодарил кельнер почтенную посетительницу ресторана.

— Вам спасибо. И заверните мне всё это, пожалуйста, он опять ничего не ел. Мальчишка...

Женщина и сама не притронулась к ужину, долго сидела, молчала, смотря перед собой, шевелила губами, улыбалась глазами, затем лишь глотнула немножко вина, расплатилась и вышла в ночь с бумажным пакетом, оставив на столе улыбку солнца.

— Сейчас она отдаст еду первому встречному на её пути нищему, — на мой немой вопрос ответил мой давний товарищ, хозяин ресторанички. — Я как-то видел однажды.

Я долго не думал и уверенно сказал:

— В следующую пятницу я заплачу за ужин этой женщины элегантной, ушедшей эпохи.

— Не нужно. С первого дня, как она пришла одна, это делаю я. Кельнер лишь перебирает монетки в руке старушки, не забирая ни цента.

Ночь с улыбкой солнца в глазах.

НЕСКУЧНО О СЕРЬЁЗНОМ



© Художник Елена Любич

Надежда Мирошниченко
(Россия, Сыктывкар)

Мирошниченко Надежда Александровна родилась в Москве. С детства живет в Сыктывкаре, где окончила школу и Коми государственный педагогический институт. Член Союза писателей России. Секретарь правления Союза писателей России. Автор одиннадцати сборников стихотворений: «Русское сердце», «Трудная книга», «Белая сотня», «О любви» и других. Лауреат Государственной премии Республики Коми им. И.А.Куратова в области литературы, еженедельника «Литературная Россия» за статьи по русскому вопросу, премии Союза писателей России и Республики Саха (Якутия) «Северная звезда», Большой литературной премии России, Международной премии «Имперская культура» им. Эдуарда Володина, Международной премии Славянской Академии литературы и живописи «Серебряное перо». Член комиссии Славянской академии по культурному обмену. Народный поэт Республики Коми.

Ираёльскиё отшельник

Вот и нет с нами этого остролова, грустного и пылкого весельчака и спорщика, пронзительного лирика Анатолия Илларионова, который и прожил-таки свою жизнь на маленькой станции, чьё название, словно специально набрано из букв его фамилии. Или его фамилия заранее набиралась в такт ей: Иллари — Ираёль... Не путать с Израилем, о чём он так прямо и заявил: «Не поеду я в Израиль, а поеду в Ираёль...» Большую часть своей жизни он пытался доказать, в первую очередь, себе самому, что не место красит человека, а человек место. Но место это было не избушкой в лесу, не затерянным в тайге селом, с его сказками, праздниками да народной русской речью, а железнодорожным рабочим посёлком, полугородским, полусельским с многонациональным населением, с полувоенной дисциплиной, свойственной в те времена всем транспортным предприятиям. И с профессией железнодорожника, которой он не изменил в течение всей своей жизни, тем не менее, считая себя Поэтом, в первую очередь. Но разместился Ираёль посреди бескрайней тайги, вобравшей своим могуществом и тишиной все возможные представления человека о первозданной силе мысли и ответственности Слова. С тайгой, девять месяцев в году сияющей белизной бесконечных снегов:

Край мой снежный и печальный
Душу выстудил мою,
Север крайний, Север крайний.
И стою я на краю.

Тайга, весенние дни, которой могли начаться лишь в мае-июне, врывающаяся в жизнь буйным цветом черёмухи и рябины, и журчаньем пе-

нистых ручьёв, половодьем рек и озёр, гоном вернувшихся птиц, посверками серебряных хариусов на открывшихся водах.

И тогда он уходил к бескрайнему простору живого мира природы и слушал мироздание, и проверял своё пылкое сердце на оселке вечности:

Здесь мне не скучно ждать рассвета
 На берегу у костерка,
 Где звёзды дребезжат от ветра
 И гаснут в дебрях сосняка.
 Здесь мне не очень одиноко.
 И впереди ещё мой путь.
 Где мне возможно верить в Бога.
 И в самого себя чуть-чуть.

Но это «чуть-чуть» для равновесия. Чтоб не перейти в самолюбование своей избранностью. Повторюсь: он никогда не сомневался в своём высоком предназначении.

Жалко, что утеряно одно из самых шутивно-радостных «молодых» стихотворений поэта: «Нажарим сыроежек, Весёлых, золотых...». Оно даёт ясное представление о начале его взрослой жизни, наполненной верой в будущее и солнечным ожиданием счастья. Но уже в первой самиздатовской книге поэта, названной «Одиночество», появляются глубоко печальные мотивы и предчувствия. Хотя он ещё легко признаётся:

...я на белом свете
 Существую сорок лет.
 А всё кажется, что тридцать.
 И в душе моей то свет,
 То холодный мрак таится.

Борьба этих двух начал пройдёт с ним через всю жизнь. Честно говоря, она проходит через жизнь каждого человека. Но редко кто об этом задумывается. Для непримиримо честного героя нашего повествования итог этой борьбы — смысл человеческого бытия.

Но поэт Анатолий Илларионов уже родился. Это его афористичные и точные слова запоминаются сходу. В «Ни стихов и ни известий. Слово некому сказать...»:

Ртуть в термометре застыла
 Ровно —минус 36.

В его знаменитом:

«Лечит русская зима,
 Как от кашля водкой с перцем,
 И от сумерек ума,
 И от помраченья сердца...
 Лечит русская зима
 Нас, людей неизлечимых.

Тут хочется остановиться ещё на одном важном моменте. Все годы перестройки в Республике Коми остро стоял национальный вопрос. Была разработана обширная программа возрождения коми народа. Но подчёркивая свою русскость, Анатолий Илларионов ни разу не отвлёкся от исследования состояния народа русского, основы нации, несмотря на то, что бабушка его матери была финнкой. И ещё удивительны предпочтения поэта. В нём самом сочетались солнечность Пушкина, светлая угрюмость Лермонтова и лаконичность Блока. В чём он неоднократно признавался в жизни. Да и в творчестве дерзко бросал юношеский вызов, оглядываясь на себя двадцатилетнего:

Пусть за спиной моей судачат,
Пусть ветер дует мне в висок,
Я молод, весел и удачлив,
Я — Пушкин, Лермонтов и Блок!

Неважно, что это пишет уже сорокалетний автор о себе юном. Как известно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Анатолий Илларионов всегда вызывающе чувствовал в себе эти три разных начала русских классиков, что неоднократно повторится в его творчестве. Но и сомнения его сжигают тоже глубинные:

И снова я душу гублю.
Не жалко? Нет, всё-таки жалко.
Стихами я печку топлю.
Не жарко? Нет, всё-таки жарко.
Судьба в чём-нибудь и права.
Ведь всё так случалось и прежде.
Становятся пеплом слова
О Вере, Любви и Надежде.

И в этой же первой книге честные стихи о любви, посвящённые его многотерпеливой и всё понимающей жене Светлане: «Не грусти ты, моя кареглазая...». И, на мой взгляд, классическое:

Серебряный лес под луной,
Скрипучие ели.
Ты стала поэту женой
В минуты метели.
Казалось: настанет покой.
Житейские будни.
Ласкай только лёгкой рукой
Весёлые кудри.
Но долго тянулась зима.
Дорога. Разлука...
Сгущалась небесная тьма,
Сердечная мука.

Судьба не шутила судьбой.
 Но так повернулось.
 Вдруг ангел шепнул:
 Я с тобой.
 И ты улыбнулась.

И ещё одно исповедальное признание включает его первую книгу «Одиночество». Признание, говорящее о глубине профессионального кругозора Анатолия Илларионова:

Звёздный холод. Ночной небосвод.
 Можно с Тютчевым спорить и с Блоком.
 Можно верить, что все мы под Богом.
 И надеяться: Бог нас спасёт.

Я уделила столько внимания именно первой книге потому, что с неё начался новый этап в жизни поэта. Его заметил один из лучших московских современных русских поэтов Юрий Кузнецов. Оба они были тогда ещё живы и чем-то очень близки друг другу. Учítывая, что Илларионов редко выбирался в Ухту и Сыктывкар, а в Москве до того времени, по моему, ещё и не бывал, признание его творчества Юрием Кузнецовым, практически самым знаковым поэтом современности, много значило для Анатолия. Честно говоря, его редкие выезды из Ираёля при возможности бесплатного проезда (он же работал на ж/д) удивляли нас, его товарищей. Почему-то ему хотелось, чтоб его навещали мы. Тут была какая-то загадка, а, может, застарелая обида «провинциала» на «горожан». Хотя мы сами были провинциалами, тем более он себя никогда провинциалом и не считал. Тем более — человеком мира. Но повторюсь: с самой ранней молодости он осознавал себя только п о э т о м. И мы, сыктывкарцы, все его любили и признавали с первых стихов. А с прекрасным ухтинским лириком Анатолием Пашневым они были просто друзьями. Очень интересны были жаркие споры этих двух замечательных поэтов на жёсткие темы. Мне кажется, именно после одной из них могли появиться эти стихи:

О чём кричим мы год от года?
 Клянём: оковы, путы, тьма.
 Мне кажется: вокруг свобода
 И лишь внутри меня тюрьма.

Он очень глубоко переживал внутреннюю борьбу с самим собой и пытался найти свои ответы на мировоззренческие вопросы. О том и были его дискуссии с Пашневым.

Жалко, что все наши встречи были редки. Но его долгое «домоседство», безусловно, было ошибкой. Т.к., когда он, будучи уже серьёзно болен, выехал впервые в Ленинград, а потом в Бельгию и Францию, то очень многое для него прояснилось. И масштаб его творчества заметно

вырос, самостоятельность голоса стала ещё выразительней, а «внутренняя тюрьма» наконец выпустила на свободу сердце.

Заканчивая этот недолгий, но важный для меня разговор об Анатолии Илларионове, я должна подчеркнуть, что палитрой его творчества стала маленькая станция Ираэль со всеми её преимуществами и недостатками, а главной темой творчества исследование двух главных цветов жизни — Чёрного и Белого, на весах которых Ангел и Демон борются друг с другом. Задача художника по Илларионову — отстоять Победу Белого цвета. В этом ему помогли белоснежные снега Севера. И его непревзойдённая пластика. Певец Севера, наш Снежный Князь Анатолий Илларионов, поэт, не прочитанный Россией, не может оставить равнодушным ни одного читателя, серьёзно относящегося к поэзии. Да и просто любого читателя. Не могу не привести в подтверждение этих слов несколько моих самых любимых стихотворений:

* * *

И эта ночь, что нехотя настала
 С дремотой вод
 И изморосью трав.
 Черемуха, на изгородь упав,
 Как женщина, от красоты устала.
 И свет,
 Тот свет, который я люблю,
 Он звездный и речной одновременно.
 И этот сон у бденья на краю,
 И бархатное бормотанье пены...
 И куст ночной,
 Что над ночной водой
 Свой шорох дарит моему молчанию,
 Я свой восторг солью с его печалью,
 Бессонницу с бессонною звездой...
 Чу! Утренняя птица пробудилась,
 И кажется, что это только снилось.
 «И где мой след?» —
 Спрошу я белый свет.
 Там камни и черемуховый цвет...
 «И где моя заблудшая душа?»
 Там тихий-тихий голос камыша.

Думая о тайне поэзии Анатолия Илларионова, я прихожу к одному и тому же выводу: органично она следует путём русской сказки, чей ключ — иносказание. Главный смысл почти всех стихов поэта — между строк. И это небольшое по размеру посмертное издание стихов, любовно собранное другим замечательным поэтом, Андреем Поповым, при чтении становится таким весомым, что кажется, ты держишь в руках солидный том. Одно его стихотворение «Чёрное перо» включает в себя весь опыт жизни поэта.

И сегодня в каком-нибудь далеке живёт мальчик или девочка и бросает в мир такие же дерзкие строчки: «Я — Пушкин, Лермонтов и Блок». Или девочка соперничает с Ахматовой и Цветаевой. И слава Богу!

С появлением этого посмертного издания, избранного из всех прижизненных книг Анатолия Илларионова, я думаю, начинается вторая и уже бессмертная жизнь нашего земляка. Литературные критики разберут по строчкам его творчество. Читатели осветят улыбкой и окропят слезами страницы книги. А мудрая вечность вздохнёт с облегчением: «Свершилось. Наконец-то прочли и поняли». На всякий случай сам автор предостерёг нас, если что:

Но я не кулик болотный.
Я вечной зимы снегирь.

Что сказать тебе на прощанье, наш трудный друг Анатолий, наш Снежный Князь и чернорабочий жизни? Повторим твои умные и точные слова:

Поезд мчится
Самолёт летит.
Скорость соответственная веку.
Русская телега всё скрипит.
Потихоньку.
Не догнать телегу.

Стихи Анатолия Илларионова (1952 — 2008)

ПРО БЕЛУЮ РУБАШКУ

Надену белую рубашку,
Вернусь на двадцать лет назад:
Душа, как юность нараспашку,
Весна стучится в палисад.

Пусть за спиной моей судачат,
Пусть ветер дует мне в висок,
Я молод, весел и удачлив,
Я — Пушкин, Лермонтов и Блок!

У девушки коса по пояс,
Я эту девушку люблю.
Летит мой пригородный поезд
От Ираёля до Лемью...

И слёзы мартовских сосулук
Мне ни о чём не говорят,
И всё конечное «натюрлиг»,
Всего лишь двадцать лет назад.

Прошли года. Стихи в тетрадке.
Живу, как все,
Как все, дышу.
Рубашек у меня в достатке,
Но только белых не ношу.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ

В России дожди проливные,
 Деревнями осень бредет.
 Зовут в небеса позывные —
 Прощальный полет...

Прощальный
 не значит — последний,
 У песни есть новая жизнь.
 Кружись, мой листочек осенний,
 Держись, мое сердце, держись!

Кто в истины верит святые,
 К тому есть особенный счет.
 Простите,
 Мы люди простые,
 Мы — русский народ!

* * *
 Ты говоришь:
 «Живём не так».
 Мне скучно это слушать.
 Я вечером пошёл в кабаки,
 Я утром продал душу...

Ты говоришь:
 «Идёт гроза
 И ждать её нелепо».
 Я не хочу смотреть в глаза,
 Хочу смотреть на небо.

Ты говоришь,
 Ты говоришь...
 Вкус истин что-то горький.
 Езжай в Москву,
 Езжай в Париж,
 Оставь меня в каморке.

В каморке я окно протру
 И все дела заброшу.
 Потом — когда-нибудь — умру,
 Тебя не потревожу.

* * *
 И снова я душу гублю.
 Не жалко? Нет, все-таки жалко.
 Стихами я печку топлю.
 Не жарко? Нет, все-таки жарко.
 Судьба в чем-нибудь и права,
 Ведь все так случилось и прежде:
 Становятся пеплом слова
 О Вере, Любви и Надежде.

* * *
 Звёздный холод. Ночной небосвод.
 И никто за тебя не решает,
 Не торопит тебя, не мешает,
 Не морочит и вслед не плюет.
 Звёздный холод. Ночной небосвод.
 Можно с Тютчевым спорить и с Блоком,
 Можно думать, что все мы под Богом.
 И надеяться — Бог наш спасёт.
 Звёздный холод. Ночной небосвод.
 Можно верить, что время осталось,
 Пусть хоть самая малая малость.
 Загадать.
 И звезда упадёт.

* * *
 Полны озёра серебра,
 Тропа то заячья, то лисья,
 Слова осенние, как листья
 Летят с души,
 Летят с пера...

Пока тепло, и у осин
 Прозрачны лёгонькие блузки,
 И лебеди
 В рубашках русских
 Плывут в неведомую синь.

Полны озёра серебра,
 С душой ни сговора, ни сладу.
 И песне быть уже пора,
 Как стае птиц,
 Как листопаду

* * *

Николаю Рубцову

Моя звезда
 На месте неизменном.
 В полночный час
 Стою я не дыша,
 Как будто я один
 Во всей вселенной,
 И звёздным светом
 Полнится душа.
 Моим лесам,
 Дорогам и озёрам
 В полночный час
 Который снится сон?
 Как спичка, чиркнет
 Где-то поезд скорый,
 Но никого не потревожит он.
 И мне пора,
 Откинув все сомненья,
 Спать безмятежно
 В комнатном тепле...
 Но нет и нет
 Моей душе забвенья,
 Как будто нет
 Мне места
 На земле.

* * *

Как много хороших людей,
 Они не напишут ни строчки.
 Зачем им мои заморочки,
 Хorea и ямба репей?

 Зачем им полуночный дождь,
 В мой мозг забивающий гвозди?
 Зачем им похмельная дрожь,
 Они не случайные гости?

Не путают правду и ложь,
 Не сходят с ума потихоньку...
 «Я тоже бываю хорош!» —
 Кричу этим людям вдогонку.

* * *

Нет, я не в облаках витаю,
 Но звёзды ближе мне с земли,
 Когда я о любви слагаю
 Стихи негромкие свои.
 И жизнь моя тем и богата,
 Что всё познать пришла пора:
 И тяжесть лома и лопаты,
 И тяжесть лёгкого пера.

* * *

Лес похож на мудреца немного,
 Замер лес в преддверии весны.
 Где же то единственное слово,
 Что сильнее этой тишины?

* * *

Осень. Состарился лес.
 Обликом переменялся.
 Летний платочек небес
 Выгорел и прохудился.

Пусто, печально, просторно.
 Лишь одиноко кружа,
 Каркает горько ворона —
 Тоже живая душа.

* * *

Неровным почерком пурги
 Исчеркан белый ватман снега.
 Едва-едва слышны шаги
 Зверюшки или человека...

Зима вошла в свои права,
 Её сомненья не пугают,
 И белым облачком слова,
 Едва сорвавшись, замерзают...

Да и чего там говорить,
 И так всего мы наболтали.
 А просто надо печь топить,
 Да птицам хлеба крошить,
 Да не озлобиться в печали.

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

Трещат крещенские морозы.
 Ношу охапками дрова.
 Собака слизывает слёзы —
 Вот жизнь собачья какова...
 Топлю, топлю до иступленья,
 Чтоб стужу из дому долой.
 А печка жрёт и жрёт поленья,
 Кряхтит в кладовке домовой...
 Но вот и окна запотели,
 Тепло, какая лепота!
 К столу оладьи подоспели,
 Ай молодец, сковорода!
 Всего найдётся понемножку,
 Хозяйка в кухне ворожит.
 А мне — горячая картошка
 И двести граммов для души.
 К чайку душистая малина,
 Воспоминаний аромат...
 «Чай не попьёшь — какая сила?» —
 Не зря в народе говорят.
 Трещат крещенские морозы,
 Хрустит под валенками снег.
 От тягомотины, от прозы
 Передохни, мил человек

* * *

Мужик играет на гармошке
 Забытый вальс
 «Осенний сон»,
 Дымится на столе картошка,
 Слезится в банке самогон.
 Ему никто не подпеваает,
 Наверное, не знают слов.
 И тихо музыка слетает
 То ли с души,
 То ли с басов.
 Всё повторяется на свете,
 В огне страна,
 В крови трава,
 А значит, сиротенют дети,
 И забываются слова.

* * *

Я эту женщину любил,
 Она любви не понимала.
 Я эту женщину молил,
 Чтоб мне судьбу не доверяла.
 Я эту женщину терял
 И находил, как бы впервые,
 Я этой женщине шептал
 Слова бесстыдные, ночные...
 А женщина
 Она и есть
 То наважденье, то забава.
 А женщина
 Она и есть
 То наслажденье, то отравя.

* * *

Непридуманное горе,
 Неприкрашенная ложь,
 И действительно,
 Как море,
 Хочешь, а не разведёшь.
 Я усталыми руками —
 Оттолкнул,
 Оно мне вслед.
 Я весёлыми глазами —
 Посмотрел,
 Да мочи нет.
 Я иду себе по краю,
 Там где с белым — чёрный свет...
 Я, действительно, не знаю:
 Жить мне дальше или нет.

* * *

Светится берёза вдалеке,
 На душе легко,
 На небе чисто.
 Перекат играет на реке
 Хариусом, рыбкой серебрястой.
 Котелок на крыльях костерка,
 Дым земли на небеса стремится.
 Негасимый свет издалека,
 Дай мне сил
 Во тьме не оступиться.

* * *

Родина. Север. Глубинка.
Жив я, о жизни моля.
Каждая в поле травинка —
Словно кровинка моя.

Снова — знакомой дорогой,
Передохнув в шалаше.
Нет, моя жизнь не убога,
Если я с Богом в душе!

Речка за ельником влажным
Сладкой слезинкой блеснёт.
Горсть голубики от жажды,
Словно от смерти, спасёт.

* * *

Русское небо. Стожары.
Сыплется снег из ковша.
Тело становится старым,
Но не стареет душа.

Крутится-вертится глобус,
Быт с бытием говорит.
Вот и последний автобус,
Словно телега, скрипит.

Ночь по холодным дорогам
Долго бредёт по земле.
Люди, конечно, под Богом
Спят, словно угли в золе.

Всё в этой жизни недаром,
Спят они, бедные, спят...
Эх, как сверкают Стожары!
Тайну мою сторожат.

ТЕНИ

...И витают призрачные тени,
И сгорают бабочки в огне...
Помню, помню, что сказал Есенин:
«Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?»

Идол не сгубил, не спас мессия,
А поэту — пуля и петля.
Мать моя — великая Россия,
Родина несчастная моя!

Я другим, увы, уже не стану,
И не изменю свою судьбу.
Эх! Как кареокую Светлану
Я любил! И может быть, люблю.

Как и мне, кому-то очень плохо,
Но нельзя вести морщинам счёт.
Это просто жизни суматоха,
Улыбнитесь — вам и повезёт.

Все равно, за стенкою есть бесы,
Но на них есть ангелы с небес.
Я плутаю, потому что лесом
Я иду.
А вы ходили в лес?

Там витают призрачные тени
И сгорают бабочки в огне.
Там в строках моих стихотворений
Все уже забыли обо мне.

Елена Кондратьева-Сальгеро
(Франция)

Родилась в Москве. Окончила МГПИИЯ им.М.Тореза. С 1990 г. живёт во Франции. Публикуется в русскоязычных изданиях Франции и России.

Ученик чародея

В том отделении небесной канцелярии, где неуспешные охранники вечных истин ведут строгий учёт всех незаслуженно забытых и неведомых миру талантов, есть особый филиал для прошедших незамеченными в тени великих и знаменитых.

Там, среди тщательно проверенных реестров, под литерой «С», в безупречной каллиграфии глубокой печали, прописано имя Шарля Эдмэ Сен Марселя, с неоднозначной пометкой «ученик Делакура».

Сколько их, созданных на подмогу титанам и оставивших свой штрих на монументальных полотнах великих мастеров, без вести пропали в истории искусств, в силу веских причин или неудачно сложившихся обстоятельств...

У кого-то не хватило таланта, терпения или характера, пройдя достойную школу признанного гения, пробиться самому и завоевать себе имя не менее почётное.

Многих забыли безвременно и бесповоротно. Других бегло и равнодушно упоминают в перечнях учеников и сподвижников, чьи имена проскальзывают, не оставляя эха и следа, как конечные титры фильма на безучастном экране.

Крайне редки те, кому всё-таки немножко повезло: их заново заметили и заново открыли по какой-нибудь счастливой случайности. Надолго ли, окончательно, или всего лишь всплеском удачной выставки, которую забудут быстрее, чем растревоженные после долгого забвения экспонаты снова развезут по запасникам?

Очень обычная и грустная история...

Шарль Эдмэ Сен Марсель некоторое время посещал ателье Эжена Делакура, называл себя его учеником и был зарегистрирован таковым в нескольких тогдашних анналах, в чисто административных целях, например, при выдаче пропусков членам мастерской художника.

К формулировке «ученик» требуется только одна поправка: способности ученика достаточно скоро сравнялись с талантом учителя, обошли его каноны и двинулись в ином направлении.

Нет, конкурентом великому Делакура он не стал — не позволил характер, не пустили обстоятельства. Даже если достаточно скоро из «ученика» он превратился в полноправного и уважаемого «коллегу».



Автопортрет, 1850, частная коллекция

К его заслуженной репутации великолепного анималиста прочно прикреплено напоминание, что все основы этого жанра он освоил именно в мастерской Делакруа.

Но что сам по себе он был отменным портретистом, признавали ещё со времён его ученичества. Самый известный портрет самого Делакруа, по праву считающийся лучшим изображением художника, был сделан именно Сен-Марселем (тушь, бумага, г. Баённ, музей Бонна-Эллё, Bayonne, musée Bonnat-Helleu).

Но и в портрете он достиг вершин и снова двинулся совсем в другом направлении:

«Каким портретистом был бы Сен-Марсель, — с отчаянием восклицал критик Жорж Денуанвиль, — если бы он не ушёл в жанр пейзажа!»

А он ушёл. И очень скоро его стали называть «портретистом пейзажа». Compliment весьма достойный, вдумайтесь: из обыкновенного вида сделать портрет...

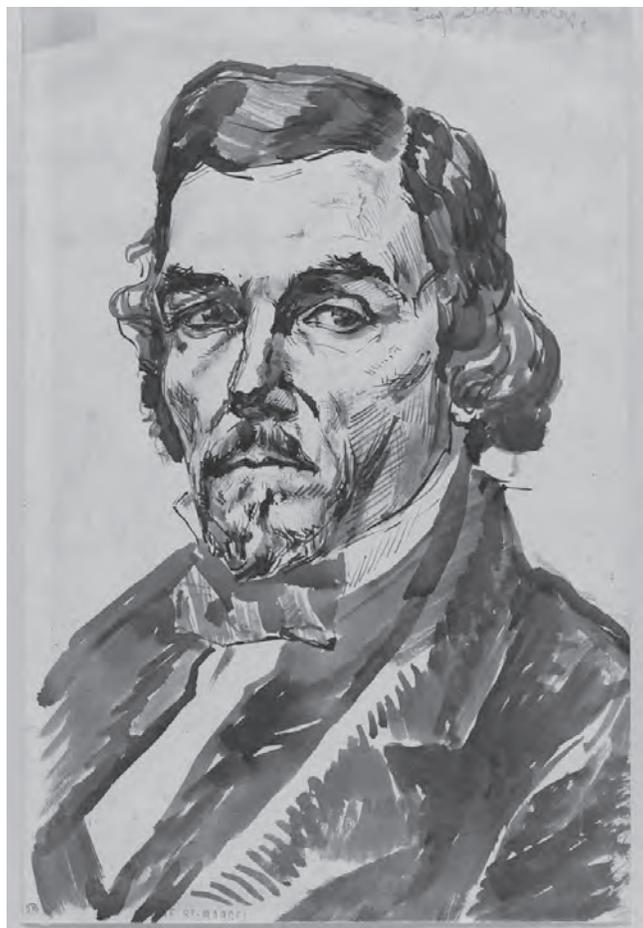
Начало второй половины XIX века вообще считается отправным этапом некой «артистической реформы»: после традиционного классиче-

ского, передовую прочно занимает «реалистический» или «натуралистический» пейзаж как абсолютно самодостаточный, а не служащий фоном центральным персонажам. Некоторые искусствоведы называют этот этап «пришествием пейзажа», и в категории «Римского приза живописи» даже учреждается особый «приз исторического пейзажа» в 1816 г.

Самый дотошный комментатор личного дневника Делакруа Поль Флат пишет, что мэтр иногда заимствовал наброски Сен Марселя, чтобы переделывать их на свой лад, сохранив подмеченную Сен Марселем фактуру...

Если сам Чародей колдовал по формулам своего «ученика», значит дар этого последнего не копировал учителя, но развивался параллельно...

Его ценили, но ему не везло. Не «бурно и многострадально» не везло, в общих канонах артистических несчастий, с лишениями и личными трагедиями на разрыв аорты, а не везло как-то глухо, серо и рутинно: когда все стоящие ценители признают талант, выражают восторг... и проходят мимо.



Портрет Эжена Делакруа, после 1862,
Байонн, музей Бонна-Эллё (фото, частная коллекция)

Так бывает гораздо чаще, чем кажется, потому что чаще, чем хотелось бы, даёт сбой великая иллюзия о том, что «настоящий талант всегда пробы́т себе дорогу сам». Ах, если бы, ах, если...

С 1848 г., Сен Марсель будет регулярно представлять свои работы в знаменитом парижском «Салоне» (тушь, акварель, графитный карандаш, сангина), в течение почти сорока лет, но, при замечательных отзывах специалистов, так и останется невостребованным.

Свою единственную награду он получит в городе Мелоне, в 1864 г., за картину «Волчья тропа в лесу Фонтенбло, зима», которую купит французское государство в 1868 г.

Изначально достаточно нелюдимый по натуре, страдающий неврастенией, с годами он окончательно уйдёт в себя, поселится в одном из самых живописных городков, недалеко от Парижа — Фонтенбло, знаменитом окрестными лесами, с сочной зеленью и прямо-таки экзотическими валунами. (В 1861 г. леса Фонтенбло стали одним из самых первых мест в мире в категории «охраняемый ландшафт»).

Совсем рядом — ещё более знаменитый Барбизон, вдохновивший и обосновавший целую школу замечательных мастеров. Видимо, всё-таки, не случайно.



Дорога в лесу (частная коллекция)



Прачки (частная коллекция)

Пейзаж окончательно вытеснит из его работ и портрет, и анималистику... Но все эти жанры именно в совокупности запечатлят образ художника в памяти коллег, любителей и редких исследователей...

Сам он незаметно, но верно отстранится практически от всех и окончательно затеряется в этой жизни, никому о себе не напоминая.

Потому и так мало достаточно чётких сведений о достаточно длительном периоде его существования. И потому же так много утерянных и до сих пор где-то странствующих его работ. По отголоскам некоторых исследований, многие из зарисовок Сен Марселя вполне могут храниться в так и не разобранных до конца архивах Делакура, в собрании петербургского Эрмитажа...

Угас он в Фонтенбло, сильно ослабевшим, практически незамеченным и не оплаканным.

Над обстоятельствами его кончины до сих пор клубятся густые сомнения, то и дело принимая форму мрачных легенд: говорили, что он застрелился из-за застарелой ипохондрии, запущенной лёгочной болезни, всё ухудшавшихся проблем со зрением, от полного и отчаянного одиночества. Но ни одна из этих догадок пока не находит подтверждения. Он действительно страдал катарактой, но до конца жизни сохранил ничуть не изменившийся великолепный почерк, а значит, видел и мог писать.

Вся его последняя корреспонденция, несмотря на частые, но не настойчивые жалобы на здоровье, отнюдь не предполагает такого полнейшего отчаяния, которое объяснило бы столь трагический исход.

А редкие исследователи его творчества до сих пор не докопались до самых низов местных полицейских архивов, чтобы, наконец, поставить твёрдую точку под заключением всех сомнений.

Но вот, представьте себе, взялись раскапывать именно сейчас, когда, казалось бы, срок давности и груды забвения поверх этой до сих пор никем не



Львиная голова, офорт, 1874, частная коллекция

замечаемой судьбы уже окончательно решили её предназначение — для вечных запасников учеников чародеев.

И даже расписанный им когда-то потолок одной из городских беседок был безобразно замазан белилами во время «обновительных работ»...

Может, и пусть покоится с миром, в неизвестности, этот сам себя задушевавший собственным характером человек, по эскизам которого работал иногда великий Делакруа?

Шарль Эдмэ Сен Марсель (1819—1890). Забудем это имя вместе с сопутствующими его истории датами?..

Талантливый неврастеник, выпускник колледжа Генриха IV, одного из самых престижных учебных заведений Франции, водивший знакомство с такими мастерами, как Т.Руссо, Ж.-Ф. Мийе, Диаз (барбизонская школа), с известнейшими искусствоведами и писателями своего времени, он ушёл, никого не потревожив, с присущей его кисти деликатностью...

Оставил обрывки туманных сведений о себе и растерянные по миру работы.

Говорят, что неврастения его уходит крепкими корнями в глубокое детство. В трёхлетнем возрасте он потерял отца. Троих детей (Шарль-Эдме был средним) мать воспитывала в Париже. Старший брат впослед-

ствии станет врачом. А младшая сестрёнка умрёт от «лёгочной болезни» в совсем юном возрасте. Эта трагедия навсегда останется «чёрной меткой» в его природной мнительности и обозначит его характер на всю последующую жизнь: с 14 лет его придётся лечить от того, что называлось в то время «ипохондрией» и находилось в ведомстве психиатров (он постоянно испытывал предчувствие «скорой смерти»). Лечил его известный врач и историк медицины К.-Ф. Мишеа.

В Фонтенбло он переедет на постоянное жительство не только из-за пейзажных красот, но и ради того самого чистейшего лесного воздуха, действительно лечащего одновременно его слабые лёгкие и сильную болезнь что-нибудь лёгочное подцепить...

По свидетельствам всех близких и знакомых, окрестные леса Фонтенбло были единственным местом, оказывающим на него по-настоящему целебное воздействие и успокаивающим приступы беспричинного страха.

В этих пейзажах, в сочном тумане красок и штрихов, всегда одна и та же, как зеркало собственной судьбы, определяющая тематика: дорога, уходящая за горизонт.

Когда ему случалось почувствовать кризис, он уединялся по своим любимым тропинкам и бродил часами. С мольбертом или без. Уходил всё дальше и дальше вглубь. Забывал. И его забывали...

Здесь история прерывается и на долгие годы залегает в сумрак чужих подвалов и пыль безвестных чердаков, рядом с картонными коробками, полными анонимных карандашных эскизов, и папками, разбухшими от зарисовок забытых талантов и безразличной к ним сырости...

Пока уже в наше время, в нашем веке, в одной стильной и благополучной семье, щедро переполненной художниками и архитекторами, подрастает мальчик. У мальчика обычное имя — Серж Вассер. Мальчика учат рисовать и для наглядности достают из семейных архивов пожелтевшие от времени хрустящие листы, облагороженные незнакомой рукой:

«Смотри, как здесь выписана львиная лапа... Заметь, куда ложится блик на лошадином копыте... Посмотри, какой тонкой тушью переплетён этот куст... Старайся максимально подражать этой кисти! Этот почерк — гарантия отменного вкуса и великолепной техники!»

Мальчик внимает и растёт. Хороший вкус прибывает вместе с любопытством. Почему в семье, переполненной архитекторами и художниками, его учат рисовать по чужим эскизам? Потому что и дед, и отец считают, что эти работы — эталон.

Эти работы деду подарил безвестный художник, когда-то побывавший учеником «большого мастера», который когда-то тоже считал себя учеником ещё большего мастера, настоящего, всеми признанного чародея — Эжена Делакруа.

Дедов друг, безвестный художник, говорил, что его учитель, Шарль Эдме Сен Марсель, необыкновенно талантливый и столь же несчастный человек, ушёл безвременно и безрезультатно, оставив всего лишь двух учеников, ни один из которых так и не вышел в мастера.

Будто доступ к самому скромному, но заслуженному успеху, да и к простой известности, этому человеку и всем его последователям был заговорён...

А мальчик Серж растёт и вырастает в солидного, уже не слишком молодого человека, умудрённого многими добродетелями и верной памятью. Поэтому, когда он в свою очередь наследует разбухшие папки и снова запылившиеся коробки с эскизами каранадашом, тушью, сангиной, старые картины в растрескавшихся подрамниках, рассыпающиеся под пальцами хрустящей желтизной письма — он, конечно, узнаёт ту самую львиную лапу и отливающее графитным блеском копыто, которые когда-то так тщательно пытался скопировать, закусив от усердия губу...

Несколько лет упорных и активных исследований, разъездов, расспросов, запросов и открытий, где старые слухи тащат на свет новые подробности, а те, в свою очередь, ведут к новым догадкам — как в той самой вечной перспективе на его знаменитых пейзажах: тропа, уходящая за горизонт...

Результат на сегодня — уникальная выставка работ и удивительных личных вещей (вплоть до чудес таксидермии!) в замке старинного города Немур, откуда, возможно, и начнётся тихое возрождение.

В проекте — серьёзная монография, новые поиски и новые выставки, надежда на новые открытия и растущий интерес. Ведь если сразу несколько прекрасно сохранившихся работ Сен Марселя отыскались в запасах Лувра, то почему бы не пересмотреть неразобранные до конца архивы Эрмитажа и не пополнить и его коллекцию?..

Шарль Эдме Сен Марсель. Если вы запомните это имя, пожалуйста, не забывайте и о том, сколько без вести канувших талантов по сей день могут пылиться в невзрачном хламе старых чердаков и пахнущих воском антикварных магазинчиков.

Не побрезгуйте своими руками отряхнуть и своими глазами рассмотреть. Всякое бывает.

PS. Редакция благодарит господина Сержа Вассера за предоставление фотоматериалов и другой важной информации для этого рассказа / La rédaction remercie Mr Serge VASSEUR pour son aimable aide quant aux archives photographiques et autres informations importantes.

Михаил Бударагин
(Россия, Москва)

Главный редактор сайта «Русская беседа». Главное, что происходило с автором — литература (то есть умение жить в тексте) и история (то есть умение жить с оглядкой на будущее). Главное достижение — воспитание сына. Самое важное — чувствовать ток времени, биение его сердца и ветер его перемен. Единственная цель — умение выходить из медитации прямо в мартеновскую печь. Единственный совет, который автор может дать читателям — обливаться с утра ледяной водой. Каждый день. Воля и терпение — чего нам уметь ещё?

Блаженный, алчущий, живой

Есть люди быстрого времени, которые бегут, берут и делают, открывают, рубят лианы и лежат в окопах где-нибудь в Испании, но есть и другие, люди времени медленного: они стоят молча у разобранного паровоза, сидят над водами большой русской реки, решают старинную теорему или молятся Богу. Веками два этих типа сосуществуют, не особенно мешая друг другу, но иногда случается так, что само время толкает их друг другу навстречу, и тогда на свет рождается кто-то живущий внутри своей собственной скорости, плывущий не вместе с быстрым или медленным течением, а туда, куда ему нужно. Этот особый тип людей — пасынки эпохи, всем чужие дети и странники взрослой жизни — в русской поэзии XX века представлен одним человеком. Он, Вениамин Айзенштадт, называл себя «Блаженным», и этот рассказ будет о нём.

Вениамин Блаженный умер очень тихо, в 1999 году, в Москве, никому не известным пенсионером: он пережил Советский Союз, пережил свои стихи, пережил самого себя и, кажется, так и не нашёл ни одного ответа. Он совсем перестал задавать вопросы, сидел и переглядывался с главным своим адресатом, и в этом молчании было столько ветхозаветной правды, что тени Ионы, Иова и Иакова вставали в полный рост, и, кажется, кивали согласно.

Вениамин Айзенштадт родился в 1921 году в Оршанском уезде Витебской губернии, и его обычная биография скудна и проста, приключенческого романа не напишешь. Он работал учителем, на фронт не попал, а после войны был переплётчиком, художником комбината бытовых услуг, фотографом-лаборантом в артели инвалидов. Его первые стихи написаны в 1943-м, впервые Блаженного опубликовали в 1982-м (через 39 лет, это, пожалуй, рекорд); а дебютная книга вышла в 1990-м, за девять лет до смерти.

Духовная биография нашего героя — долгое путешествие от Айзенштадта к Блаженному — заняла не так много времени и закончилась, кажется, полным, тотальным, безысходным поражением. Уже молодым человеком он на-

ходит главную свою тему, единственную свою интонацию и самый важный свой вопрос, который звучит вызывающе для мира, где, согласно Фридриху Ницше, «Бог умер»: «Господи, как понять твою любовь?»

На каком языке мне беседовать с Богом?..
 Может быть, он знаком только зверям и детям,
 Да ещё тем худым погорельцам убогим,
 Что с постылой сумою бредут на рассвете...
 Может быть, только птицам знакомо то слово,
 Что Христу-птицелюбу на душу ложится,
 И тогда загорается сердце Христово —
 И в беззвёздной ночи полыхает зарница...

Животные занимают в поэзии Блаженного центральное место. Людей автор понимает не вполне, и в их связь со Всевышним не верит, и именно потому его моление — это

Моление о кошках и собаках,
 О маленьких изгоях бытия,
 Живущих на помойках и в оврагах
 И вечно неприкаянных, как я.

Алканье Блаженного смотрится очень непривычно. Он год от года вызывает к Всевышнему, описывая, складывая в каталог, препарируя Божий мир: «Посмотри, каково оно?» Далёкими тропами и урочищами идёт лирический герой: бродяга, нищий, юродивый, дерзающий... бороться с Богом за Его любовь. Нет, восклицает Блаженный, меня ты любишь меньше, чем робких своих тварей, побитых собак и одиноких птиц, и я хочу знать, что случилось с Тобой?

Я к Богу подойду на расстоянье плача,
 Но есть мышинный плач и есть рыданье льва,
 И если для Христа я что-либо да значу, —
 Он обретет, мой плач, библейские права...

Я к Богу подойду в самозабвенье стона,
 Я подойду к нему, как разъярённый слон,
 Весь в шрамах грозových смятенья и урона, —
 Я подойду к нему, как разъяренный стон...

Но есть и тишина такой вселенской муки,
 Как будто вся душа горит в её огне, —
 И эта тишина заламывает руки,
 Когда ничто, ничто ей не грозит извне.

Как настоящий человек своего собственного времени, Вениамин Блаженный не стесняется повторить вопрос, отложить его лет на десять и задать снова. Когда борешься с Богом, не имеет никакого значения, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе». Время одно и то же, и если бы поэт, как это случалось с библейскими патриархами, прожил сотню лет, то и на их исходе он говорил бы всё о том же и все теми же словами.

Поэт задаёт совершенно новую для XX века, где массовые убийства мало кого могли всерьёз удивить, планку притязаний: он возвращается на пустынную гору и всю ночь стоит в борении с Ним, чтобы показать всю меру своей любви. Борьба в эпоху, когда все били всех по любому поводу, кажется прямым отрицанием всепримиряющего гуманизма, когда единственной гарантией от явления нового Гитлера, становится принудительное равенство и тождество всех со всеми. Блаженный вызывающе неполиткорректен: он свято чтит иерархию, в которой занимает, как потерявший всё Иов, самое последнее место, рядом с пауками и змеями. И от этого дна он отталкивается, чтобы в долгом путешествии, полном боли и гнева, вернуть себе образ и подобие.

Если ты не борешься с Богом, то чем ты заслужил быть человеком? Сам Блаженный, ответа на свой главный вопрос так и не получивший, был о себе весьма скромного мнения, и его сравнение со сверчком — не традиционное «унижение паче гордости», не кокетство, а правда. Ты, и впрямь, сверчок, и твой шесток выглядит именно так, как описано:

Когда я вслушиваюсь в вечность,
Я понимаю, что я плут
И, как сверчок в углу запечном,
В своём бесчинствую углу.

Но что мне музыка вселенной,
Ее смятение и жуть?..
Я в глухоте самозабвенной
Одну лишь ноту вывожу...

Кажется, что Блаженного стоило бы пожалеть, но сам он был против. Скучная жизнь, скажет читатель. Странные стихи, скажет критик. Ни подвигов, ни славы, скажет пристрастный поклонник.

Не жалейте меня: я и сам никого не жалею,
Этим праведным мыслям меня обучила трава,
И когда я в овраге на голой земле околею,
Что же, — с Господом-Богом не страшно и околевать!..

Так отвечает Вениамин Блаженный, открывший и описавший важную тайну века, выстроенного на ложной борьбе противоречий. Кажется, что

сложный выбор состоит между расовой теорией, согласно которой те, кого мы назовём «белыми», получают всё, и жестоким гуманизмом, согласно которому выше головы не прыгнешь, но на самом деле это не так. Выбор для Блаженного один: между Раем и Адом, всё остальное — компромиссы.

И главная сложность — увы, в том, что нет никаких гарантий. Ни место и время рождения, ни духовные подвиги, ни хорошие стихи, ни дерзание — ничто не гарантирует тебе Рая, а что гарантирует — Бог весть. Заслуги не идут в зачет, страдание не открывает дивный новый мир, любовь к людям не значит, что ты хороший человек, путешествие с сонмом животных не делает тебя Франциском Азисским, любая твоя рефлексия о самом себе смехотворна.

Воскресшие из мёртвых не брезгливы.
 Свободные от помыслов и бед,
 Они чуть-чуть, как в детстве, сиротливы
 В своей переменившейся судьбе.

Вениамин Блаженный умер, время снова разделилось на быстрое и медленное, и некому пока спросить Всевышнего о самом главном. Борьба машинной эффективности и человеческой чувственности, столкновение будущего и традиций, схватка за прошлое — все это оставляет равнодушным всякого, кто прочёл однажды горящие неведомой яростью стихи человека, который осмелился выйти один-на-один с Богом. Это свято место пока ещё пусто, но занять его не возбраняется никому.



© Художник Андрей Карапетян

**Галина Гужвина
(Франция)**

Родилась в 1979 году в Подольске Московской области. С отличием закончила СУНЦ МГУ им. академика А.Н. Колмогорова и мехмат МГУ им. Ломоносова. Защитила кандидатскую диссертацию по дифференциальной геометрии в университете города Мюнстер (Германия). С 2008 года живёт в Лионе (Франция), преподаёт математику в Политехническом Институте (Эколь Централь). На общественных началах работает в Институте Кино имени братьев Люмьер, публикуется на сайтах кинокритиков. Владеет английским, французским, немецким и итальянским языками.

Паразитизм культуры. О незаметных влияниях и влиятельной незаметности

В одной из ранних версий набоковского «Отчаяния» главный герой в ответ на вопрос о стимулах собственного писательского зуда сквозь зубы отвечал: «Тщета и нищета». Их «змеящиеся, как несущие пилоны шипящих, вешности и сущности» более всех преследовали и мучили набоковского отчаявшегося двойника (поскольку все выдуманно-выморочные литераторы у него — это его собственные, выпущенные на волю из обременённой низменным души недотыкомки), от них же, не признаваясь в этом явно, более всего страдал и сам автор. Мне вообще странно, насколько редко творческий путь Набокова рассматривают через эту, пусть и не самую завлекательную для читателя, но очевиднейшую для исследователя призму. Виной тому, конечно, набоковское холодно-эстетское самопозиционирование, категорический отказ жаловаться, отторжение жалости к себе в других и, да, смывший все следы золотой дождь, пролившийся на него на склоне дней. Между тем на протяжении основной части жизненного пути не было в русской эмиграции писателя, настолько несправедливо — если принять во внимание феноменальную яркость его талантов, работоспособности и общего уровня формального образования и реальной культуры — обделенного деньгами и успехом.

Набокова лелеяли в узком кружку, но простой читатель его (не без взаимности) чурался. «Я спросила о Сирине, — передает Галина Кузнецова свой разговор с заведующей русской библиотекой в Ницце, — Мне сказали: берут, но немного. Труден. И потом, правда, вот хотя бы "Машенька". Ехала, ехала и не доехала. Читатель таких концов не любит». Пойти же в обыденно-хронофажье услужение в обмен на жалованье было бы предательством дара, ещё в берлинском двадцать пятом Набоков пишет: «Нищетою необычной на чужбине дорожу, утром в ратуше

кирпичной за конторкой не сажу...» Но и в единственном, кроме писательства, приемлемом для него роде деятельности Набокову фатально не везло: за пятнадцать лет скитаний по американским университетам он, уже сформировавшийся писатель, выпускник Кэмбриджа, владеющий английским, как родным, так и не сумел зацепиться за постоянную академическую позицию, тогда как люди, не окончившие в России даже гимназии и ничему не учившиеся после, получали теньюры по славистике направо и налево (уже потом, после «Лолиты», Набоков удовлетворенно оттоптался на этом аспекте системы американского рекрутинга в «Пнине»: «...куда уж там было соперничать с теми поразительными русскими дамами, рассеянными по всей академической Америке, которые, не имея никакого специального образования, как-то умудряются, однако, при помощи интуиции, болтливости и какого-то материнского наскока внушить группе ясноглазых студентов магическое знание своего трудного и прекрасного языка в атмосфере песен о Волге-матушке, красной икры и чая...»)

Набоков вообще являет собой поразительный и редкий, если не сказать уникальный пример человека, которому удалось за волосы втащить себя в клуб житейски успешных благодаря скрупулёзному, детальному, энтомологическому почти изучению там каким-то образом, чаще всего помимо своих сознательных усилий, обосновавшихся. Счастливчиков, напоказ упивающихся своею недавнею и оттого ещё более отвратительною сытостью — и «блестящего бряцанья их модных лир». С особенно брезгливой пристальностью изучал он коммерчески авантажную изящно-дамскую прозу, которую всегда не без явной ревности презирал, называя её то «слишком чувствительно запахнутой на левую сторону», а то и вовсе «похожей на выскобленных из их трепещущих утроб зародышей». Внутреннее отвращение от пишущих дам оказалось в Набокове настолько сильно, что он не погнушался и прямыми вторжениями в их творческие уголья, полагая охоту там не браконьерством, но восстановлением истинно-собственнических прав.

Вдохновлялся Набоков закономерно тем из дамского наследия, что по разным причинам оставалось *undered and underated*. Так, признавая (нехотя) из модернисток Элиот и Мэнсфилд, он нигде не упоминает об Эдит Уортон, между тем поэтिका уортоновского «Лета», тяжелые поздней похотью смутно-инцестуальные томления отчима по падчерице, этому «нераспустившемуся, бледно-зеленому, с самой нежнейшей розоватой каймой бутону», и её гадливость, смешанная с собственными томлениями — уже по кричаще-вульгарной яркости города, и брызги из поливалки на чуть загорелой коже, и липкие столы кафе не по карману — всё это настолько буквально иногда совпадает (атмосферно, мизансценно, стилистически даже) с соответствующими пассажами «Лолиты», что в незнание Набоковым текста «Лета» поверить сложно. Впрочем, если влияния

забытого романа Уортон на «Лолиту» можно списать на совпадение, на рассеянное прочтение-пролистывание с последующим забыванием случайно попавшего под руку фолианта, то сюжетно-композиционное сходство скандальной набоковской «Ады» с малоизвестными «Паразитами» Дафны Дюморье делает гипотезу не-знакомства, не-прочтения Владимиром Дафны совсем маловероятной.

К моменту выхода в свет «Паразитов» в 1949 году Дафна Дюморье уже была всемирной известной, повсеградно (и не кем-нибудь, а самим Хичкоком) обэкраненной, миллионными тиражами издаваемой звездой от литературы — со своим плагиатным скандалом за плечами. Во многом автобиографический роман был первой её попыткой отойти от готического формата в то, что она называла миром привилегированной обыденности, написать, наконец, о себе и людях, с которыми её сталкивала собственная пёстрая судьба. Читатель этой попытки не оценил, «Паразиты» остались единственным коммерчески провальным проектом Дюморье, однако исследователи её творчества (Маргарет Форстер, Дэвид Бретт) неизменно отмечали его чисто литературное, выходящее за все меркантильные соображения качество.

Паразитами называет один из второстепенных персонажей отпрысков семейства Деланей, двух практически одновозрастных сестёр и брата, сложно, но не кровно связанных между собой поздно поженившимися звёздными родителями (отец — оперный певец, некоторыми деталями списанный с Карузо, мать — тонкая танцовщица, харизмой, внешностью и смертью отсылающая к Айседоре Дункан). Молодые Деланей унаследовали какие-то спитые остатки родительских талантов: одна из дочерей, красotka, стала, благодаря имени и самоуверенности, популярной актрисой, другая, выбравшая тень и безвестность под видом заботы о семье, оригинально рисует, брат сочиняет музыкальные шлягеры, живущие неделю-две, а потом растворяющиеся в небытии. Но главное — не это. Их троица, выросшая без руля и без ветрил, без строгих, обычных для детей эпохи интербеллума, правил, в «Восточных Экспрессах», за театральными кулисами, в фойе отелей сети «Ритц», сама того не желая, создает, где бы ни находилась, собственный мирок, в который чужие допускаются лишь в виде поставщиков жизненных ресурсов и самих ресурсов для прожорливых, жадных для жизни Деланей, в полной невинности своей назначивших себя вершиной пищевой цепи. Доходящий до инцеста инбридинг Деланей при всей своей извращённой болезненности является залогом их выживания — за счёт окружающих, попавших в сферу их вязко-аморального шарма.

Вселенная набоковской «Ады» копирует семейство Деланей практически буквально, с поправкой на время и тщательно культивируемую автором скандальность. Семья Винов столь же этнически сложна, столь же заведомо привилегирована, и безучастность её к тем, кем она ужинает — столь

же всеобъемлюща. Мать там тоже летает в комбинашке по подмосткам, и отец (биологический, не материально обеспечивающий) там — тоже Демон, и сёстры не по-сестрински льнут к брату, разве что инцест у Набокова — без брачно-документальных оговорок настоящих, да избыточность повествовательной сложности, рифмующая избыточность авторского мастерства, перехлёстывает через стройные рамки женского романа, размывая канву до кажущейся сбитому с толку читателю неузнаваемости. Но канва остается канвой. И эмигрантская проголодь, даже и будучи утолённой, взыскует сытой, безмятежной, всецело подчинённой творчеству личности — причём непременно тогда, в разменянной на мебелирашки юности. Которую не вернуть. И в этом паразитизм культуры — самого высокого пошиба.



© Художник Андрей Карапетян

Елена Албул
(Россия, Москва)

Поэт, музыкант, модельер, дизайнер. Родилась и живёт в Москве. С отличием окончила ГМУ им. Гнесиных (специальность — скрипка) и МУК швейного производства (специальность — модельер-конструктор). Лауреат национальной премии «Поэт года 2014» в номинации Детская литература. Победитель телевизионного конкурса «Вечерние стихи 2014». Дипломант Всероссийского фестиваля юмористической и сатирической песни и поэзии «Ёрш 2015». Участница Форума молодых писателей Фонда СЭИП.

Публикации в «Литературной газете», журнале «Мурзилка», различных альманахах, интернет-журналах «Русский переплёт», «Электронные пампасы», «45-я параллель», на множестве сайтов для детей и их родителей.

Книга стихотворений для детей «С точки зрения Вари и другие стихи» вышла в 2016 году в издательстве Российского союза писателей.

Стихи для детей — взгляд в формате 3D

Улюбой медали есть две стороны, у любого предмета разговора — тоже.

А не попробовать ли представить нашу тему — стихи для детей — в актуальном нынче 3D формате? Посмотреть сначала на тех, кто стихи для детей пишет, затем на тех, кто их читает (или не читает), и, наконец — ап, медаль встаёт на ребро! — на тех, кто их издаёт?

Рискну. Хотя картина, конечно, полной не будет.

Кто из нас не вырос на стихах дедушки Корнея? Кто не плакал над судьбой зайки, которого волею Агнии Барто бросила хозяйка? Кто не волновался за глупого капризного маршаковского Мышонка?.. Как, «Сказку о глупом Мышонке» знают не все? Но уж фамилия-то Маршака, как и Чуковского и Барто, известна каждому, включая бездетных и ненавидящих стихи в принципе. Эти три фамилии — практически три источника нашей детской поэзии. Но для многих они по сей день остаются и тремя её составными частями. Остановите любую маму с коляской, попросите назвать трёх детский поэтов — в подавляющем большинстве случаев в ответ будут названы Чуковский, Барто и — после паузы — Маршак. Если ребёнок уже не в коляске, а на трёхколёсном велосипеде, могут появиться и другие ответы. Но первый вариант всё равно будет лидировать с громадным отрывом. И это несмотря на то, что поэтический пейзаж для детей сейчас богат и интересен, как никогда.

Блистательный Андрей Усачёв, яркая и остроумная Марина Бородицкая, совершенно бесподобный Михаил Яснов, изобретательный Виктор Лунин, жизнерадостная Римма Алдонина... здесь я, пожалуй, остано-

люсь, потому что, как ни старайся никого не упустить, обязательно услышишь «А почему не упомянут... не названа... не сказано о...?» — и т.д. А как быть, когда составных частей детской поэзии сейчас не три, а уже, наверное, и не тридцать три? И, что главное, это именно Стихи — Стихи с большой буквы, обладающие глубоким смыслом, написанные со вкусом и мастерством и интересные как маленьким, так и большим читателям. Да вот, для примера, «Улитка» Андрея Усачёва.

Дождик лил как из ведра.
 Я открыл калитку
 И увидел средь двора
 Глупую Улитку.
 Говорю ей: — Посмотри,
 Ты ведь мокнешь в луже...
 А она мне изнутри:
 — Это ведь снаружи!
 А внутри меня весна,
 День стоит чудесный! —
 Отвечала мне она
 Из скорлупки тесной.
 Говорю: — Повсюду мрак
 Не спастись от стужи! —
 А она в ответ: — Пустяк.
 Это ведь снаружи!
 А внутри меня уют:
 Расцветают розы,
 Птицы дивные поют
 И блестят стрекозы!
 — Что ж, сиди сама с собой
 Я сказал с улыбкой
 И простился со смешной
 Глупенькой Улиткой...
 Дождь закончился давно.
 Солнце — на полмира...
 А внутри меня темно,
 Холодно и сыро.

Это детское стихотворение? Да, конечно. Да только каждому взрослому стоит выучить его наизусть и почаще повторять — для формирования правильного отношения к трудностям жизни.

А ведь есть ещё, как принято говорить, целая плеяда молодых поэтов; молодых, но начинающими их не назовёшь — у них великолепные стихи.

Посмотрите, как чудесна «Пальчиковая колыбельная» Анастасии Орловой:

Пальцы-пальцы-рисовальцы,
 Ночь идёт опять.
 Спите, первооткрывальцы —
 Время засыпать.
 Все тревоги занавесят
 Тени на стене,
 Отдыхайте, мои пальцы,
 Трогательные.
 Отдыхайте, отдыхайте
 В тёплых кулачках.
 Засыпайте, засыпайте
 На подушечках.
 Пальцы-братья,
 Пальцы-птицы,
 Пальцы-лепестки —
 Сберегайте, охраняйте
 Линии руки.
 Завтра утро, завтра солнце
 Будет тут как тут,
 Встрепенутся братья-птицы,
 Руки расцветут.
 А пока пусть сладко спится,
 Пусть летит земля,
 Пусть как можно дольше длится
 Колыбельная.

А вот ироничная Наталия Волкова ловко жонглирует яйцами, а заодно и главным прилагательным нашего времени в стихотворении «Водные процедуры».

Три яйца,
 встав на бортик кастрюли,
 В кипяток
 по команде нырнули.

 Совершали в воде
 Процедуры
 Для своей
 Яйцевидной фигуры.

 — Я сварилось!
 Бросаю зарядку! —
 Прокричало яйцо.
 То, что всмятку.

— Дайте воздуха свежий глоточек! —

Подскочило другое.

В мешочек.

Только третье
в кастрюле осталось

И в бурлящей воде

Бултыхалось.

В восхищении замерли двое

И воскликнули: «Да-а-а,

Ты — крутое!»

А вот идёт в шубе Галина Дядина, и это только на первый взгляд просто шуба и просто поэтесса. На самом деле в этой шубе спрятан целый мир!

Вот иду я в шубе

Вот иду я в шубе,
А под шубой — кофта,
А под кофтой — майка,
А под майкой — сердце.
А у сердца слышно,
Как стучат колеса,
И оно, как поезд
Пассажирский мчится.
И в его вагонах
Нараспашку окна,
Нараспашку двери,
Нараспашку люди.
И у них, конечно,
В чемоданах море,
Корабли и чайки,
Облака и песни.
Потому что в сердце
Им тепло под майкой,
Им тепло под кофтой
Им тепло под шубой.

Чудесные стихи, правда?

Наше время богато на различные премии, фестивали и конкурсы, и многие современные детские поэты увенчаны всяческими лаврами. Каждый год зажигается легендарный костёр в Переделкино — это ждёт своих участников Чукфест, фестиваль Чуковского. Скоро в шестнадцатый раз откроется Форум молодых писателей, что был неразрывно, казалось бы, связан с подмосковными Липками, но переехал теперь в Звенигород — там, на

Форуме, получают путёвку в литературную жизнь молодые авторы и оттачивают мастерство авторы уже состоявшиеся. Регулярно вручаются премии имени литературных титанов прошлого — Чуковского, Маршак, Михалкова... Словом, современный молодой детский поэт — это ещё и неоднократный лауреат, причём лауреат совершенно заслуженный, как можно убедиться на примере вышеприведённых стихотворений.

А теперь посмотрим, как обстоят дела с читателями этих замечательных стихов. Это вторая сторона предмета нашего разговора. Для этого вернёмся к маме с коляской — или с трёхколёсным велосипедом — и зададим ей другой вопрос: что она читает своему маленькому велосипедисту?

Мамы, конечно, бывают разные. Не буду упоминать тех мам, чьи профессии связаны с литературой тем или иным боком — за их детей, думаю, можно не волноваться. Но и не связанные с миром литературы активные мамы, случается, обсуждают в социальных сетях детские книжные новинки. Однако даже и эти мамы, отвечая на поставленный вопрос, упоминают о стихах в последнюю очередь. Если упомянут вообще.

Как правило, читают сначала маленькие сказочки и крошечные рассказы, потом сказки и рассказы подлиннее; переходят, наконец, к главному литературному жанру нашего времени — фэнтэзи, а тут уже и школа, а какие в школе стихи? Правильно: те, что задают на дом учить наизусть, о чём выросшие дети будут вспоминать с содроганием.

Да, я знаю, что преувеличиваю. Но факт остаётся фактом: за исключением колыбельного периода с попевками типа «У кота ли, у кота» и младшего детского возраста с Чуковским, Барто и — после паузы — с Маршаком, со стихами дети-дошкольники и младшешкольники встречаются редко. А со стихами современных детских поэтов — ещё реже. И, если это и происходит, то только с подачи совершенно особенных родителей, которые понимают — возможно, чисто интуитивно — что детям стихи в этот период гораздо важнее, чем проза.

Важнее-важнее, взрослые любители прозы; действительно, важнее.

Убедитесь сами.

Стихи — это музыка речи. Это лучшее, что есть в нашем языке, а он исключительно богат и разнообразен. Встречались ли вам объявления вроде «На объекте осуществляется внутриобъектное наблюдение посредством видеокамер»? Это, кстати, реальное объявление, висящее на ограде одной московской музыкальной школы. Его сочинил тот, кто не любит стихи, а не любит он их потому, что в детстве их ему не читали.

Стихи — это ритм, которому не надо учить, он впитывается сам; это чувство формы, которое не надо воспитывать; это свобода языка, которую не потребуется прививать — но всё это только в том случае, если стихами пропитано раннее детство. В школьном возрасте этот рецепт уже не работает. Встречались ли вам люди, которые, говоря пушкинскими словами, ямба от хоря не могут отличить? Для которых проблема — начать и закончить фейсбучный пост? Которым вообще трудно выразить

свою мысль лаконично, но ярко? Так это те самые, которые не любят стихи. А не любят они их потому, что... см. выше.

Но главное — стихи учат маленького человека чувствовать.

Ответственные родители часто озабочены ранним развитием своих детей: то учат их плавать раньше, чем ходить, то пользоваться компьютером раньше, чем ложкой, то говорить на пяти иностранных языках раньше, чем освоены «здравствуйте», «спасибо» и «пожалуйста» на родном... Но о воспитании чувств, как это красиво называлось раньше, мало кто думает. А стихи — воспитывают чувства.

Это происходит само собой. И не потому, что слова «Не обижай маленьких!», приправленные рифмой, лучше доходят (хотя и в этом есть доля правды), а потому что волшебное искусство рифмованных строк обращается прямо к душе — минуя рацию. Конечно, и проза может тронуть детскую душу, но именно стихи сделают это быстрее, сильнее и надёжнее. Стихи так же концентрированы, как витаминка. Можно ложка за ложкой есть большой прозаический обед, но достаточно прочитать бессмертное «Всё равно его не брошу, потому что он хороший» Агнии Барто, как вы уже всё поняли о том, что такое преданность. Поняли, потому что почувствовали. Даже если вам всего лишь два года.

Хотелось бы, конечно, закончить предыдущий абзац словами «Встречались ли вам бесчувственные люди? Так это те, кому в детстве стихов не читали». Но это было бы уже перебором. Хотя... в тонко чувствующем человеке вполне естественным будет предположить любовь к поэзии, а поскольку, будучи взрослым, полюбить поэзию трудно, то, скорее всего, тонко чувствующим людям привили эту любовь в детстве.

Выше я привела в пример строчки из «Мишки» Барто. Да, Мишка с оторванной лапой — это навсегда. Навсегда Айболит и Муха-Цокотуха. Эту обязательную программу дети всё-таки получают. Надо ли так уж беспокоится о произвольной — о стихах современных детских поэтов?

Надо.

Ведь наш язык — это уже не совсем язык Чуковского. Контекст, в котором мы живём — это совсем не то, что окружало Агнию Барто. Современные дети, не говоря уже об их родителях, отличаются от тех, с которыми встречался Маршак. И им нужны, очень нужны — наряду с бессмертной классикой, конечно — и современные стихи современных авторов.

А что мы иногда можем видеть сейчас? На конкурсах чтецов в престижных столичных школах и гимназиях прелестные семилетние эльфы в нарядных костюмчиках и платьицах хорошо поставленными голосами читают, скажем, Тютчева, сопровождая своё чтение хорошо поставленными жестами, а в глазах этих эльфов ничего не отражается — ни великий поэт, ни великие стихи. Семнадцать Тютчевых подряд я насчитала на одном таком конкурсе, где преподавателей никто не ограничивал в выборе стихотворений; присутствовал также Пушкин (гораздо меньше) и ещё два-три имени (по одному стихотворению). Но ни одного современ-

ного детского автора там не было. И не было ни одного стихотворения, от которого зажглись бы детские глаза.

Зато с уверенностью можно предсказать, что эти читающие «с выражением» дети в будущем стихи читать не будут. Ни на сцене, ни без сцены.

Кто выбирает стихи для таких выступлений? Редко — родители, чаще всего — учителя. И поэтому безо всякого удивления я просматриваю списки литературы, рекомендованной разновозрастным школьникам для летнего чтения. В них поэзии либо нет, либо она представлена строчкой «Стихотворения разных поэтов, не менее 20». Если уж у списка сверхдобросовестный автор, то может появиться несколько стихотворений преимущественно из пейзажной лирики золотого и серебряного веков. Но современных детских поэтов я не нашла ни в одном просмотренном списке.

Не хотелось бы, чтобы учителя сочли эти мои слова упрёком в свой адрес. Учителям сейчас нелегко. Нужно быть настоящим подвижником, чтобы, помимо своих основных обязанностей успевать следить за тем, что происходит в литературном мире, особенно в его поэтической части.

И тут я плавно подхожу к третьему D нашего формата — к тому фактору, который делает возможной встречу современных детских поэтов и их потенциальных читателей.

Это издательства.

Нет, конечно, сами поэты много делают для популяризации собственных стихов. Они выступают на всех возможных площадках, они встречаются с читателями на творческих вечерах, они размещают свои стихи в интернете, но... Ну, вот скажите, много ли вы видели родителей, которые, собираясь почитать своему ребёнку стихи, откроют интернет? Скорее, они подойдут к книжному шкафу (как вы понимаете, мы говорим о семьях, в которых сохранились и книжные шкафы, и традиции читать детям). А к интернету они обратятся тогда, когда из детского сада поступит задание подготовить к утреннику стихотворение про бабушку (о домашних животных, о природе и т.п.). А что в книжном шкафу? Правильно: чаще всего Чуковский, Барто и — после небольшого поиска — Маршак.

Творческие вечера и встречи с детьми — это здорово, но надеяться на то, что родители благодаря этому почувствуют важность поэзии для своих детей и заинтересуются новыми именами, не приходится. Отдельные родители — да, но в массе своей — нет. Будем реалистами.

Поэтам и их читателям нужны книги. И работа по их продвижению.

Сейчас появилось много новых детских издательств. Руководят ими, как правило, равнодушные неординарные люди. И некоторые из этих издательств (нет, не все, к сожалению) стихи современных детских поэтов печатают. Но тиражи невелики, а главное — главное! — что практически везде это воспринимается как некое культуртрегерство.

«У нас в России вообще все очень хорошо с детскими поэтами. Только непонятно, что с ними делать. У нас с прошлого сезона лежат подборки шикарных текстов», — говорит Борис Кузнецов, руководящий изда-

тельством «РОСМЭН». И продолжает: «В прошлом году выпустили две книги со стихами новых авторов. Больше половины тиража всё ещё на складе. Издание стихов современных детских поэтов пока ещё остается исключительно культуртрегерским делом. Увы...»

Я проиллюстрирую это «увы» такой картинкой.

В прелестном московском саду «Эрмитаж» гуляют родители с детьми. Это как раз те самые продвинутые родители, которые в социальных сетях могут обсуждать новинки детского книжного рынка. И это дети как раз такого возраста, когда для формирования правильного мироощущения так нужны стихи. В саду предусмотрено всё для приятной прогулки: чудесная детская площадка, уютное кафе, игровые комнаты и даже книжный магазинчик. Среди множества прекрасно изданных книжек поэтическая только одна — стихи Генриха Сапгира.

Хорошо, что Сапгиру так повезло — я очень люблю его стихи. Но из современных детских поэтов не повезло никому — на полках только детская проза. Причём переводная, в основном скандинавская, которую так любят выпускать те самые новые детские издательства. (Замечу в скобках, что я, заинтересовавшись, стала искать российских авторов и всё-таки нашла. Одну книжку Артура Гиваргизова.)

Да, читательские (то есть, родительские, потому что за структуру чтения дошкольников отвечают всё-таки родители) предпочтения существуют; они сформированы многими факторами — и политикой издательств в том числе.

Да, издавать (и покупать) проверенные серии фэнтэзи, конечно, проще, чем продвигать (и читать) неизвестные стихи.

Да, работа по переориентированию читательского интереса неблагодарна и на первый взгляд ничего не приносит. Повторюсь: на первый взгляд.

Но детям нужны стихи. Поверьте, их ничем заменить нельзя. Они нужны им именно в том нежном возрасте, когда ещё открыто это окошко прямо в душу — как родничок на темечке младенца. Скоро, скоро этот родничок зарастёт, уже в начальной школе от него ничего не останется. И если до этого времени взрослые не постарались, чтобы в мире стихов ребёнок чувствовал себя, как дома, чтобы язык образов стал ему родным, то из поэтических впечатлений в будущем у него останется только одно — попытка выучиванием наизусть «Зимнего утра». Он, может, и не будет чувствовать себя обделённым — что за польза в жизни от каких-то стихов? Но вот какой пример приводит в своём интервью журналу «Psychologies» московский учитель русского языка и литературы Сергей Волков.

«Меня поразили воспоминания одного бывшего служащего министерства иностранных дел. В 30-е годы он был арестован. И его били на допросах, а выжить ему помог какой-то сонет Вячеслава Иванова, кото-

рый он выучил в школе на уроках литературы. Он начинал его читать про себя — и над ним как будто воздвигался какой-то купол, который защищал его от кошмарной реальности, не пропускал её внутрь. Его били, а он читал про себя стихи, понимаете?»

Страшный пример, и отрадно узнать, что человек этот выжил и написал свои воспоминания. Боже упаси, чтобы нам пришлось проверять силу действия стихов в подобных обстоятельствах. Но мало ли в жизни каждого своих трудных минут, когда так нужна точка опоры? И вот — оказывается, её может дать проникновенная поэтическая строчка. Но только в том случае, если в вашем внутреннем пространстве есть место для поэзии, которое так легко создать в детстве, просто слушая и читая стихи..

Так что...

Поэты — пишите детям стихи!

Издатели — издавайте детям стихи!

Взрослые — читайте детям стихи!

Потому что читать всё остальное дети и сами научатся.

Стихи Елены Албул

Крольчонок, который мечтал о крыльях

Крольчонок прочёл в увлекательной книжке,
Что где-то бывают летучими мышки.
Но нет почему-то летучих крольчат —
Все книжки об этом упорно молчат.

Как же крольчонку без крыльев взлететь?
Может, подарит крылья медведь?
Может, лиса?
Может, оса?
Думал крольчонок четыре часа,

И отыскал он ответ на вопрос:
Крылья подарит ему Дед Мороз!

Пишет он Деду письмо увлечённо:
«Жду с нетерпением!»
Подпись:
Крольчонок.

Лунные эльфы

(почти фильм ужасов)

Спит, зачитавшись, кудрявый мальчишка.
Дремлет поодаль раскрытая книжка.
В тёмном окне серебрится луна —
Каждая буква в книжке видна.

Спят запятые и спят многоточия,
Скобки, кавычки, дефисы и прочие.
Лишь буквы «эль» не хотят засыпать:
Буквы задумали эльфами стать!

Буковки «эль» от страниц отделяются
И превращаются, и поднимаются,
В воздухе тонкие ножки мелькают —
Лунные эльфы к луне улетают!

С книжкой, наверно, случится беда,
Если они улетят навсегда...

Мальчик, проснись! Посмотри, что случилось:

Буквы исчезли — и всё изменилось.

Там, где теснились тысячи слов,

Хлопают крыльями тысячи сов!

Совы клювастые, совы когтистые

Сонные буквы хватают и тискают,

Перелетают со строчки на строчку,

Ловят когтями пугливые точки,

Вот уже скоро слетят на постель...

Что вы наделали, буквовки «эль»!

Книжка беспомощно машет страницами,

Книжка ночными заполнена птицами.

Лунные эльфы, вернитесь обратно!

В книжке без вас ничего не понятно!

Совы закрыли серебряный свет...

Что это — сон? Или всё-таки нет?

Утром проснётся кудрявый мальчишка —

Рядом раскрыта знакомая книжка.

Тысячи слов, как и раньше, готовы

В сказки сплетаться снова и снова.

...Только откуда же птичье перо

Там, где рассыпано слов серебро?..

История снеговика

Был у нас дружок — снеговик.
В морозилке жить он привык,
Где лежалпельменей пакет
И коробка рыбных котлет.
Мы его слепили зимой,
Принесли погреться домой,
Но заплакал он от тепла,
И беднягу мама спасла.

А как спасти снеговика?
Да поселить его пока,
Где заморожена треска,
Пельмени и котлеты.
Теперь он весел и здоров
И в гости к нам зайти готов,
Но только лишь на пару слов —
Чтоб не жалеть об этом.

Снеговик наш дом полюбил,
Только зимний двор не забыл.
Иногда на блюдец сидел
И на мир в окошко глядел.
Но когда растаял снежок,
Загрустил наш белый дружок
И сказал тихонько вчера:
«Вот и мне, наверно, пора».

Треске привет он передал,
Рукою снежной помахал
И лужицей прозрачной стал
На блюдечке с цветами.
Мы этой лужицей потом
Полили фикус под окном,
Чтоб быть уверенными в том,
Что друг остался с нами.

Мы на фикус утром глядим
И глазам не верим своим —
Фикус чуть подрос и слегка
Стал похож на снеговика...

Обед в невидимой стране

Гудит в моей машине
Невидимый мотор.
Ведёт мою машину
Невидимый шофёр.
За папиным диваном — невидимые страны,
Но как до них добраться? Мешает мне ковёр.

В ковре колёса вязнут
И поднимают пыль —
И в ворсе непролазном
Застрял автомобиль.

Мотор ревёт натужно —
Включаем задний ход.
Назад поехать нужно,
Чтоб двигаться вперёд!

И вот я очутился в невидимой стране.
Невидимые жители навстречу вышли мне.
И вынесли на блюде невидимый пирог,
И с ними очень весело я пообедать смог.

Потом играть мы стали в невидимый футбол...
Вдруг слышу мамин голос: «Немедленно за стол!
Бросай свою машинку — обед успел остыть!»
А я уже обедал.
Ну как ей объяснить?!

Про шведский язык

К племяннику дядя приехал с рассказом,
Закончив недельный по Швеции тур,
Что шведский язык поразил его сразу,
Ведь бабушку там называют «мурмур».

«Мурмуром» бабулю представить несложно!
Задумался мальчик, об этом узнав;
Чуток помолчал и спросил осторожно:
«А дедушка, значит, по-шведски "гавгав?"»

РУССКИЕ ПО МИРУ



© Художник Андрей Карапетян

Вероника Тарновская
(Швеция, Лунд)

Родилась в Санкт-Петербурге. Окончила Ленинградский институт точной механики и оптики. Работала инженером-теплофизиком. В годы перестройки сменила специальность на маркетолога и специалиста по рекламе. С 1998 года проживает в Швеции в городе Лунде. В 2002 году окончила магистратуру, а в 2007 году защитила докторскую диссертацию. Работает лектором по международному бизнесу в Школе Экономики и Бизнеса Лундского Университета и ведет маркетинговые исследования в Швеции и развивающихся странах. В 2013 году стала доцентом. Прозу и стихи начала писать недавно. В 2013 году стала членом общества по укреплению контактов с Россией, Украиной и Беларусью «Скрув» в городе Мальмё (Швеция). Имеет публикации в двуязычном литературном альманахе «От сердца к сердцу» (2014, 2015), в сборниках проекта «Библиотека современной поэзии». Её рассказы опубликованы в альманахе «Российский Колокол» (2014), Москва, а стихи — в Альманахе поэзии (21, 2014), Калифорния, США. Является лауреатом поэтического фестиваля «Под небом Балтики» 2014 и 2015 г. Кандидат в члены Интернационального союза писателей. В ноябре 2014 года выпустила (ограниченным тиражом) авторский сборник стихов «Преображение».

«SCRUV» как «винтик» русской культуры в Швеции

«SCRUV» — общество по укреплению контактов между Швецией, Россией, Украиной и Белоруссией — был создан в Мальмё в 2001 году. Это был период, когда страны постсоветского пространства заново объединялись после распада Союза, и движущей силой их объединения были русский язык и культура. Осознание важности сохранения русского языка и традиций ощущалось не только внутри вновь образовавшегося СНГ, но и за его пределами. Только в Швеции русская диаспора уже тогда насчитывала более 20 тысяч человек, а в 2015 году численность русскоязычного населения Швеции достигла 90 тысяч человек. Большая часть этих новоиспечённых шведских граждан проживает на юге Швеции, в Мальме, Упсале и Стокгольме.

Приток русскоязычных эмигрантов в Швецию в период с 2000 по 2015 год — так называемая рабочая эмиграция — сильно отличался своим составом и мотивами от всех предыдущих. Это в основном высокообразованные люди, многие из них высококвалифицированные специалисты в самых различных областях науки и техники. Эти рож-

дённые в 80-е годы, тридцать с плюсом, молодые люди никогда не считали и многие из них по-прежнему не считают себя эмигрантами, хотя формально таковыми являются. Их отличает ярко выраженный космополитизм, свободное владение несколькими иностранными языками, быстрота овладения шведским, такая же быстрая интеграция в шведское общество и исключительная толерантность к проявлениям отличных от русской культуры.

Многие из них создали «смешанные» браки и произвели на свет детишек, для которых русский язык является одним из трёх или даже четырёх языков, на которых они общаются каждый день. Очень часто русский язык существует для них только в домашних стенах и озвучивается только одним родителем и, в лучшем случае, мультиками на привезённых из России дисках, так как шведское телевидение русских мультфильмов не показывает. Русского радио в Швеции тоже нет, как нет и русской библиотеки, и вообще какого бы то ни было русского центра. Для таких семей наличие организованной культурной и образовательной программы с регулярной серией кружков и курсов русского языка, истории и культуры — это настоящая находка! Ведь молодые родители считают своей сверхзадачей обучение своих чад родному языку. Да и сами они тянутся к близкому по культуре социуму.

Поэтому неудивительно, что SKRUV, что в переводе со шведского означает «винт», или «шуруп», прочно и надёжно «ввинтился» в культурное пространство южной Швеции. Приток русскоязычных специалистов сюда особенно высок из-за роста и концентрации высокотехнологичных предприятий и многочисленных старт-апов. Продолжая «шурупную» тему как упорное привинчивание русской культуры и традиций в шведское древо, зададим вопрос: кто стоит за всей этой гиперактивностью общества «Скрув», которое в 2015 году включало в себя детский центр «Колокольчик» в Мальмё, где заняты 70 детей самых разных возрастов, театральную труппу, гастролирующую в Швеции и Дании, литературный клуб, издавший уже свой шестой двуязычный сборник поэзии и прозы «От сердца к сердцу» и проводящий регулярные литературные встречи и концерты с участием звёзд эстрады и литературы? (Общество также активно и в социальных сетях — Facebook, веб-страница www.skruv.org).

А стоит за всем этим воистину «могучая» кучка энтузиастов: многолетний председатель общества Лидия Эльфстранд, заместитель (ныне председатель) Никлас Беннемарк, секретарь Ульф Паули и члены правления Нурия Беннемарк, Владлена Клаусон, Леонид Панкратов и многие другие. Эта многонациональная группа выходцев из Советского Союза и «больных» Россией шведов в течение 15 лет ведёт активную культурную и просветительскую деятельность в Мальмё и остальной Швеции благодаря своему членству в Союзе русских обществ в Швеции.

В целом общество «Скрув» объединяет 176 членов, среди которых уроженцы России, Украины, Белоруссии, Казахстана, других стран СНГ. В 2016 году общество вступило в новую фазу своего развития с новым председателем и молодой командой энтузиастов в правлении. Что привнесут они, прожившие большую часть своей жизни вне родного языка и культуры, в поддержку и развитие наследия «Скрува»? И будет ли то культурное наследие, которое было так востребовано старшим, родившимся в Советском Союзе, поколением скрувовцев, всё ещё ностальгирующих по советским фильмам и праздникам, так же близко и понятно тем, кто знает СССР ТОЛЬКО по фильмам и книгам? Наверняка, нет. И скорее всего, СССР как культурный контекст окончательно канет в прошлое и станет историей для многих русскоязычных шведов. Но роль «Скрува» как винтика глобальной русской культуры, надёжно закрепляющего артефакты этой культуры в Швеции, надеюсь, останется таковой ещё долго.



© Художник Андрей Карапетян

Олеся Рудягина
(Молдова, Кишинёв)

Поэт, публицист. Родилась в Кишинёве в 1963 г., окончила Молдавскую Государственную консерваторию им. Г. Музическу по классу фортепиано. С 1988 года работает на Молдавском государственном телевидении (ныне общественная телерадиокомпания «MOLDOVA»), с 2002 преподаёт в Славянском университете на кафедре журналистики. Защитила диссертацию магистра филологии «Тема Родины в произведениях русских поэтов Молдовы». Автор шести поэтических книг, публицистических статей, ряда телепередач, документального фильма. Член СП Молдовы и СП России. С 2005 г. – председатель Ассоциации русских писателей РМ. Инициатор и гл. редактор литературного и художественно-публицистического журнала «Русское поле». Инициатор проведения и куратор Международного фестиваля русской литературы в Республике Молдова «Пушкинская горка» (5-8 июня, 2014, 2015, 2016 г.г.) который проходит при поддержке Посольства РФ и Российского центра науки и культуры в Республике Молдова.

Награждена специальным призом Международного литературного конкурса «Русская премия»: «За вклад в сбережение и развитие традиций русской культуры за пределами Российской Федерации» (12 апреля 2010).

В 2014 году удостоена почётного звания Республики Молдова «Maestru al Literaturii».

«...и не надо спасать никого от горя забвенья смерти...» «Гении места» современной русской поэзии Молдавии

В третий раз переделываю эту статью. И вовсе не потому, что не знаю предмет, и не оттого, что нечего сказать, и даже не потому, что домашние обстоятельства не располагают к сосредоточенности, я так долго над ней корплю. Каждый поэт, пишущий сегодня на русском языке в Молдове, заслуживает отдельной монографии, а здесь сказать обо всех не получится, и я, ограничиваясь только кругом близких по возрасту и духу, заранее предполагаю упрёки и обиды, заранее прошу прощения. А ещё не получается выбрать верный тон и, уж простите, если я буду срываться с ироничного на пафосно-восторженный. Ведь, честно говоря, сама атмосфера затянувшегося политического шоу последних лет в последовательно уничтожаемой, цинично ограбленной стране, миллион

граждан которой разбрелись по миру в поисках пропитания, и само наше существование в предлагаемых обстоятельствах — абсурдны. И то, что сегодня стихи вообще пишутся — аномалия, а уж на русском языке — если не подвиг, то «что-то героическое в этом, право, есть» (с).

Но, как оказалось, нет ничего более надёжного, чем ненадёжная, просто-таки эфемерная субстанция — поэзия, так как выносит она нашего брата/сестру из любой печали-тоски, мировой смуты и неустроенности. Жаль только, предчувствие войны навсегда засело в подсознании с момента короткого, но яростного Приднестровского конфликта, расчленившего Молдову, на десятилетия оттолкнувшего друг от друга непримиримые левый и правый берега Днестра.

Александра Юнко — человек, в силу опыта, обаяния, творческой многогранности, неподкупности и профессионализма, как поэтического, так и журналистского, — являющаяся, на мой взгляд, сегодня «центральной» фигурой русской литературы страны, высказала это ощущение так:

Ох ты господи, ржавый дырявый шелом
из подсобки достать, из сарая,
и опять нас везёт эшелон,
но куда, если с разных сторон
обступает война мировая.

Бела лебедь уже намочила рукав
в красных водах Непрядвы.
Нет неправых —
и каждый уверен, что прав
на своей стороне баррикады.

Не зарыться в окопе, не скрыться в тылу,
у буржуйки никак не согреться.
Отсидеться в медвежьем углу? —
нет такого угла.
Выпускает стрелу
брат мой, снайпер, в открытое сердце.

Бела лебедь уже намочила подол
в красных водах Калитвы,
мы кутью поминальную ставим на стол,
выпиваем за тех, кто домой не пришёл,
а никто не вернулся из битвы.

Можно удивиться, что за неужная тоска, тревога и образность в стихах автора, всю жизнь прожившего в Молдове?! Однако русскоязычные,

Вот говорят, что чувства в мире ветхи,
 В век кибернетики привязанностей нет.
 Но даже воробей, вспорхнувший с ветки,
 Оглянется, а ветка машет вслед.

...Не оглянувшись, вдруг исчезла из Кишинёва Вика Чембарцева, за относительно короткий срок сумевшая из никому не известного талантливого начинающего автора вырасти в неординарного любимого, читаемого и читаемого поэта, переводчика и прозаика, завоевавшего множество престижных литературных премий. Вика — человек мира. В её поэзии нет временных и пространственных границ:

себя не потерять, а обрести,
 бредущую по времени на окрик.
 тонки виски, зажатые в тиски
 невнятных дней. и продолжают глохнуть
 натруженные мыслями слова,
 и прорастает сорная трава
 из никому не нужных обещаний,
 отчаяний, молчаний и прощаний
 по-будничному. кругом голова.

не обернись. и в суетной толпе
 не замечай примет заспинной тени.
 ты слышишь, как на солнечной тропе
 крылодвиженьем и сердцебиеньем
 бесплотный ангел держит навесу
 клепсидру из стекла, воды и глины —
 судьбу и жизнь. они долги и длинны,
 наполнены, а прочее — не суть.

твои дела, как спицы в колеснице —
 не плюй в колодец, дуй на молоко,
 и помни, что движенье облаков
 чуть легче, чем падение ресницы.

Неудержимо возвращается на Родину, в Россию, певунья русского Севера Валентина Костишар, которую нынче, думаю, с большим основанием можно назвать московской поэтессой, чем кишинёвской. И это вовсе не от места жительства, конечно, зависит. «Вы о чём-то своём, ну, а я — всё о ней, о России!» — краугольная строчка творчества Валентины, на мой взгляд. А

ещё в Валиной поэзии (как в целом — в русской поэзии Молдовы) неиссякаема тема Пушкина, который в постсоветском раздёрганном, ощерившемся на Россию пространстве, — мерило любви к ней, к Отечеству, мерило чести, достоинства и добра. Именем Александра Сергеевича Молдова и Россия связаны навечно, какие бы недобрые ветра над ними ни проносились:

К тебе, к тебе — мы едем в Долну¹,
Туда, где воля и покой
И зелени плакучей волны, —
Всё, как тогда...

И день такой...

А ты нас ждёшь, глядишь из окон,
Душа томлением полна.
И ветры, пахнувшие соком,
И чаши, полные вина
И поэтического слова, —
К устам прикосновенья ждут...
Из века сумрачного, злого
Нас в край твой радостно везут.

Чтоб окунуться в краски света
И про ненастье дней забыть,
И землю солнечную эту,
Как ты, —
всем сердцем возлюбить.

Не всегда поэт заставляет замолчать отъезд или смерть. Внушив себе странную идею о крамольности и ненужности в мятежные времена поэзии, когда необходимо, прежде всего, «трудиться»: копать картошку, варить борщи, спасать ближнего — и только это ценно и заслуживает внимания и усилий, — к сожалению, не пишет больше стихов Людмила Щебнева, чуткий лирик, бессменный редактор радиопрограммы «Русский дом», инициатор уникального Международного радиофорума «Земля — дом человеческий».

Казалось, русская литература Молдовы при таком оттоке авторов и всех сопутствующих враждебных веяниях больше никогда не встанет на

¹ Долна — село в Страшенском районе Молдовы, где находится усадьба помещика Ралли (ныне филиал кишинёвского дома-музея Александра Сергеевича Пушкина), в которой поэт гостил два месяца во время своей бессарабской ссылки. В окрестностях усадьбы поэт повстречал цыганский табор и молодую Земфиру, вдохновивших его на написание поэмы «Цыганы». Каждый год 6 июня здесь проходит пушкинский праздник, куда приезжают сотни почитателей поэзии. С 2014 года в Долне проводится и Международный фестиваль русской литературы в Молдове «Пушкинская горка».

ноги, тем более, не воспарит. В 2009 году в приложении «Евразийская муза» «Литературной газеты» вышла моя статья «Полёт в безвоздушном пространстве»¹, а в 2014-м в журнале «Эмигрантская лира»² — большой подробный очерк о русской литературе Молдовы. И, если в «Полёте...» сквозило отчаяние, вторая статья осторожно констатировала «набор высоты», то сегодня хочется сказать (неприменно с грузинским акцентом, дабы не впасть в патетику!), что, как «маленький, но гордый питичка» (с), просто-таки Феникс, литература наша, похоже, возродилась из пепла. Если уж мы пережили трагические и страшные 90-е, годы онемения, шока, лавину отъездов и смертей пишущих на русском поэтов и прозаиков. Если мы выдержали десятилетия умолчания и прозябания. Если научились выживать, но не разучились жаждать русской речи. Ничего не сделать с поэзией, коей пропитано здесь всё, от долго светящейся небесной лазури до корней городских пирамидальных тополей, орехов, акаций, лип и винограда, увивающего балконы горожан даже в многоэтажках. Несмотря на то, что...

Страна закрыта.
 Все ушли на площадь.
 Большие боссы скрылись в бункера.

Одни работают.
 Другие ропшут.
 А третьим похмелиться бы с утра.

А ты куда?
 Ни с этими, ни с теми.
 Кровавая печать горит во лбу,

и мнут бока, пока —
 против течения —
 идёшь сквозь оцепление и толпу.

(А.Юнко)

Мда-с. Всякий раз сердце твоё невольно ухаёт оземь. Ооо!.. Снова у большинства местных СМИ во всех смертных грехах «Россия виновата» (мои земляки-завсегдатаи Фейсбука, после позавчерашнего землетрясения, перекидывались ироническими фразами: «Мына (рука) Путина, не иначе!») Угу... Принимается новый закон о вещании — запрет на ин-

¹<http://www.lgz.ru/article/N25--6177--2008-06-18-/Pol%D1%91t-v-b%D0%B5vozdushnom-prostranstv%D0%B54826/> = «Литературная газета» 18 июня, 2009 года.

² <https://sites.google.com/site/emliramagazine/avtory/rudjagina-olesja/rudjagina-olesja-5-1> «Эмигрантская лира»

формационные и аналитические российские программы, да здравствуют зрелища в отсутствие мысли! Агааа! Неуклонно ужимается сектор образования на русском языке, закрываются русские группы в детских садах и вузах, школы, распускаются лицейские классы, — посмотрите информ-сообщение за 1 сентября! Но русский язык, область употребления которого намеренно неуклонно сужается, упрямо выживает. Пока выживает. И его носители, — люди, родившиеся здесь, любят эту землю, как свой единственный, неустроенный нежный дом.

мы никуда не уедем, кица,
стоять не
бояться
всё что —
хоть немного музыки
пригоршню нот
не узких
утаи моё имя
за проблеск свободы

здесь другие идут и придут и пройдут.
где б ни свиделись и не свиделись
эту бездомную нежность
ты опять не узнаешь
ты глаза закрываешь
пока пальцы
по макушке бредут

(Олег Панфил)

Тягуче жаркое лето 2016 года в Кишинёве принесло несколько радостных литературных открытий. 25 июня из типографии «Metrompas» в свет вышла дебютная «Трудовая книжка» Татьяны Некрасовой — долгожданный сборник стихов. Примечательно, что «долгожданным» он был для нас, друзей и знакомых Татьяны, поклонников её парадоксальной и волшебной поэзии. Танечке же — совсем не публичному глубокому человеку, несуетному философу, — вполне было достаточно того, что стихи её знает и ценит поэтическое сообщество в Интернете, а для особо назойливых упрасивателей она делала симпатичные рукотворные книжки, набирая стихи на компьютере, распечатывая на принтере и скрепляя страницы широкими пластиковыми «канц-товарческими» цветными пружинами. (Юнна Мориц в переписке сказала о Татьяне: «Ваша Некрасова чем-то очень похожа на Ксению Некрасову, замечательную поэтессу, есть у них общее вещество тайны. Обе Некрасовы знают, где лежит коврик, под которым — ключик от двери, которая — без стен, потолка и

окон, есть такая знаменитая картина в музее живописи, кажется, её написал Магритт») Я счастлива, что теперь её стихи собраны в полноценный сборник, да ещё и в изысканном и лаконичном оформлении, придуманном автором.

закрываешь глаза — подступает море и дует ветер
и не надо спасать никого от горя забвенья смерти
затыкаешь уши — и лижет ступни колени плечи
и остатки суши всё недоступней и тени резче

пропускаешь сквозь пальцы воздух тугие пряди
пропускаешь сквозь пальцы воду нагрета за день
остывает всё постепенно и тает пена
и морская звезда обживает моё колено

Ах, вот что ни говорите, а не заменит этой тёплой живой вещи (!), этого существа-книги вся интернет-продукция вместе взятая. Для русской же поэзии Молдовы выход «Трудовой книжки» событие знаменательное вдвойне. Ведь ещё недавно издание художественной литературы на русском языке государством не поддерживалось, почти 20 лет книги выходили самиздатом или при самоотверженной помощи организаций российских соотечественников и Российского центра науки и культуры в Молдове, за что горячая признательность и низкий всем причастным поклон. Однако полагаться постоянно на поддержку общественных организаций — опасно и неправильно, и четыре года назад русскоязычные авторы опубликовали открытое письмо Министерству культуры РМ, в котором заявили: хотят это видеть или не хотят, нравится это или нет, но мы, — поэты и прозаики, пишущие на русском языке, существуем! Пишем, слава Богу, хорошо: известны и публикуемы за пределами нашей прекрасной Молдовы более, чем дома; достойно представляем любимую страну, куда бы ни забросила нас творческая судьба, и ждём — не дождёмся, когда же на нас обратит внимание родное государство. Шутки шутками, но вопль наш был услышан. Министр культуры Моника Бабук, окончившая в своё время МГУ, проявила понимание и добрую государственную волю, и впервые в традиционном списке из 100 книг на румынском языке, как теперь официально называется язык молдаван, изданных при поддержке Министерства культуры Республики Молдова, оказались две книги на русском языке: «Шелковица» Олега Краснова (сборник рассказов) и «Другая» Олеси Рудягиной (книга стихов). В прошлом году по рекомендации Ассоциации русских писателей и независимого литературного фонда «Белый арап» вышли ещё пять. 2016 год принёс новый урожай. Среди тёпленьких, только из типографии, книг две — поэтические и совсем разные. Вместе с Татьяной Некрасовой дебют нынче

празднует и подающая большие надежды юная переводчица Диана Жалбэ, отважно и самозабвенно переводящая с румынского на русский Михая Еминеску, Василе Александри, Джорже Кошбука, Думитру Матковского. А на румынский — произведения Михаила Исаковского, Михаила Лермонтова, Константина Симонова, Кондратия Рылеева, Фёдора Тютчева, удивительно бережно сохраняя авторские ритм, строй и мелодику. Кстати, Диана — открытие АРП РМ¹, каждую осень объявляющей Республиканский литературный конкурс для молодых «Взлётная полоса». Некоторые победители прошлых лет — одарённые Леонид Поторак, Павел Полищук, Валерия Чеботарёва, Игорь Корнилов сегодня составляют ядро молодёжной секции Ассоциации русских писателей Республики Молдова, координирует которую Татьяна Орлова-Волошина. Знаменательно, что, кроме стихов и прозы, Игорь Корнилов, влюблённый в Испанию и испанский язык, серьёзно увлечен поэтическими переводами. Павел Полищук и Валерия Чеботарёва, ярко проявив себя на фестивалях «Пушкинская горка» (2014-2016 гг) и «Бессарабская весна»-2014 (а Лера ещё и в Липках), в этом году станут участниками 16-го Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, который пройдёт в Москве 23—29 октября.

Они надёжная опора во всех начинаниях Ассоциации русских писателей, но, что более важно — у ребят сложились тёплые дружеские отношения. Придуманной ими «Бродячий кот», литературное кафе, время от времени собирает молодую аудиторию, и это всегда интересно, талантливо, неожиданно! Татьяна Орлова-Волошина — тонкий поэт и неординарный молодой прозаик. Горжусь тем, что наблюдала её первые шаги, вдумчивый рост и становление в Ассоциации русских писателей.

«У меня в узелке дорожном /Ломтик молдавского месяца. /Солёный и бледный. /Вы не смущайтесь, что будут /В бликах творожных руки. /Прошу, угощайтесь.../ Вы не смущайтесь, /Что месяца вкус непривычный./ Лучше скажите, /Каков он в вашей стране на вкус?! Я знаю отлично, /Какие там песни и люди./ Не помню только месяца вкус./ Вы говорите: «полюбите»? /Я не уверена./ Возможно, привыкну./ Прошу, угощайтесь моим!»

В мировом русском поэтическом пространстве многим уже известно имя Леонида Поторака, в 2012 году, будучи ещё лицеистом, завоевавшего звание короля супертурнира поэтов русского зарубежья «Поверх барьеров» на 10-м юбилейном фестивале русской поэзии «Пушкин в Британии» и ставшего лауреатом Международного литературного конкурса «1-й открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии»:

1 Ассоциация русских писателей Республики Молдова

С каждым годом мир всё тесней, тесней.
 Надо же забраться в такую даль,
 Чтобы оказалось — собрались все,
 Или мир, вернее, нас всех собрал,
 Для чего-то всё-таки нас берёт,
 А скорее, просто — упав без сил,
 Видит: выпал спичечный коробок,
 Не забыл бы — выбросил, но забыл,
 И теперь, ещё тяжело дыша,
 Вытащил из горсти других вещей,
 Удивлённо к уху поднес: шуршат!
 Сколько лет я их проносил в плаще?
 Ну а мы-то думали: сколько зим,
 Сколько бед уже миновало нас,
 Ну давайте встретимся, посидим...
 Где мы с вами виделись в прошлый раз?
 Так, наверно, и через двести лет,
 Мы, устав от смены времён и мест,
 Соберёмся в спичечном коробке
 Пошуршать у самого уха небес.

...Поэт, прозаик, драматург, первый секретарь Союза российских писателей Светлана Василенко на своих блестящих мастер-классах в Кишинёве не однажды упрекала молодых авторов: «А где же в ваших произведениях то самое особенное, истинно молдавское?! Создавайте свой, молдавский миф!» Да вот же, вот! Уже создан. Только вчитайтесь в стихи поэтов, чьё становление пришлось на 90-е. Сплошное мифотворчество. Разве в стихах Сергея Пагына не сотворена — из света и сияющего воздуха — совершенно мифическая вселенная, населённая детством, печалью, верой и безверием, смертью, бессмертием, преображёнными привычными домашними предметами, поисками и предчувствием Бога — вселенная, пребывающая на севере Молдавии, в реальном городке Единцы? Вот — любимое многими:

Гений места селится в тишине,
 и свистит, строгая корявый посох.
 И пчелиным воздухом по весне
 наполняет здешние абрикосы.

Знает всё о грозах и о траве,
 и, росы не тронув, во тьме гуляет,
 и ночные бабочки в голове,
 как стекло прозрачны, светясь, порхают.

И однажды в горестном сентябре,
прошагав уныло сухой крапивой,
ты найдёшь то место на пустыре
меж прудом загложшим и старой ивой.

И в стихи пытаюсь сложить слова,
ты заснёшь на куртке под веткой голой.
А во сне из посоха — всё листва...
А во сне из воздуха — пчёлы, пчёлы...

Разве стихи Юрия Гудумака, родившегося и живущего в селе Яблona, — не «путеводный» атлас по вневременным порталам, где лирическим героем дышит молдавский ландшафт и в многословии непривычного, простёганного рифмой стиха — невероятная плотность мысли и образов?!

Что ареал рассеяния
обоюдоострой секиры или оперённой стрелы,
что ареал распространения сохи или плуга,
мы исчезаем не сразу, а распадаясь
на фрагменты отсутствия — местности.
Хочешь не хочешь,
это, похоже, — то, что сопутствует
пространственному расчленению территории.
Прямо или косвенно,
но настоящая местность потому как раз там,
где нас нет, что связана с нашим присутствием
слишком уж как-то по-мёбиусовски.
Как некая новая форма жизни,
мы-то и вышли из неё,
оставшейся по ту сторону горизонта невидимой,
лишь превратив таковое невидимое
во внутреннюю свою среду.
Не мудрено,
что и семенящийся к западу вертопрах-одуванчик —
не больше, чем по справедливости следует, —
выворачивает невидимое в нас наизнанку:
в новую перспективу.
Невидимое становится нами,
а мы — им.

Писанные из внутренности самой Молдавии строки не содержат ничего, что можно было бы назвать «внутренним монологом», «переживаниями героя». Ничего, чего не было бы в пейзаже. Мы возвращаем ему то, что всего лишь взяли взаймы, сделав своим значением.

А, бывает, совсем-совсем прозрачно и дуновению подобно, так, словно кто-то не играет, но шепчет на флейте пана, которая здесь называется «най»:

I

Осы вгрызаются в подгнившую гроздь винограда
с остервенелостью осиних талий.

II

Из глубины ореховых рощ —
ходит молва, что их посадила ворона, — тянет сыростью.

(...)

XI

Захолустья ведь существуют
для того, чтобы в них что-то находить?
Это ведь правда, что потерянное ищут в захолустьях?

XII

Прислонившись к дверному щербатому косяку, поглядывая
в пожухлую даль, я заплетаю косы из перьев луковиц.
Надо бы на зиму ещё запастись

XIII

вина и овечьего сыра.
Такова уж традиция здесь, в оконечном краю,
что к вину овечий сыр — главное яство.

XIV

Какие дивные отрепья изваяли эти ветры и дожди.

Да, здесь, здесь обитают «гении места»: крестьяне — философы —
интеллигенты — маги — ведуньи — местные птицы Сирина и Алконоста.

Разве не мифическая область — творчество неуловимой, нереальной
Ирины Ремизовой, играючи меняющей обличья, имена, ремёсла, эпохи
и миры?!

Расстелено — а значит, решено:
катись, кубарь, покуда ветер гонит...
Но полю показалось: ты — зерно,
подумало, подставило ладони:

сухменью изнурённые дотла,
с лоснящейся травой от перегноя...
и нет им, перехоженным, числа —
ячменное, гречишное, льняное...

Оно тебя баюкало в горсти,
не отпуская от себя, доколе
не наступило время отцвести
и превратиться в перекасти-поле,
и, окунувшись в пыльную пургу,
завившую гнездо на перекрёстке,
помчаться, подбирая на бегу
стекляшки, лоскутки, травинки, блёстки...

Не сетуй, что коробушка полна, —
во ржи не любо торговаться жнице...
На плечи прыгнет рысью тишина —
да так, что не успеешь удивиться,
и разберут голодные грачи,
дуря от подснежных испарений,
резные одуваннные лучи
по чёрным небесам земли весенней.

А ты носи в котомке на весу,
пока дорога забирает кверху,
большую голубую стрекозу,
синицу, василёк и водомерку.
Ты ножницы найдёшь в своей избе,
иголки, инструменты остальные —
поскольку предназначено тебе
кроить и шить кому-то сны цветные.

Засыпающий город Натальи Новохатней таинственен, глубок, пленителен:

«Мне впитывать вечерний Кишинёв... /Деревья, что покачивают гривой/
Задумчиво, как женщины. И дивны /Их песни без мотива и без слов.../»

А в дому, гляньте-ка:

Знаешь, в глубине моей квартиры
Между шкафом и скрипучей дверью
Прижилась звезда. Сидит тихонько.
Будто бы испуганный мышонок.

Лишь ночами в темноте безглазой
 Светится улыбкой виноватой:
 Мол, светить должна я, вы поймите...
 Спросишь, как попала? Я не знаю.
 Август-то богат на звездопады.
 Кто нырнёт в объятия полыни,
 Кто заглянет в зеркала-озёра,
 А она... ну что же, так случилось.
 Но когда смотрю я на свеченье,
 Почему-то обмирает сердце,
 И ужасно делается жалко,
 Разобраться бы ещё, кого.

Перед одной из наших публикаций в «Литературной газете», названной символично «Воздух после ливня», Анастасия Ермакова, редактор приложения «Евразийская муза», за последние 15 лет много сделавшая для того, чтобы русская поэзия Молдовы вырвалась из замкнутого пространства, замалчивания, оторванности от литературного материка, как-то написала: «Русскоязычная литература в Молдавии — явление уникальное. Хотя бы потому, что поэты, живущие там, ничуть не уступают по дарованию российским авторам. А ещё потому — и это, может быть, самое главное, — что представляют они собой некое сплочённое целое в идейном и этическом смысле. И тратят они свои творческие силы преимущественно на то, чтобы писать хорошие стихи, а не на то, чтобы разбиваться на изолированные группы и самозабвенно враждовать.»

Удивительно точное замечание. Каждая публикация встречается с искренней радостью. В этом можно убедиться, хотя бы заглянув на Фейсбук. Мы, как дети, радуемся любым «прорывам» друг друга: книгам, премиям, грамотам, дипломам, публикациям. Это особый дух братства — может быть, он проявляется у людей на отколовшейся льдине. Или на необитаемом острове после кораблекрушения? Я не знаю. Я только вижу в лицах моих единомышленников-собратьев по перу свет и радость, когда мы встречаемся на творческих ли вечерах друг друга, на музыкально-поэтических встречах, в концертах... да неважно где, в каком измерении!

«...Свеча — сгорит, свет — не сгорает. /И ночь для бдений и молитв. /Когда с тобой Сам Бог не спит,— /Никто, ничто не умирает». (Наталья Родина).

Русская поэзия Молдовы заслуживает, на мой взгляд, пристального внимания серьёзных исследователей. В Молдове, к сожалению, много лет профессиональная критика — дефицит. За редчайшим исключением. Около 15 лет назад вышла книга критических статей «Нелёгкая стезя» Валентина Ткачёва, объективность которой спорна. «Критика — это

критики» — соглашаюсь с Сергеем Ивановичем Чуприниным, главным редактором журнала «Знамя».

В 2001-м увидела свет монография Светланы Прокоп, ныне директора Центра этнологии Института культурного наследия Академии наук Молдовы, «В предошущении полёта» (Общие тенденции развития русской поэзии Молдовы второй половины XX века)». Прошлой осенью под эгидой Академии наук РМ свет увидела уникальная литературная хроника «Ковчег обетованный. Русская поэзия Молдовы начала XXI века» того же автора. «Из этих книг можно не только получить представление о современной русскоязычной словесности Молдовы, но и о многих аспектах интеллектуальной и духовной жизни республики. Среди тех, кто удостоился высокой оценки авторов монографий, не только давно уже добившиеся признания широкой читательской аудитории "патриархи" нашей русскоязычной словесности Кирилл Ковальджи, Борис Мариан, Юрий Павлов, Алла Коркина, (...) Константин Шишкан (...) и их столь же именитые собратья по перу, уже, увы, покинувшие сей мир, — Рудольф Ольшевский, Дмитрий Ольченко, Рита Клейман, Николай Савостин, Борис Виктор, Валентин Ткачѐв, Руфин Гордин, Зинаида Чиркова... С ними по праву соседствуют талантливые поэты и прозаики — Александра Юнко, Александр Милых, Николай Сундеев, Олеся Рудягина, Мирослава Метляева, Виктор Голков и др., составившие конкуренцию признанным мэтрам ещё в последние десятилетия минувшего века, а также целый ряд литераторов (причѐм не только молодых по возрасту) — Олег Панфил, Леонид Поторак, Елена Шатохина, Сергей Пагын, Наталья Новохатняя, Анатолий Лабунский, Олег Краснов, Сергей Евстратѐв, Елена и Жозефина Кушнир etc, — сумевших во весь голос заявить о себе уже в нашем столетии»¹.

Бережно, многомерно и преданно использовала произведения русских поэтов Молдовы в своих исследованиях, посвящённых языковой картине мира русских жителей Молдовы, профессор, доктор хабилитат, заведующая кафедрой славянской филологии Славянского университета Республики Молдова Ирина Александровна Ионова, к великому несчастью, ушедшая в апреле этого года.

Произведения не уехавших, оставшихся, не желающих покидать землю, на которой родились, парадоксально зависшие в пространстве иной национальной культуры — музыки, традиций, языка — которую никто из нас не назовѐт «чуждой», так как и она с младенчества, с «доисторических» советских лет была для нас своей — по земле рождения. Я видела подобных поэтов из Узбекистана. Мы отлично понимаем друг друга с собратьями — русскими поэтами Азербайджана, Прибалтики,

¹ <http://www.dorledor.info/article/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%>

«Хронограф русской словесности»

Грузии. Это особенный склад души, особенная среда обитания. И нет никаких «раздвоенности», или предательства. Для себя я однажды вывела формулу этого состояния: «Россия — душа моя, Молдова — дыхание». Отнять одну составляющую — означает убить.

... Вот первый в своей жизни творческий вечер провела этим раскалённым летом в библиотеке русской литературы и культуры им. М.В. Ломоносова невероятная Наталья Гандзюк¹, приехав из уже ставшей родной Москвы, где сегодня проживает со своими четырьмя ангелоподобными детьми, где устраивает моно-спектакли по произведениям Г. Айги (у кого есть возможность, — обязательно побывайте!) Счастливо, медленно улыбаясь, Наташа говорила о тёплом городе Кишинёве, не отпускающем, волшебном, не дающем своим чадам себя забыть в многолетней разлуке, — ветшающем и бездумно эклектически застраиваемом, теряющем своих верных стражей — вековые деревья, неповторимом...

Яблоко с поцелуями / Каша с поцелуями / Сын растёт!

... Вот приезжает вечность назад эмигрировавший Виктор Голков из Израиля и читает свои жёсткие, испепеляющие, ледяным жаром пышущие стихи, вот сидим мы в маленькой кофейне «Кофемолка» и слушаем его отрывистый голос:

Я Родину выжег железом калёным,
и в столбики пепла свернулись поля.
Не нужно уже притворяться влюблённым
в эти акации и тополя.

И кладбище, отческий дом, да и школу
горящая воля моя рассекла.
И рухнуло всё, стало пусто и голо,
и вырвалась в мир первозданная мгла.

Вот я — бунтовщик, уничтоживший звонкий
храм, коему, может быть, тысяча лет,
стою на краю исполинской воронки,
следуя, как вокруг стекленеет рассвет.

Мы знаем, какая лютая снедает Виктора ностальгия, знаем, что за счастье для него — раз в год пройтись вокруг Комсомольского озера (выкопанного вручную комсомольцами 60-х «под чутким руководством товарища Л.И. Брежнева», тогда первого секретаря КП Молдавии), давно переименованного. (Что за мания у власть предержащих переименовы-

¹ Первая в жизни публикация прозы и стихов Натальи Гандзюк состоялась в этом году, в журнале Ассоциации русских писателей в РМ «Русское поле» № 1(15) 2016.

вать и перелицовывать жизнь? Ведь только ярче помнится, ведь только глубже уводит благодарная оскорблённая память). За счастье ему — прогуляться по вдрызг раздолбанным кишинёвским тротуарам. И дело вовсе не в молодости, оставшейся на этих улицах. И сегодняшние молодые поэты ощущают особую здешнюю самость, этот воздух, в котором растворяется, кроме южного солнца и аромата персиков и абрикосов летом, муста осенью, медового запаха долгожданного снега зимой — нечто, чьё дыхание ощущаешь на губах. Да-да. Любовь. Эта земля излучает любовь. Что бы ни делали с ней политики.

и ничего теперь не надо —
 при том, что если что и есть —
 зелёная луна над садом,
 который в звуки вышел весь:
 вдоль спящих муравьиных улиц
 шептанье, шорохи, щелчки.
 густая тишина сомкнулась
 вокруг и смыла нас почти,
 но ты, сверчок, но ты, цикада,
 но я, сплошное сердце — мы
 озвучиваем душу сада
 в слабеющих объятьях тьмы.

(Т. Некрасова)

Ведь куда бы мы ни приезжали, заслышав молдавскую речь, обязательно инстинктивно оборачиваемся. Обязательно лицо расплывётся в улыбке. Это парадоксально: в Молдавии томиться нехваткой русской речи, а вне дома — понимать, что ты, конечно, русский, но очень-очень молдавский.

...С детства в память врезалась ключевая фраза из вызвавшего острую полемику в советском обществе фильма Сергея Герасимова «У озера». «Нельзя всю жизнь прожить у озера». В смысле, человек должен двигаться дальше. Открывать для себя новое. Покорять дальние горизонты. По прошествии более полувека после создания фильма, оглядываясь назад — как накустылял человек, как, перекраивая жизнь, природу, устои, перепахал свою душу... начинаешь сомневаться в истинности этого откровения. Не слишком ли далеко мы ушли? От родной земли. От себя. А, может, возможно? Может быть, НАДО прожить «у озера» всю жизнь, чтобы не высохло оно, неземной красоты? Чтобы не зарастало бурьяном хлебное поле. Чтобы не стояли заколоченными дома. Чтобы не оставались дети неприкаянными сиротами — при живых родителях, зарабатывающих нелёгкий хлеб на ударных стройках капитализма и своими денежными переводами обеспечивающих бюджет родной стране. Чтобы

не маяться на чужбине. Я наивна? Я наивна. Мир неудержимо меняется, скажут мне. Глобализация, знаете ли! Да, знаю. И — не хочу её. Не хочу, чтобы исчезла маленькая Молдова с её неповторимым своеобразием, включающим лучезарную живую поэзию. В том числе, и на русском языке!

Как будто кто нарушил зрение
 одним движеньем светлых рук —
 простых вещей преобразование
 мне всё мерещится вокруг.
 Вот груша жёлтая и в крапинку
 в ладони дрогнула, светясь.
 Блестит бронзовка — словно запонка
 в траве отцовская нашлась.
 И детство сладкое и длинное
 лениво возникает тут,
 пока булавка стрекозиная
 скрепляет облако и пруд.

(С. Пагын)



© Художник Андрей Карапетян

Современная грузинская проза в переводах Владимира Саришвили

Владимир Саришвили, поэт, переводчик, драматург, публицист. Род. 1963. Лауреат Пушкинского конкурса педагогов-русистов СНГ (Москва, 2003), Лауреат Международного конкурса Фонда Ельцина на лучший перевод с национального языка на русский язык в номинации «Мэтр» (Москва, 2008), Лауреат литературной премии имени Юрия Долгорукого для авторов, пишущих на русском языке Московского Фонда поддержки соотечественников и Правительства Москвы (2010), Лауреат премии имени Галактиона Табидзе (2013), заслуженный журналист Грузии (2015).

Реваз Мишвеладзе

Белка в колесе

(отрывок из романа, Первое издание
Издательство «Вестник Грузии» 2016)

От переводчика:

В новом романе Реваса Мишвеладзе, народного писателя Грузии, лауреата премии имени Шота Руставели, описывается жизнь Грузии т.н. «Десятилетия Саакашвили», и центром повествования является, естественно, персона Михаила Саакашвили. На страницах романа прослеживается, как, словно за игорным столом, распоряжался судьбами простых граждан распоясавшийся властитель.

Роман предостерегает также от прискорбной тенденции безнаказанности преступлений», — гласит издательская аннотация.

Однако не меньший, если не больший интерес представляют «клиповые» вкрапления — воспоминания главного героя романа, президентского фотографа Лаврентия Микава.

Добавить к сказанному есть что: роман «Белка в колесе» представлен на Нобелевскую премию, и (в тему) сам живой классик грузинской литературы в последние годы выпустил две книги в Париже, в переводе на французский язык. Первая — «Чиония» (это — имя собственное) вышла в 2007 году в переводе грузина-парижанина Владимира Чапиадзе, а вторая — «Новеллы» увидела свет в 2011 году, в переводе такого же грузина-парижанина, но вдобавок ещё и профессора Сорбонны Давида Тотибадзе.

Владимир Саришвили

Сорок восьмой то был год или сорок девятый, не помню, одно лишь вне сомнений: война отгремела недавно. Было мне лет восемь, не больше. Дождливый сентябрьским днём лушили мы кукурузу на колхозном складе. Тогда складом служила деревянная постройка за конторой,

его потом разрушили. Ещё до смерти Сталина случилось это дело. Разрушили, значит, времянку эту, и на её месте построили каменный склад, на котором сейчас висит замок снаружи, а внутри мыши отплясывают. Не оправдал себя, скажем прямо, каменный склад, сырость в цемент просачивалась, и подгнивала кукуруза, чему уж удивиться.

На складе собирались все: стар и млад, калеки, возвратившиеся с фронта, и мне подобные балбесы; обручённые и намеревавшиеся обручиться; замужние тётки, старые девы и девицы на выданье.

Всё теперь по-иному стало, но своя притягательность была у колхозного хозяйства, вот уж верно. В общежитии есть нечто заманчивое и задорное одновременно. Там и шутки-прибаутки, и переклички, и початков-шелухи швыряй-бросайло, и песни, и сценки с наклепными усами из кукурузных волокон.

Вот так потешно проводили мы время.

Соревновались — кто больше початков соберёт в кучу. Представь себе, в этом балагане всё можно было провернуть, призвав на помощь хитрость и смекалку.

«А ну-ка, красotka, прокатись по кукурузе, разживёшься деньжатами», — не давая покоя, развлекали смазливых девчонок сельские удалыцы.

Парни, они бедовые. «Давай, давай, вали отсюда, я уже прокатилась!». «Ещё разок прокатись, ты, краса ненаглядная, чего теряешь-то!». Просят, а девицы, (будто и нехотя), явят милосердие и вновь прокатятся по жёлтым початкам. А тут и щипки да шлепки по местам неположенным, а за ними незлобивое: «Ах ты, безобразник!», и порой целомудренный чмок в щёчку. А кроме того, случались шалости-проказы и за гранью приличий, между нами будь сказано. Ребёнком я был, но уже кое-что кумекал, вслушивался — сначала в страстный шёпот, потом вдруг посерьёзневшая женщина исчезала с местным волокитой (которых Михаил Джавахишвили называл «обжорами»). Эти исчезновения особенно учащались во время ночного сбора кукурузы.

Приближалось время обеда, когда председатель колхоза — Варлам Надирая — открыл двери и провозгласил: «Отдохните немного, товарищи, я привёл к вам немецкого врача. Если у кого какая болячка, не стесняйтесь, этот уважаемый человек избавит вас от всяческих недугов. Он немецкий немец, не думайте, что какой-то там».

Стоявший рядом с Варламом человек, облачённый во френч, с ручной кладью в руках, ниже среднего роста, толстенький как шарик, светловолосый, с улыбкой кивал в такт каждому слову председателя, а волосы его были расчёсаны на пробор, в точности, как на портретах Петра Первого.

— Ты где немца нашёл-то? — спросил кто-то. Не только немцев, но даже и русских и духу не было до того в нашем селении. Лоточник разве что забредёт в кои веки, из Хони следуя, а больше никого. Чужаки в нашей деревне в диковинку были.

Вот что ответил на это Варлам:

— В Мартвили, после совещания, второй секретарь райкома Джгереная в кабинет свой меня завёл и говорит: «Передай трудящимся своего села мой коммунистический привет и поздравления за перевыполнение плана. За усердие ваше получайте в награду немецкого врача. Пожми руку этому человеку. Его зовут Фредди. Из Кутаиси я его доставил. Еле заполучил, все болезни различает. Чудотворец, говорят же, вот он таков и есть. Повези его к себе, пусть проверит, кого что беспокоит. Поможет он, о чём речь. Но сверх меры его не утомляйте. Уважение окажите. Не спаивайте. Не приставайте с тостами, а то немцы люди отзывчивые. Отказывать не умеют в возлияниях, так что не беспокойте почём зря этого драгоценного человека. Знаю, что зовут его Фредди и что он военнопленный. А больше ничего мне неизвестно. Всем говорит, что скоро его освободят. Да и пленный он только так, по названию, кто ж его посмеет держать в режиме арестантском. Гуляет, где ему вздумается. Врач — чистое золото. Ни сна ему нет, ни отдыха. На недельку урвал я его из Кутаиси. Пусть подлечит наших людей, наши края навестит. Ну, сам знаешь теперь. Козляток мяско ему по вкусу и вино «Одесса». Думаю, краснеть меня не заставите. Завтра утром отвезите его, ради Бога. На лошади переваливайте прямо через Бжеру. Только с Чкони не заворачивайте, далековато будет».

На балкон склада бегом вынесли-выставили для немца сразу три табурета. На один усадили самого, на другом разместили его сумку, а третий оставили для пациентов. Как сплетницы на завалинках, расселись все мы вокруг него. Никто не осмеливался первым предстать пред очи целителя.

Варлам ходит-упрашивает, некогда, мол, ему — сейчас шапку нахлобучит — и уйдёт восвояси, ищи-свищи потом его (между прочим, шапки на немце не было). Выходите, если в чём нужда. Ну что у вас всё не как у людей. Кутаисцы локтями друг друга расталкивают, чтобы к нему попасть.

— Варлам, мил человек, да на каком же языке ему объяснять — что у меня болит? — решился нарушить молчание старик-кукурузник Кици Джгереная.

— Ты только подойди к нему, Кици-золотце, а он уж сам разберётся — что к чему. Он же немец, это тебе не хухры-мухры, — обнадёжил Надарая.

И Кици решился.

Немец осмотрел в тот день человек пятнадцать и ни одного слова, кроме «битте», не произнёс. Сначала я думал, что «битте» — это приветствие, потом — «На что жалуемся, дорогой?», потом — «Открой рот и проглоть эту таблетку», потом — «Задери повыше рубашку», потом — «Не бойся, скоро закончу». Причём «битте» он произносил то однократно, то «битте-битте», удваивая, должно быть, для пущего эффекта. Помимо бессчётных «битте» доктор скормил в тот день немерено белых таблеток, название которых оста-

лось для меня тайной. Он попеременно открывал сумку, извлекал оттуда цветистую коробку и протягивал пару таблеток пациенту (водой запить не предлагал). Приговаривая своё «битте-битте», ждал, пока их проглотят и добродушно посмеивался — не знаю, по какому поводу. Думаю, веселило его искажённое ужасом лицо «больного», всухомятку проталкивающего в глотку таблетки. Позже я узнал, что всухомятку таблетки глотать не обязательно, и это было всего лишь безобидной шуткой немецкого специалиста. Со временем, чего греха таить, я стал сомневаться в лечебных методах немца, и в особенности задумывался над «уникальностью» «чудотворной» таблетки, но случилось это лет двадцать спустя после визита в наше село пленного доктора. Сегодня, в глубокой старости, Фредди, живущий в свободной, объединённой Германии, конечно же, не прочтёт этих строк. Но не может он не помнить сельского лекаря Пармена Пиртахия, который, по меньшей мере, пригласил эйфорию взрослого на рейнских берегах гостя и заставил относиться к методам Пиртахия с большим уважением и почтительностью.

— Очиши вгурук, патони, очиши! («Поясница убивает, поясница!») — свободный перевод автора — Р.М.) — простонал Кици и провёл рукой по больному месту. — Битте! («Понятно») — кивнул головой немец. Уложил старика вверх тормашками, прижал большими пальцами копчик — и так несколько раз.

— Битте! («Не тревожьтесь!») — стукнул потом по мягкой ткани, молниеносно оседлал Кици и, несмотря на его протестующие вопли, раз десять протёрся по его спине. Не успокоившись на достигнутом, прыгнул, отшлёпал Кици, до шеи задрал ему балахон, заставил проглотить две таблетки и распрощался со словами: «Биттебитте» («Ты здоров, всего хорошего»).

— Мучо рек, Кици? («Ну, как ты?») — спросил Варлам.

— Джгиро, патони, джгиро! («Хорошо, уважаемый, хорошо»), — убеждённо ответил Кици и подбоченился. — Таш кипиида, му мичирс («Если так и дальше будет, что мне сделается»). Ну, чего там тягомотину разводить, Дзики Лабарткава, жаловавшемуся на боль в области лба, врач посоветовал избегать воздействия солнца, Микандру Хурция с его желудочными коликами посоветовал не потреблять перца, соли и уксуса. Безо всяких переводчиков, наглядным методом, всем всё растолковывал. Доставал из сумки склянку с уксусом — и подносил к носу Микандро, за ней — пригоршню соли и стручок зелёного перца, клал на ладонь и кричал в ухо Хурция: — Нельзя!

— Та, уфашаемый, та! — кивал головой Микандро.

Осматривая пригожую вдовушку Габуня, немец проявил повышенную любознательность. Ухватил её за филейную часть и даже пытался приподнять.

— Му око минджегурелс?! («Он что, без царя в голове?!») — взвизгнула вдова под всеобщий хохот, и врач, краснея и улыбаясь, убрал руку

подальше. Достав из сумки кусок верёвки, немец измерил вдовушкину талию, следом — объём груди, но советов никаких не дал, ограничившись тем, что скормил две таблетки. Полагаю, что вдову Габуния никакие недуги не тревожили. И сейчас понимаю, что нуждалась она (для начала) именно в прикосновении руки эскулапа.

— Знаток, по всему видно, — шепнул кто-то за моей спиной.

— Ну, а с чего ему дурить? Знаток, а как же. Он же немец, не какой-нибудь там Пармен Пиртахия.

При упоминании Пармена, Варлам равнодушно промолвил:

— Хорошо, что напомнил. Приведу-ка я Пармена, пусть посмотрит, интересно.

Жил Пармен на окраине села, у рощи. В свиту немецкого доктора втёрся и я. Любопытство снедало — как встретятся друг с другом два эскулапа. Да к тому же ни разу не приходилось мне доселе бывать во дворе у Пармена. А двор этот, окружённый высоким забором, сторожили злые собаки.

Пиртахия выглянул на зов. Варлам пояснил причину прихода и представил гостя.

— Мозоджит, патони! («Пожалуйста, почтенные!»).

С открытым ртом разглядывал я двор Пиртахия. Да что я, даже немец не скрывал изумления.

Под липой ничком лежало двое пациентов. В руках они держали две хорошо отёсанные дубины и прикладывались к ним, когда пожелаеся.

Там же мужчина лет тридцати, сидя на деревянном муле, держал на вытянутой ноге жёрнов.

В наполненной навозом кадке сидела женщина в платке — тюрбане, попеременно взывая:

— Дивчви, патони, дивчви, мибах, мибах! («Сгорела уж я, почтенный, хватит, хватит!»).

— Битте, битте, битте, — беспрестанно приговаривал немец. Судя по выражению его лица, это означало: всё увиденное мною весьма необычно, но допустимо.

Недопустимое, как оказалось, ждало нас впереди.

На бревенчатой лавочке рядком сидели пятеро парней.

Там же, в поставленной на медленный огонь кастрюле, кипятились ножи-вилки и ложки.

Пармен Пиртахия подозвал одного из юнцов.

Усадил на пень.

Вымыл руки хозяйственным мылом.

Вынул из кастрюли русскую поварёшку (иногда её половником называют), велел парню открыть пошире рот и подержал поначалу ложку на его высунутом языке. Приказал пациенту не двигаться. Внезапно он вогнал поварёшку в горло парня по самую рукоятку, молниеносно по-

вернул, выхватил окровавленный половник из глотки и пригнул голову благим матом орущему парню, из которого вырвался фонтан крови пополам с жёлчью, а немец заверещал:

— Найд! Никс! Никс! Найд!

Он упал на руки Пиртахия и что-то обречённо выкрикивал. На госте просто лица не было.

Парменовский способ удаления гланд явно вывел немца из равновесия.

— Муша ра итам сакме? («В чём дело?») — спросил Варлам Надирая.

— Мичк, патони, мичк, энепи шхванеро акетена («Знаю, мил-человек, знаю, они по-другому делают») — спокойно ответил Пиртахия и усадил на пень ещё одного молодца.

И его вопль настиг нас уже за воротами дома лекаря.

Давид Шемокмедели

(Род. 1953 ; Лауреат премии имени Галактиона Табидзе, Лауреат премии имени Давида Агмашенебели, Президент Всегрузинского «Общества Руставели»)

В купе

Гизо боком перешагнул порог купе. До отправления поезда времени оставалось с гулькин нос. Он вынул из-за пазухи журнал «Наука и жизнь» и пристроил его на столике рядом с «дипломатом». В купе стояла страшная духота. Он торопливо расстегнул пуговицы на сорочке и вдруг поймал в дверном зеркале собственное изображение. Вынул из кармана гребешок и зачесал остатки волос ото лба к затылку. В последнее время это вошло у него в привычку: где ни увидит зеркало, непременно должен привести в порядок волосы, да так, чтобы плешь была скрыта как можно тщательнее.

Медленно, с кряхтением и пыхтением, поезд тронулся. Гизо вышел в коридор. В соседних купе пассажиры успели уже перезнакомиться. Сказать по правде, сейчас он был меньше всего расположен к пустопорожней болтовне. Он приспустил вагонное стекло. С удовольствием подставил лицо врывающимся потокам холодного ветра. Потом закурил, извлёк блокнот; он давно взял за правило — когда назавтра дел набирается выше крыши, накануне составлять план. Вдруг он представил себе, как смешно выглядит у окна купе с блокнотом в руках. «Наверно, встречные думают — поэт с приветом», — усмехнулся он про себя. Да, сегодня дел переделано немало... «Когда на производстве аврал, никакой Лабадзе тебя не заменит», — уверял его директор. Но в конце концов, пусть со скрипом, но согласился. «И всё-таки сколько раз за эти три года приходилось мне идти на попятную, — думал Гизо, равнодушно глядя на

пробегающие мимо деревья, дома и линии электропередач. — Начатое дело надо довести до конца, они ведь не верили, не скрывали скептицизма, похихикивали втихаря — какое, мол, время ему о диссертации думать, а я всё-таки сдал кандидатский минимум. Ещё чуть-чуть, и защищу диссертацию. Зарплата зарплатой, а директор уже в двух шагах от пенсионного порога. Да и "сверху" на него "косятся". И тогда... Есть ли кандидат, достойнее меня? Пусть, пусть потом смеются! В первый же день уволю Бондо, чтоб намотал на ус, каково это — мошенничать с начальством»... Одна лишь мысль о том, что Лаура станет его личной секретаршей, всколыхнула приятную дрожь по всему телу. Вскоре поезд остановился, редкие пассажиры засновали по платформе. Услышав детский плач, он обернулся. В вагон поднималась женщина с детьми. Мальчик, лет трёх-четырёх, путался у неё в ногах. Одной рукой женщина прижимала к груди младенца, в другой держала чемодан и с трудом продвигалась вперёд, оглядывая номера купе. «Ко мне идёт, — подумал Гизо и похолодел от страшного предчувствия. — Поди теперь, попробуй, отдохни в такой компании».

Он не ошибся. Женщина остановилась у дверей купе Гизо, присмотрелась к номерам и втиснулась внутрь. Мальчик за ней не свернул, а побежал вперёд.

— Мамука, вернись сейчас же, куда ты! — низким голосом позвала женщина.

«Приехали, начинаем концерт», — подумал Гизо. Мальчик ухватился за входную дверь вагона и тряс её, пытаясь вырваться. Гизо подбежал к дверям. Мягко, не встречая сопротивления, увёл ребёнка в купе.

— Спасибо, как мы вас побеспокоили... Все они, сорванцы, такие...

Она говорила это про старшего, в то время как младенец вопил во всю глотку.

Он тянулся пальчиками к столику купе, женщина ритмично покачивалась, стараясь его убаюкать, но плач был слышен даже в соседних купе. Грудничок разошёлся не на шутку. Гизо догадался, что он тянется к журналу, и протянул младенцу «Науку и жизнь». Постепенно затихая, плач сменялся любопытством, и ребёнок, изумлённо причмокивая губками, не сводил глаз с надписи на обложке.

— Профессором будет, — пошутил Гизо.

— Дай-то Бог, — улыбнулась женщина.

Мамука возился у вешалки над нижней полкой, пытаясь что-то оторвать, но скоро это занятие ему надоело. После долгих стараний взобравшись на верхнюю полку, он попытался перебраться на столик. Тогда Гизо осторожно подхватил его и спустил на пол. Ребёнок и на этот раз не протестовал. А потом настолько расхрабрился, что вознамерился взобраться ему на колени. Мать рассердилась. Гизо улыбнулся — ему понравилось упорство малыша. Освоившись, ребёнок уткнул свои пальчики в ладонь

Гизо и давил изо всех сил. Час был поздний, и глазки у него постепенно закрывались. Своими золотистыми кудряшками он напоминал принца с картинки из книжки. Мать осторожно перенесла уснувшего ребёнка, устроила на подушке. Казалось, только сейчас она заметила, что в купе стоит страшная духота; сняла с себя дождевик. Гизо невольно изумился; женщине было не больше тридцати. Узкие слабые плечи и волосы цвета воронова крыла, изящно сброшенные назад — прелестная получалась картина... Хотя по мозолям на её руках легко было понять, что она привычна к тяжёлой работе. Мамука уже спал без задних ног, и женщина давно клевала носом. Собрав силы, она принялась стелить простыню. Гизо вышел в коридор. Вернувшись в купе, лёг на аккуратно постеленную попутчицей постель и мгновенно сбросил с себя груз усталости минувшего дня. И, покуда сам не погрузился в сон, всё умилялся — как нежно, в обнимку, спят все трое... Утром его разбудили резкие звуки отдвигаемых дверей купе. Женщина была уже на ногах и будила Мамуку. Гизо посмотрел на часы. До пункта назначения оставалось часа два.

— Вы сходите? — спросил Гизо.

— Да, — ответила женщина.

Только что пронувшийся Мамука спросонья едва удерживал равновесие, раскачивался, стоя на полке, как тростник на ветру. Поезд замедлил ход и через некоторое время остановился.

— Я вам помогу, — сказал Гизо и, не дожидаясь ответа, ухватил чемодан.

А потом, из окна вагона, он смотрел, как высокий чернявый мужчина прижимал к груди всех троих и, подхватив Мамуку, усадил его на плечи. Гизо стоял у окна, пока они не скрылись из виду.

Он вернулся в купе. И сразу же заметил, что женщина забыла соску грудничка. На полу лежал, раскорячив обложку, так и не прочитанный журнал «Наука и жизнь». Гизо вдруг вспомнилась его неухоженная однокомнатная квартира, вещи, годами не менявшие мест. Скоро уж двадцать лет, как единственным узаконенным и принятым правилом для него была одинокая жизнь, жизнь для себя самого. Половина её ушла на пустые бытовые проблемы, корпение над диссертацией и бег по ступенькам карьерной лестницы. Кадры вчерашнего вечера никак не исчезали из памяти. Ведь вчера он почувствовал себя в такой тёплой, почти семейной обстановке. Точно он не припоминал, но у Проспера Мериме была фраза вроде «всё бы отдал, только была бы у меня дочка с золотистыми локонами». Он снова выглянул в окно. Перестук колёс раздавался, казалось, всё громче и отчётливее. Поезд на всех парах нёсся к конечной станции.

Утром он должен зайти к учёному секретарю, потом повидать оппонентов, потом — на кафедру, к научному руководителю, и так далее, и так далее...

Но сейчас он думал не об этом.

БЕСЕДЫ



© Художник Андрей Карапетян

Наталья Черных
(Россия, Москва)

Родилась в Москве, имеет высшее музыкальное образование. Президент Ассоциации деятелей культуры «Открытый АРТ-ДИАЛОГ». Теле- и радиожурналист, поэт, певица — лауреат международных фестивалей авторской песни и романса. Автор восьми книг стихов и прозы, в том числе трёх детских. Член Союза писателей Москвы, член-корреспондент Европейской академии искусств и литературы. Генеральный продюсер российско-французского фестиваля «Звучащий глагол» (совместно с Ассоциацией в поддержку русской культуры во Франции «Глаголь».)

Непоказанная передача (Интервью с Борисом Васильевым)

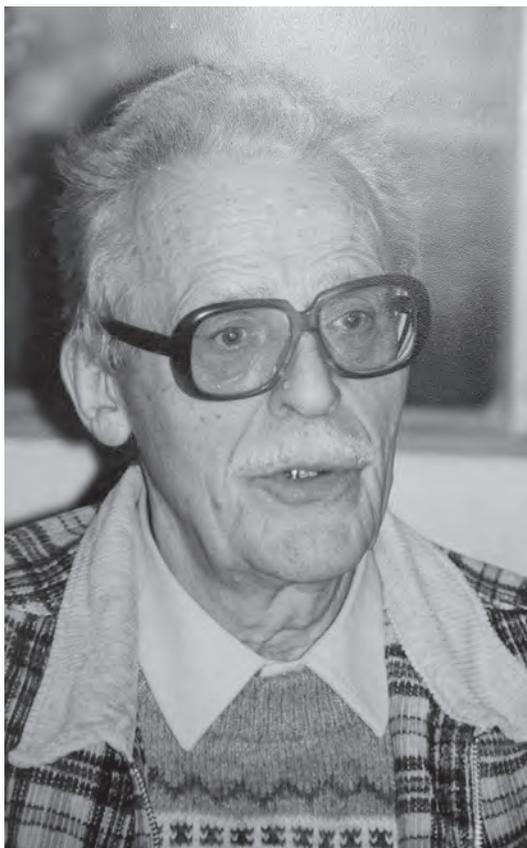
Программа эта в эфир так и не вышла. Случилось то, что раз в сто лет случается на телевидении: вылетели и камера, и микрофон одновременно. Оператор прослушал, звукооператор проспал. Ответы на вопросы «кто виноват?» и «что делать?» искать не было смысла. Победивший от беспробудного раздолбайства сотрудников режиссёр выдал: «Это не брак, это хуже. Для эфира материал непригоден». Когда утихли вопли и всхлипы редактора и все немного успокоили себя таблеткой «видно, не судьба», программа, или, вернее, то, что от неё осталось, на много лет легло на полку архива. Сам же герой программы — удивительно деликатный человек — Борис Львович Васильев — так и не задал вопрос, которого мы все боялись: «Когда эфир?».

Итак, на дворе 2001 год. Телевизионные машины — ПТС — несутся по Ленинградке. У столбика «67» — резкий поворот направо в лес. Здесь дом Васильевых — Бориса Львовича и Зори Альбертовны. Времени не очень много — поэтому всё делается быстро: камеры, свет, звук, грим, указания редактора. Я изо всех сил пытаюсь собраться — человек, сидящий передо мной — небожитель...

Прошло пятнадцать лет. Интервью, так и не ставшее телевизионной программой, звучит сегодня ещё более точно, ярко и своевременно. Оно — перед вами.

Наталья Черных: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Линия жизни». Сегодня мы в гостях, а точнее сказать, в святая святых — в рабочем кабинете замечательного писателя Бориса Львовича Васильева. Когда мы говорим о линии жизни человека, о его судьбе, то понять её невозможно без знания корней этого человека. Я знаю, что вы с огромным почтением, уважением (вы много об этом писали) относитесь к своим предкам. Расскажите о них, пожалуйста...

Б.Л. Васильев: Конечно, легко опираться человеку, когда он знает свои корни, когда он их ощущает, когда они для него не посторонние, а идущие из глубины, из какого-то самого существа России. В этом смысле мне судьба улыбнулась. Я и родился в семье очень хорошей, и учили меня хорошо, и, надеюсь, неплохо воспитывали. Вы понимаете, вся беда в России заключалась в том, что у неё не сложилось единой культуры, единого культурного материка. В России не сложилось единого гражданского общества. Россия только приступила к строительству этого общества, после освобождения крестьян от крепостного права, когда она перестала быть страной рабовладельческой, прямо назовём.



Поэтому, когда она приступила к этому, но не успела ничего сделать, как началась империалистическая, а затем большевистский переворот, который в конечном итоге и не позволил создаться российскому единому гражданскому обществу. Всё дело в том, что это гражданское общество состояло из двух частей. Одна, наибольшая его часть, огромная часть — это было крестьянство, которое опиралось прежде всего на религию и на свои деревенские строго чтимые обычаи: на общину, на их решения, на уважение к старшим — вот её постулаты основные, — на любви к труду.

Вторая, наименьшая её часть, была более развитая — это была дворянско-городская культура. Я говорю дворянско-городская, потому что много было разночинцев, которые не были дворянами, но при этом называли себя дворянско-городской культурной средой.

Здесь было несколько другое. Здесь первоосновой была семья. Не её обычаи как таковые, для всех одинаковые, а её традиции, одинаковые для каждой семьи. Поэтому воспитание шло индивидуально, на традициях своей семьи, данной семьи. И огромное значение здесь приобретали знания, которые в тебя начинали вкладывать с самого раннего детства, не имеющие отношения к твоему будущему труду. Если крестьянский ребёнок будет пахать точно так же, как пахал его отец, когда вырастет, то (тогда, в те времена я имею

в виду, естественно) у городского жителя, у дворянина в особенности, выбор был значительно шире. Он мог поступить на любую государственную службу, и чтобы готовить его к этому труду, нужно было вкладывать в него какие-то иные основы. И они у него закладывались. Ведь общими для всех являются основы гуманитарные, прежде всего. Вот блок гуманитарных основ закладывался в городского ребёнка, замещая собою религию, потому что дворянство и разночинство в основе своей были... я не скажу атеистами, но для них религия была приятной традицией. Крестины, свадьбы, — всё, что хотите, посещение церкви по воскресеньям, но не более того, чаще они там не появлялись, так сказать. Просто дань традициям. Вот этот гуманитарный блок заменял эту религию, потому что он давал тебе корни, мораль, опору и понимание, как себя вести в столь изменяющихся обстоятельствах. Чёткое понимание, что ты должен делать, как должен поступать.

К сожалению, советская власть начала с того, что она разгромила церковь и разгромила само крестьянство, её экономическую основу, после чего крестьянство на Руси приказало долго жить, у нас нет крестьянства. Мы вот только пытаемся возродить через фермеров, но это очень длительный процесс. У нас были колхозники, а это не одно и то же. Колхозник занят общим трудом, получая некую усреднённую зарплату, поэтому лично в своём труде он никогда не был заинтересован. У него не было своего надела. Поэтому куда с большим остервенением и удовольствием он работал на своем участке (он его кормил), нежели на общественном, и это было вполне естественно, я ни за что не могу их упрекнуть — их поставили в очень трудные житейские условия, а религии нет... никакой. Значит, он лишён был и опоры своей. Нравственной и моральной.

А их, крестьян, была масса, огромная масса. И крестьянство начало бежать в города. Должен сказать, что города тоже были неблагополучные, в городах была расстреляна интеллигенция. Дворянство в первую очередь. Из старой интеллигенции практически все были посажены, подавляющее большинство было просто физически уничтожено. Кроме того, там храмы тоже были разрушены, хотя для города это была небольшая потеря, там храмов хватало. Так что беспокоиться нечего, кое-что оставалось, ну и слава богу, а нет, так и не надо. И в эти города, несколько обезличенные уже отсутствием интеллигенции, уже потеряв свой облик, свою нравственную опору в интеллигенции, бежали люди из деревень всеми способами. Уходили в армию и не возвращались обратно — это наиболее известный способ. Оставались одни девочки. Девочки любыми способами бежали, потому что нужно же род свой продолжать, это же зов предков. А от зова нельзя уйти. А как? Одни старики, женихов нет. И они всеми способами бежали в города.

А прибежав в город, они сталкивались с совершенно иной культурой, более изощрённой, более избираемой, требующей сравнений. Вместо одной церкви несколько, выбирай любую, пожалуйста. Это уже смущает крестьянина: как так, почему много? И поэтому они оседали в обывательском слое. В слое, который у всех городов был. Это были выходцы из крестьян большей частью, это были какие-то осевшие бродяжки, кто угодно. Это не мещанин

городской, это обыватель городской. Мещанин — это нормальный житель города, статус — это купец, это лавочник, это ремесленник. А это просто были никто. Они извозом занимались, что-то ремонтировали, в чём-то кому-то помогали, они выполняли ту черновую работу, которую город требовал от них. И постепенно этот слой рос. И таким образом попавшие туда крестьянские дети не приобретали культуры городской, а приобретали культуру обывательскую. Вот в чём было начало нашей трагедии. Рушилась одна культура и размывалась другая культура. Именно размывалась.

В результате обе эти культуры для России оказались потерянными. Советская власть хотела создать культуру сверху, советского человека, советскую культуру, так называемую. Но культуру сверху не создают, культуру создаёт народ. Он должен был на самом-то деле продолжать традиции России. Продолжать, только под другой вывеской. И как только рухнул Советский Союз — мы имеем то, что имеем сейчас. Суррогат культуры русской под названием «советской» тоже рухнул окончательно. Сейчас мы попали в пространство, лишённое культурного слоя.

Под культурой, я разумею, чтобы было понятно, отнюдь не искусство, что принято сейчас говорить. Потому что между культурой и искусством такая же разница как между образованием и образованностью. Ощущаете разницу?

Наталья Черных: Исходя из всего того, что вы сейчас сказали, если бы мы с вами моделировали сегодня судьбу человека, что надо заложить в основу его жизни, чтобы состоялся нормальный человек, личность?

Б.Л. Васильев: Понимаете, личность как таковая состоит в ощущении собственной личной нравственности. Не морали — это несколько иное. Мораль — это тот неписанный закон, по которому живёт данное общество. Вы знаете десять постулатов Нагорной проповеди. Вот по этой Нагорной проповеди и основывалась русская мораль. Мораль России. Мало того, что в ребёнка маленького, крохотное существо, закладывались основы этой морали, но и каждая дворянская семья закладывала для ребёнка ещё его личную нравственность, то есть традиции, порядок поведения и волю. Потому что он должен был выбирать себе службу, работу, сферу деятельности, ставить перед собой цель и её добиваться.

Что такое воля? Это поставить перед собой цель и её добиться, вот и всё. Лично добиться, во что бы то ни стало. Крестьянам не было нужды этого делать, потому что у них была другая задача в жизни. А дворянский ребёнок не мог по-другому поступить: если он поставит цель и скажет себе, что я буду генералом, как минимум, пусть он её не достигнет, но полковником станет. И тогда он пойдёт служить в армию. Для этого нужно заложить в него этот стержень нравственности.

Сегодня нам надо заложить хотя бы основы морали, то есть то, на чём держалось общество. И это разрушено. Настолько разрушено, что обратите внимание, слово «мораль» у нас не произносят даже средства массовой информации. Вы не встретите его в газетах, это слово исчезло из обихода. Это знак того, что его не существует как понятия. Почему?

Всё дело в том, что Россия никогда не была свободной. Никогда. За всё время своего существования она никогда не была свободной. Поэтому она воспринимала свободу как волю. А между свободой и волей огромная разница. Свобода — это твоё поведение в рамках закона, который ты прекрасно знаешь. А его нарушение грозит тебе неприятностями. А воля — это что хочу, то и ворочу. Система держалась не столько на морали, сколько на терпоре, будем откровенными. Но ведь террор исчез и всё остальное исчезло.

А мораль? От морали ничего не осталось. Свобода не может быть сверху декларируемой, как и воля. Не может, хотя бы потому, что наши законы не работают. Те, которые мы пытаемся провести, не работают, потому что для этого не подготовлен аппарат. Он тоже также воспринимает свободу, он такой же, он оттуда же, он из нас, этот аппарат. Он же делается из тех же самых... из нас самих, ребята, он ни лучше, ни хуже. В России аппарат состоял из дворянства, там другое образование было, другой уровень подготовки. Там всё другое. Там готовили управленческий класс. А у нас в какой семье готовят управленческий класс? Да ни в какой. Вот в чём всё дело. А быть хорошим специалистом и прийти руководить в министерство — это разные вещи. Ты чудный специалист, прекрасный, но ты можешь знать только свою специальность, на ней заикнуться, да, вот так упорно и не ощутить ничего другого.

Один только пример приведу, ради бога, извините. Но чёрт нас понёс в Афганистан. Просто не понравился нам там руководитель. Что в результате мы имеем? И в результате следующего хода что будет? А будет то, что Афганистан не умеет сдаваться. Там люди по-другому воспитаны, он не умеет сдаваться на милость никогда, они все подохнут, но не сдадутся. Они создали движение «Талибан». Послезавтра «Талибан» будет стучаться к нам в дверь.

То же самое в Чечне. Чеченцы тоже не умеют сдаваться.. Они все подохнут, но будут воевать с нами до конца, до последнего человека. А наши ребята из Чечни какими возвращаются? Изломанными. То есть мы сами себе нанесли чудовищный удар. Своей нравственности, своей морали, своему спокойствию, своим собственным людям мы нанесли чудовищный удар вдруг, решением сверху. От чего это пошло? От недостатка культуры. Потому что верстается управленческий аппарат из тех же слоёв, которые не знают, что такое культура.

Наталья Черных: Вот мы тут подошли к вопросу армии, вероятно, и даже проблемы армии и личности. Всё-таки есть понятие «честь офицера», и не всякая война справедлива. И для неё тоже нужно иметь внутренний стержень, он должен быть воспитан в понятии долга, чести, совести. Не имею я права идти и убивать других людей, хотя это разговоры, казалось бы, недостойные офицера.

Б.Л. Васильев: Нет, почему, очень правильно рассуждаете. Это значит, нравственность работает уже. Сначала давайте разберёмся, что такое война. С моей точки зрения, Маркс или Энгельс, точно не помню, короче говоря, кто-то из марксистов делил войны крайне неправильно на справедливые и несправедливые. Кто решает, какая война справедливая, какая не справедливая? Война бывает за и против. Вот Отечественная была за. Отечественная

война была за: за твою Родину, за твой народ, за твоих детей, за твоих стариков, за твои могилы, за твоё прошлое — за! А война в Афганистане, к примеру, это война против. Никто же нас не трогает, ребята, мы против воюем. Так вот Чечня сейчас воюет за, а мы против. Вот трагедия нашей армии в чём заключается. И каждый армеец, каждый офицер это внутренне ощущает. Ощущает. Тут ничего не поделаешь, совесть-то есть у каждого.

Армию нужно, конечно, реформировать. Это, конечно, безумно дорого стоит, потому что у нас была страшно раздутая армия. Её, конечно, нужно резко сокращать. Наша доктрина, объявленная на весь мир, для нас состоит в том, что мы собираемся только содержать армию, которая будет охранять нас без всяких наступательных действий. То есть нам нужно создать оборонительную армию. Она должна быть маленькой, очень профессиональной, очень хорошо вооружённой, очень гибкой в управлении. Очень гибкой. И, конечно, она должна состоять только из профессионалов — как офицеров, так рядовых. Только по найму, только профессионалов. Понимаете? То есть взять за образец... ну, американская армия, пожалуйста, она, как правило, состоит из профессионалов, она как правило контрактная, очень хорошо обучена. Это очень дорого стоит, я всё понимаю, но к этому должны идти не на словах, а на деле. Сокращать количество вооружений. Нам нужна оборонительная военная техника, сугубо оборонительная. Нам нужна линия Мажино кругом, условно говоря. Понимаете? А совсем не атакующие какие-то виды, которые собираются на кого-то нападать. Тогда можно совершенно спокойно сокращать армию. И тогда в неё набирать людей не только по контракту, но ещё по очень жёсткому конкурсу, где присутствовали психологи, которые бы состояние твоей души проверили на сотни тестов, как это происходит в Америке. Я это знаю лично, потому что я этим вопросом интересовался, как в полицию в Америке отбирают. Ох, какой там жесткий, жестокий отбор.

Потому что человек должен быть очень уверен в себе, он должен быть очень волевым, он должен быть очень смелым, и он должен быть свято убеждён, что он выполняет свой долг от имени народа. Народа! Не власти, а народа. Народа! На президента наплевать в данном случае, президент меняется, народ остаётся.

Наталья Черных: Как-то открыла я учебник психиатрии совершенно случайно и прочитала там примерно следующее: мерой психического здоровья человека является его способность во всём находить хорошее. Вот мы больны тяжело или просто чудовищно безграмотны? Ведь такое ощущение, что кроме войны и всякого негатива, который в мире происходит, его сейчас, к сожалению, хватает, мы просто ничего больше не видим. И мы ничего больше и не показываем. Достаточно включить «Новости», уже не важно, какого канала. Там часто ни одной позитивной новости просто нет. И люди устали от этого, они не хотят этого слышать, у них такой синдром невосприимчивости появился.

Б.Л. Васильев: Я прекрасно понял ваш вопрос. Хотя я бы сказал так: прежде всего надо видеть хорошее. Понимаете? Потому что добро нужно тоже видеть, иначе всё, мы безоружны. Прежде всего искать хорошее и его нахо-

дить. Я думаю, что сейчас нам этого не хватает просто в силу того, что мы все очень внутренне раздражены, озлоблены, у нас появляется много ксенофобии, которая вообще очень опасна. В России её никогда не было! Посмотрите историю России! Откройте её, там вы найдёте массу иностранных фамилий, любых... Будто вся Европа у нас в героях присутствовала, представители всей Европы. Такое ощущение, что Россия отбирала не по национальному признаку людей, а по способностям. По преданности, по способностям, по воле, по мужским качествам. По нравственности, в конце концов, глубокой. Здесь нужны реформы не те, которые мы сейчас пытаемся протолкнуть, а решительные, может быть даже одна реформа, но решительная. Увы, я не политик, я не государственный деятель, я просто старый человек, проживший жизнь в объятиях советской власти. Может быть, повезёт, проживу ещё немножко. Понимаете, мы всё время латаем Тришкин кафтан. В этом ужас всех наших правителей. Горбачёв — он латал этот кафтан, Ельцин латал кафтан, сейчас Путин тоже латает этот кафтан. Дорогие мои, надо, не знаю, совет собрать какой-то, я не знаю, не только из чиновников назначенных, но из уважаемых людей... они остались вообще в России или не остались?

Наталья Черных: Знаете, как-то смотрела список первого президентского Совета, когда Ельцин появился. Там же были прекрасные люди, это был цвет нации. А потом они все ушли, потому что им стало это не интересно.

Б.Л. Васильев: Совершенно точно. Я знал, что будет там плохо и когда на меня в этом деле нажимали и туда приглашали, я сказал: «Нет, не пойду. Я знаю, что будет, чем кончится». Потому что я уже был народным депутатом, я знаю, чем кончается дело. Чиновничеством. Ведь дело всё в том, что у нас чиновничье государство, оно правит балом. У нас дорвались до пирога чиновники и менять ничего серьёзно они не будут, потому что лишатся своей привилегии. Немедленно лишатся.

Наталья Черных: Борис Львович, я недавно была на концерте пианиста мирового уровня, и вот, после концерта в приватной беседе он сказал такую, очень горькую вещь: что после ухода Рихтера не видит он предпосылок для появления в России Рихтера. Пока. А что касается литературы или искусства, как вы считаете?

Б.Л. Васильев: Вы понимаете, искусство от вас требует личности не в потоке... Я всё понимаю. Была плеяда целая, только возникла во время Советского Союза, прекрасных исполнителей и композиторов. Были прекрасные писатели в советское время, но все они, заметьте, все выходцы оттуда — из культуры России, как один. Как один. Это первое... Понимаете, они кончились. Сейчас нет на них востребованности, во-первых. Во-вторых, не забудьте, наш народ весь целиком переживает чудовищную генетическую усталость. Чудовищную! Нас измотал XX век, как ни один народ в мире! Ни один народ в мире столько не пережил, сколько пережили мы. Эта генная усталость есть в нас во всех. А ещё детей мало рождается, не потому что жить трудно. Перестаньте, люди живут хуже, чем мы, а у них по 15 человек в семье. Потому что у них есть ради чего это делать — у них есть вера! У них есть твёрдость какая-то, убеждённость внутренняя. У нас ничего этого нет, у

нас генетическая усталость — всё равно будет только плохо, — вот, условно говоря, что она говорит. Зачем рожать? На муки очередные?

Россия вымирает постепенно. Россия спивается. Это тоже признаки генетической усталости. Нет сопротивления, оно погашено. При генетической усталости умирает и воля, и человек тянется к рюмке, потому что это кажется ему, что вот он... вот он сейчас восстанет! Вот!.. Ничего он не восстанет. Он погиб уже.

Надежда конечно, какая-то есть всегда. Но давайте учитывать, ведь почему-то гении посещают страны с хорошей культурой и избегают страны с культурой малой и разрозненной. Назовите мне гениального, чтобы не обижать народ сейчас, скажем, эскимоса?.. Его нет. Есть гениальные русские, немцы, французы, американцы, англичане, итальянцы, японцы, китайцы, индийцы. То есть, все они там, где есть большая культура. Только большая культура способна создать гения. Это та почва, на которой он вырастает, этот росток. А из тунгуса не выйдет никакого гения, никогда в жизни не выйдет, не получится, у него нет пласта, нравственного культурного слоя нет. Былинки растут, они хороший урожай. Вот ведь что получается.

Наталья Черных: Тогда всё-таки воспитание, образование?

Б.Л. Васильев: Так вот вернёмся сначала к воспитанию, потому что всё закладывает семья. Всё решительно закладывает семья. Школа только образовывает, институт тем паче, он даёт узкое образование, школа даёт более или менее какое-то общее. Хотя должен сказать, школа сейчас у нас находится в состоянии хаотическом и никак не может понять, что ей нужно делать. Я не предлагаю никакого рецепта, но я прошу тех, от кого это зависит, обратиться к опыту России. Не надо забывать прошлое, там было очень много хорошего. Александр II, величайший государь России, о котором мы почему-то никогда не упоминаем, а он сделал для России куда больше, чем Пётр Великий, поверьте мне. Он не только освободил крестьян, но и провёл ряд реформ, ну вы знаете, там военная, полицейская, экономическая, судебная. Лучшая судебная система была в России им введена. Лучшая судебная система в России той! Мы её разрушили, советская власть, напроочь. Он ввёл и учебную реформу. Он стал готовить четыре направления, которые нужны государству. Это будет востребовано обществом. Какие это направления? Гуманитарное — это прежде всего гимназии. Инженеры, техники, строители и все прочие, это техническое училище. Купцы, финансисты, промышленники крупные — коммерческое училище. Офицеры — юнкерское училище. Вот четыре направления.

Нельзя готовить детей одинаково, программы слишком большие. Они захлебнутся в этом, потом ими невостребованном, богатстве. Оно им не нужно, нужно строго выбрать для сына или дочери профессию, и в этом направлении их двигать, тогда будет толк. Тогда мы получим настоящую интеллигенцию, наконец, а не сумбур в голове.

Всё дело в том, что нужно уметь восхищаться перед маленьким ребёнком. Обязательно нужно восхищаться чем-то — героями, строительством, мостами, картинами, нужно это восхищение посеять в ребёнке, потому что

оно само собой не возникает. Нужно воспитывать людей, которые умеют восхищаться прекрасным, в чём бы оно ни заключалось: мост через реку — Прекрасный мост! Великолепный мост! Картина — ох, какая картина! Фильм — отличный фильм! То есть уметь восхищаться прекрасными деяниями человеческого разума и рук человеческих. Вот если это посеяно в человечке маленьком, то он не пропадёт в жизни, он выберет для себя то, что ему нужно по восхищению своему. Восхищение — двигатель ребёнка. Об этом двигателе внутреннем не нужно забывать никогда. И он должен обязательно опираться на внушённую ребёнку нравственность. Он должен наматываться на тот стержень, который ребёнка не позволит согнуть никому.

Нравственный человек остаётся и оставался нравственным (по Шаламову вам говорю) — даже в концлагерях сталинских. И с ним ничего не могли сделать — ни уркаганы, ни КГБ, никто. Он предпочитал умереть, но не становиться на колени. Вот научите ребёнка не становиться на колени перед властями. Это и есть нравственный стержень. То есть, быть личностью, которую нельзя согнуть и нельзя сломать, лучше смерть. На этот стержень намотать восхищение перед миром, перед людьми главным образом, не столько даже перед миром. Перед людьми, которые населяют этот мир: что они умеют делать, посмотри, миленький. Посмотри, что они умеют делать, что они создают! Вот это и подвигнет ребёнка в жизнь с целью, с задачей сделать тоже что-то великолепное, все будут восхищаться.

...Вы понимаете, я всё-таки ощущаю себя в большей степени человеком XIX века, нежели века XX, потому что и родители мои из XIX века. И потому что меня воспитывали по законам XIX века, потому что у меня преподаватели были из XIX века. Всё естественно, здесь. Во мне больше XIX века, нежели XX, тут ничего не поделаешь. Поэтому я себе позволю сказать с точки зрения представителя интеллигенции XIX века, а не XX.

Литература была одной из основных, отдельно даже выделенной ценностью. Я разделяю искусство и литературу всегда. Она настолько пронизала всё русское общество, что мы просто не могли смешать её с искусством, это было больше, чем искусство, это было мировоззрение. Каким языком она написана? Очень простым. Толстой, Достоевский, Чехов, Пушкин, Гоголь пользовались только очень простым языком. Очень простым.

Язык стали ломать в начале этого века, когда возникло движение футуристов, там, чёрта, дьявола. Это чисто вот такое озорное было учение, которое, если бы Россия продолжала развиваться нормально, если бы не большевистский переворот, оно бы спокойно и ушло. Стало бы, как и во всём мире, третьестепенным. Где-то хочешь, иди вон на такую улицу, там это есть, здесь не надо, в этом музее его не будет. Понимаете? Так что поискать бы ещё пришлось, побегать за всеми этими футуристами, символистами и прочими. Символистов я не буду трогать, я имею в виду прежде всего, конечно, вот кого. Такие люди возникают на предчувствии какого-то изменения, когда им начинает казаться, что для того, чтобы привлечь читателя, нужно отбросить старый язык. Ведь кричали же: «Сбросим классиков с корабля современности» — в своё время, помните это дело? Вот сейчас та же самая попытка про-

исходит. Это попытка с негодными средствами, потому что это смерть языку, это суетливо, это сиоминутно всё. Понимаете, это от лукавого, а не от Бога. От лукавого. От Бога простота.

Книжка должна быть написана в простоте. Знаете, как написан «Тихий Дон». Это лучший роман, который был создан в советскую эпоху. Лучший роман!

Наталья Черных: Вообще говорить о сложных вещах простым языком, наверное, великое умение.

Б.Л. Васильев: Но и великий труд. Куда проще закатить слова мало-вразумительные...

Наталья Черных: Как бы научить детей читать? Те, у кого в семьях читали хорошую литературу, они и читают всю жизнь. Но, к сожалению, не во всех семьях читают книги.

Б.Л. Васильев: Вы понимаете, я могу сказать от личного опыта, как приучили меня. Я у деда воспитывался в самом маленьком, юном возрасте. Читать я ещё не умел, но до сих пор помню, у него было очень много журналов. Он мне давал журнал, я сидел на полу у его ног, я вертел журнал и рассматривал картинки и спрашивал дедушку, и он никогда не отказывал мне в объяснениях.

Никогда нельзя отмахиваться от ребёнка, когда он спрашивает — первое условие. Никогда. Если ребёнок спрашивает, значит, он чего-то не понимает. Вложите в него сейчас, воспользуйтесь этим мгновением. Воспользуйтесь, и он сам вам даёт возможность объяснить ему доходчивым детским языком, что здесь изображено и что это означает. И всё, этого будет достаточно. В пять я уже читал. Ну, конечно, пальцем водил по строчкам, детские книжки, мне ничего другого не давали, но читал.

Понимаете, было очень много книг, я вырос среди книг. У деда была гигантская библиотека, часть только досталась маме, потому что он со мной послал много, для меня, чтобы я читал. Он меня очень любил. Потом, когда у деда имение после его смерти национализировали (дед народник был, поэтому не трогали, очень известный народник), то книги переселились к нам. И отца с места на место посылали, посуду, вилки, ложки, мебель продавали по месту прибытия. Себе казённые. Красная армия. Я на этом воспитан. Я из этого с детства хлебал... Это я помню, наборы выдавались нам. Значит, это возить не надо было. А что возили с собой? Книги.

Вот ящики отец покупал, и моя обязанность была, мне было там шесть-семь лет, укладывать туда книжки. Я держал в руках литературу, и я знаю сколько она весит. Она тяжёлая, ребята. Она увесистая. Она — золото. Золото, которое я грузил в ящики. Ощущение золота во мне на всю жизнь осталось. Пусть ваши дети грузят в ваши ящики всегда, если это речь идёт о книгах, а не фарфор, который у вас, не знаю, или хрусталь, и чёрт с ним. Это дело наживное. А вот это не наживное, это века. Века.

...Ничего нет опаснее, чем поверхностное ознакомление. Потому что тогда у человека возникает ощущение, «я это знаю», его не интересуют

ет дальнейшего, что происходит. Я думаю, что это вопрос элементарного смещения. Школа не может разделиться, куда, кого и для чего мы готовим. Вы понимаете, мы ко всему готовим — этого нельзя делать! Надо готовить к чему-то. Нужно вернуть реальные училища, гимназии, называйте по-другому, это ваше дело, коммерческие училища и юнкерские училища. Нужно их вернуть.... Кадетские корпуса то есть. Их нужно вернуть, потому что там будет закладываться минимум того, что нужно будет будущему человеку в жизни и максимум того, что ему необходимо будет в жизни. Понимаете? Вот там само собой всё и утрясётся.

В гимназии будет очень много литературы и истории, слава богу, это гуманитарии завтрашние, это платформа, на которой стоят вообще все науки на свете. А в коммерческом будет только ознакомление, на здоровье, пожалуйста. А в реальном будет самое главное — физика, математика, химия, компьютер. На здоровье, это им надо, для будущего, для строительства, для чего хотите. Все они будут полноценными, потому что каждый будет знать своё.

Нужно думать не о том, как я, министр образования, отчитаюсь наверху, перед Президентом, а о том, что ребёнок этот, став взрослым, будет иметь в своём рюкзаке. Вот о чём нужно думать главным образом. Поэтому школьную программу нужно резко менять. Нужно переориентировать людей на точно направленные вещи. Мы с вами где-то говорили уже, не хочу повторяться. Вот тогда будет толк. А так и с литературой погрязнем, с историей погрязнем, даже не говорите про историю, потому что её вообще не изучают.

... Уровень культуры. Нам нужен уровень культуры. Вот мы опять возвращаемся к тому же самому — уровень культуры.

Наталья Черных: Хорошо воспитанному в семье человеку легче — он выключит и не будет смотреть, а не воспитанный — он сам таким становится. Как только появляются деньги, все запреты снимаются, к сожалению.

Б.Л. Васильев: Да нет, запреты нужно делать сверху. Штраф — всё, мгновенно. И в такой компании, чтобы у них всё прогорело к чёртовой матери, по миру пошли. Ну, да, я всё понимаю, надо с чего-то начинать. Надо начинать... мы боимся слова «запрет», а не надо его бояться, потому что надо охранять общую нравственность... Общую нравственность, а не частную нравственность, что хочу, то ворочу. Свобода — это рамки и в этих рамках извольте ...

Наталья Черных: Как редко наши дети слышат сейчас хороший, чистый русский язык, даже в школе.

Б.Л. Васильев: А вы знаете, что случилось? У нас была такая большая зона, такое огромное количество людей сквозь неё прошли, что когда был сломан её забор, эта зона хлынула на нас всех. Мы же говорим на полууголовном языке, вы никогда не ловили, слух ваш не ловил? Люди говорят на полууголовном языке. «Мочить» — это уголовное слово. За границей просто не поймут, это умыть.



...Меня посетил немецкий корреспондент, брал у меня интервью. Он хорошо говорит по-русски, и когда интервью закончилось, я у него спросил: «Вы знаете русский язык, прекрасно знаете и нашу блатную феню, но всё-таки абстрагируйтесь от этого дела. Как немец поймёт фразу "террористов мочить в сортире"? Он подумал-подумал, сказал: "На всех европейских языках это будет переведено только одним способом — будем умывать террористов в туалете"». Это несколько не то, что хотели сказать в России СМИ. (Смеётся.) Это обратное тому, что хотели сказать. Поэтому Запад не понимает, что было произнесено. Вот засорённость нашего языка уголовным. Отсюда мат прорвался, понимаете? Это как сыпь по-

крыла нас всех, мне всё время чесаться хочется, ребята, я ощущаю, что какая-то короста на мне нарастает всё время. Мат проник в литературу, это вообще недопустимая вещь! Поэтому, когда встречаю одно скандальное слово, я немедленно бросаю книжку, какая бы она ни была. Я дальше не читаю. Не могу заставить себя читать, я на другой литературе воспитан. У меня дома никогда не ругались. У меня отец прошёл четыре войны, у него самое страшное слово было «шляпа». А мама чуть не падала в обморок от слова «дурак», когда я произносил его. Она не могла его произнести и говорила: «Боря, я тебя заклинаю, никогда не говори этого слова. Никогда не говори, это плохое слово, Боренька». Так что всё идёт в конечном итоге всё-таки, наверное, от нас самих, ребята. Наверное, самих.

Не надо ни на кого жаловаться, никакое правительство, никакие думы, никто ничего не сделает, если мы сами чего-то не сделаем. Если мы сами от этого не очистимся, если мы сами себя не профильтруем, себя не очистим вот щёткой хорошей. Понимаете? Тогда возникнет опять то, что было когда-то... Совесть, нравственность, чистота, уважение к женщине. Дай Бог...

**Кира Сапгир
(Франция)**

Кира Александровна Сапгир родилась в Москве. Окончила Московский институт иностранных языков (французский факультет). Член Союза писателей Москвы, Международного Пен-клуба, Международного союза журналистов. Публиковала в Москве детские книги, сценарии и пр. Живёт в Париже, куда эмигрировала в 1978 году. К. Сапгир — переводчик, литературный и художественный критик, прозаик, поэт и журналист. Долгие годы работала в газете «Русская мысль», печатала статьи в журналах «Континент», «Грани», «Новое русское слово», «Панорама», была корреспондентом Французского международного радио и радио «Свобода». Публикуется в зарубежной и российской прессе — «Литгазете», «Независимой газете», «The art newspaper Russia» и др. Автор романов «Ткань лжи», «Дисси-блюз», сборников рассказов и очерков «Быки и улитки», «Оставь меня в покое», «Париж, которого не знают парижане», «Париж — мир чудесный и особый»... Переводчик французской народной поэзии, а также Ронсара, Превера, Р. Кено и др.

Гитарам в футлярах тесно

Беседа с коллекционером гитар Иваном Бариевым

Я люблю щебет цыганских гитар стаи ночных кабацких птиц. И они, похоже, отвечают мне тем же. «Я с тобой дружу, оттого, что ты поешь не фальшиво», — говорил мне музыкант Марк Лучек, парижский ночной король.

И посему с таким счастливым замиранием сердца спешила я по вечерней Москве в Музей музыкальной культуры им. Глинки в предвкушении, как говорят гадалки, «приятного свидания по ночной дороге». Свидание это было с собранием раритетных гитар из частной коллекции Ивана Бариева. Сам Иван Бариев — уважаемый человек, который в цыганском мире обладает непререкаемым авторитетом. Статус «устабаши» (то бишь лидера или «цыганского барона») позволяет ему вершить справедливый и беспристрастный суд, разрешать спорные вопросы сообщества.

В день открытия в Музее Глинки собрался, по-видимому, весь свет и цвет цыганского общества. При этом «весь цвет» был весьма цветасто одет. В фойе мелькали юбки, похожие на клумбы, вперемешку с мини леопардового принта; алые шейные шали у мужчин горели на сногшибательных костюмах от Версачи и Кардена.

...Ну, вот они, красавицы! За стеклами витрин на изящных подставках красуются уникальные инструменты. Смугло-золотистые деки нежного клёна и драгоценного палисандра инкрустированы перламутром, чере-

паховым панцирем, костью, чёрным деревом. Есть странные творения с двумя, даже тремя грифами. Все эти сказочные гитары — шестиструнные, семиструнные, многострунные, многогрифовые — творения самых знаменитых мастеров из России, Венгрии, Италии, Франции, Германии.

В центре — жемчужина коллекции: датированная 1813 годом гитара легендарного музыкального мастера Ивана Батова (1767—1841), крепостного графа Н.П. Шереметьева. Эта гитара — гордость хозяина: она принадлежала Илье Осиповичу Соколову (1777—1848), основателю легендарного Соколовского цыганского хора.

Пришедшие в Музей Глинки восхищались великолепной вереницей бесценных творений мастеров прошлого.

А затем последовал концерт — по сути, необъявленное соревнование шестиструнных гитар с семиструнными. Virtuозы потчевали публику дьявольскими трелями импровизаций. Со своего места в партере я видела теснившихся в кулисах музыкантов: их ревнивые улыбки, хищный блеск глаз, струнную напряженность, нетерпеливую сосредоточенность кошки перед броском на сцену...

И в зале, насыщенном электричеством, у многих зрителей сверкали глаза в темноте, будто красные угли ночного догорающего костра.

Затем целую неделю и с утра до вечера я просыпалась и засыпала с чувством абсолютного счастья. И в конце недели мы встретились с Иваном Бариевым, любезно согласившимся на разговор о жизни и судьбе его и коллекции.

Цыгане — вольные дети степей, свежий воздух предпочитают ресторанной духоте. И потому, по-видимому, для нашего разговора мой собеседник избрал скверик у метро Аэропорт. Там, под трамвайный трезвон, мы устроились на скамейке для беседы...



К.С.: — Иван, крупные коллекционеры, эксперты считают вашу коллекцию уникальной, единственной в мире. Как давно вы занимаетесь собирательством гитар?

И.Б.: — Собирать гитары я начал 25 лет назад. Сегодня в моей коллекции 115 инструментов. Примерно 70 процентов из них — гитары русских великих мастеров прошлых эпох. Это Иван Батов, Александр Краснощёков, Сергей Березин, братья Архузен. Есть и зарубежные мастера-семиструнники: Штауфер, Шерцер, Битнер, и современные — Акопов, Момот и др.

К.С.: — Откуда пришла к вам эта страсть?

И.Б.: — Страсть началась с потери. Когда мне было лет 11-12, отец мне подарил старинную гитару. Ее прежним владельцем был великий гитарист Сергей Орехов, музыкант-семиструнник, который долго работал в цыганском театре «Ромэн». Я её помню — огромная, великолепная, чёрного цвета. Отец приобрёл её для меня, заплатив, скажем прямо, небольшую цену, — и стал меня учить на ней играть...

К.С.: — Ваш отец был музыкантом?

И.Б.: — Мой отец был танцором. У него было цыганское прозвище — Калач. Он был серьёзным чечёточником, долгое время работал у Игоря Моисеева. Отец создал свою школу степа, венгерско-мексиканскую. Он и меня учил танцевать. Из-под палки временами! Отец прожил до 71 года. Его очень все уважали. Дом у нас был открытый. Каждый день появлялись гости, приезжавшие с гастролей, или просто так, на огонёк. Порой вовсе незнакомые появлялись, и никто имён у них не спрашивал. Порой случались драки. И в один не-прекрасный день отец вступился за младшего брата, дядю Монтия, работавшего в цыганском театре «Ромэн»... Вернувшись после гастролей, Дядя Монтий зашёл навестить брата. А тут какой-то чужой человек затеял с ним драку. Над головой дяди был занесен огромный гаечный ключ! Отец вмешался, ударил обидчика, тот отлетел в угол — прямиком на мой инструмент! Прекрасный инструмент был разбит в щепки! Здесь и моя вина: это я поставил гитару в ненужное время в ненужное место. И я решил искупить свой грех перед этой разбитой гитарой. В то время муж моей сестры, Александр Маштаков, тоже из «Ромэна», подарил мне великолепную гитару работы И.С. Семёнова (1870 г.). «Ваня, — сказал он мне, — взамен погибшей гитары ты должен собрать серьёзную коллекцию, и пусть этот инструмент будет в ней первым». Я растерялся. Как мне её собрать? А он мне говорит: «У тебя есть чутьё, я вижу. Никто с 1907 года не пробовал создать такую коллекцию, ни в России, ни где-то ещё. А ты сможешь. И я тебе в этом помогу.»

К.С.: — А какая гитара была следующей?

И.Б.: — Второй ко мне пришла гитара знаменитого Ивана Батова. Я приобрёл её у Александра Комарова, реставратора раритетных гитар номер один... Самые знаменитые инструменты прошли через его руки. Он

мне предложил этот редчайший инструмент и сказал: «Возьми его. Он уникален тем, что это последняя работа мастера и на неё пошёл особо ценный материал — палисандр». Комарова уже сегодня с нами нет — он ушёл из жизни полгода назад. Но остались последователи, ученики — Владимир Аджикулов, Валерий Маслов, у которого уже есть и свои ученики, талантливые ребята...

К.С.: — А есть какая-то особо любимая вами гитара ?

И.Б.: — Они все — мои возлюбленные. При этом, на слух гитара звучит, как гетера. Так в Древней Греции называли подругу, спутницу жизни. Гитара женского рода на любом языке, и не зря. У нее очертания женского тела, прекрасного, золотистого. Это тело живое, оно дышит, поет... Но сам я предпочитаю играть не на семиструнной, а на шести-струнной гитаре. И моя самая верная спутница, с которой я не расстанусь никогда, это гитара Санкт-Петербургского мастера-шестиструнника Андрея Хомячкова. Мне эта гитара удобна, она — «своя». И когда я иду в гости к друзьям, на дачу, например, и меня попросят: «Ваня, захвати гитару!» — я беру с собой её.

К.С.: — Мой отец обожал цыган, цыганскую музыку. Он сидел в лагере на Воркуте, за Полярным кругом по статье 58, то есть как «враг народа». А когда наступила «оттепель» и его реабилитировали — после восьми лет в шахтах! — отец решил радоваться жизни, навёрстывая упущенное. И с тех пор к нам не застала народная тропа цыган, не смолкало цыганское пение, звон гитар. К отцу приезжали в гости артисты тетра «Ромэн». Отец дружил с Радой Волчаниновой, с Ром-Лебедевым...

И.Б.: — Да, Ром-Лебедев — это уже просто мифологический герой! Прекраснейший человек! Великий музыкант, основатель театра «Ромэн». Я его уже не застал, но давно прошу кого-то из наших ребят написать об этой легендарной личности.

К.С.: — Многие артисты Театра «Ромэн» сегодня обосновались в Париже. Остались тут после гастролей... Им здесь, по их словам, комфортнее, чем в любой другой стране, будь то Европа или Соединенные Штаты.

И.Б.: — Театр «Ромэн» гастролировал во всём мире, по Америке, Японии, Индии. Но именно в Париже у них был настоящий триумф! Артисты рассказывали, что во Франции их особенно прекрасно принимают, и что тамошняя публика до тонкостей чувствует цыганское пение, ценит цыганскую культуру, её романтику... Ведь наших музыкантов обожали ещё в русском эмигрантском Париже. В парижских ночных кабаре 30-х обречённые на изгнание дворяне, князья, рыдали, слушая «Эмигрантское танго» скитальца — Алёши Дмитриевича...

К.С.: — Это был мой друг!

И.Б.: — Прекрасно! Алёша Дмитриевич — гений, мировая величина не только цыганской, но и всеобщей культуры.

К.С.: — Мне вспоминается Алёша: маленькая, щуплая фигурка, и при этом блатной прищур, разбойный блеск в глазах... Алёша Дмитриев был частым гостем у художника Эдуарда Зеленина. Там весь цыганский парижский табор вообще дневал и ночевал! Алёша пел, играл, изрекал афоризмы, к примеру, такие: «Раньше мы были молодые и красивые, а теперь только красивые». Или же: «У нас есть господа, а есть порядочные!».

И.Б. — Всё так и есть.

К.С.: — В цыганском землячестве вы играете значительную роль.

И.Б.: — Это так. Я избран председателем Совета старейшин Международного союза цыган. Ещё у нас существует Московский совет цыган, где я вице-президент. Есть Федеральная национально-культурная автономия российских цыган. Там президент — доктор исторических наук Надежда Георгиевна Деметр. А я вице-президент. Я пользуюсь среди цыган авторитетом оттого, что все знают: я неуклонно соблюдаю законы цыган и по справедливости сужу людей. Все знают: я сын отца и матери, высочайших авторитетов, которые были уважаемыми всеми людьми. Я ими воспитан в уважении к закону. Оттого и моё слово — закон.

К.С. — Иван, приходилось ли вам принимать, как говорится, соломоново решение?

И.Б.: — Вообще-то соломоновых решений я не мог принимать, оттого что с рождения и в течение 33 лет был мусульманином. Я, скорее, действую, как Александр Македонский, который просто взял в руки меч — и разрубил «гордиев узел». Как правило, в улаживании конфликтов я руководствуюсь латинской поговоркой «Худой мир лучше доброй ссоры». Пару лет назад в Воронеже между людьми разгорелся конфликт, грозящий перейти в массовую поножовщину и междусобицу. И мы тогда не только подключили местные авторитеты, но и пошли в администрацию, в прокуратуру. Мы сказали, если местная власть не вмешается, всё может случиться, будут массовые беспорядки. И благодаря этой нашей, вернее, моей дипломатии, через пару недель конфликтующие всё же сели за стол переговоров. И резни не было.

К.С.: — Круто! А существуют ли международные цыганские организации с официальным статусом?

И.Б.: — Существует Международный союз цыган, созданный в Лондоне, кажется, в 71-м году. В числе почетных гостей там был Юл Бриннер, наш человек. Тогда был учреждён цыганский флаг — красное колесо на зеленом поле... И тогда же был признан гимн цыган мира, «Джелем, джелем».

К.С.: — О чём поётся в этом гимне?

И.Б.: — Он говорит о трудах и страданиях, о путях-дорогах цыганского племени. Ведь и сегодня мы чувствуем себя изгоями! У нас всё ещё нет законного места под солнцем. Нигде наши люди не желанны в мире.

Считается: если он цыган, значит, он бандит, значит, он виноват, значит, он конокрад, разбойник, вор, наркоделец. А мы столетиями занимались ремёслами — были котельщиками, корзинщиками, лудильщиками, кузнецами; медведей дрессировали, конями торговали, пели-играли, на картах гадали.

К.С.: — А сколько талантливых людей вышло из среды цыган! Ромы были братья Поляковы — Серж, абстракционист с мировым именем, и его брат, музыкант Владимир. Они до революции играли у «Яра», затем перебрались в Париж. И здесь они зарабатывали на жизнь игрой на гитаре по ресторанам. Серж Поляков аккомпанировал Дине Верни, сделавшей ему имя...

Я ещё застала в Париже Володю Полякова. Ему было уже за 90, но он всё ещё пел и играл в ресторане «Царевич». Вот как он рассказывал о брате:

«Был у нас в "Яре" басок, Вася его звали. Вот мы, значит, по вечерам играем, поем, а Вася наш под рояль — и спать. Мы ему говорим: "Как же так, Вася? Ты ведь на работе, а сам спишь." А он в ответ: "Вам-то хорошо, вы ночами играете, зато днём отсыпаетесь. А я по утрам бегаяю в Художественную академию!" Тут Серёжка мой и говорит: "Дай-ка и я тоже в Академию бегать буду!". И вскоре (гордо) нарисовал "ню" по всем правилам. А потом — эх! (безнадежный жест) — ушёл в школу Кандинского!»

Володя Поляков дожил до 95 лет. Этот певец брал слушателя за душу — в его пении порой слышалась вся скорбь и трагедия гонимого народа...

И.Б.: — В период Второй мировой нас, как и евреев, немцы массово уничтожали. Гнали целыми таборами в Освенцим, Дахау... 80 процентов цыган Европы тогда были истреблены. И красный цвет колеса на нашем знамени — цвет цыганской крови, пролитой проклятыми гитлеровцами. В ежемесячнике «Цыгане России» в каждом номере есть рубрика «Цыганский холокост». И Международный союз цыган добивается компенсации за репрессии и геноцид.

Мы долго мечтали о цыганском мемориале. И сегодня сбылась наша мечта: в театре «Ромэн» создан Музей геноцида и боевой славы цыган. Это во многом заслуга Народного артиста России и бессменного аксакала театра «Ромэн», Николая Алексеевича Сличенко! Низкий ему поклон!

К.С.: — Вы были в Париже?

И.Б.: — Был. Два раза.

К.С.: — В Париже тоже есть замечательный коллекционер гитар, это князь Николай Бебутов, эмигрант в третьем поколении. Его прозвали «князь-водопроводчик», оттого, что он обладает ещё и уникальной коллекцией старинной сантехники. Среди этих «бытовых чудес» есть даже алебастровая ванна времен Римской Империи.

Коллекционировал семиструнные гитары и мой друг, парижский музыкант Марк Лучек, руководитель ансамбля «Балалайка». У него в коллекции была прекрасная гитара Краснощёкова. Марк собирал эту коллекцию всю жизнь, — и когда впал в нищету, гитары не продал. Он умер в 2008 году. Его сын, Паскаль, тоже прекрасный музыкант, тогда устроил аукцион в галереях Лувра, на ул. Риволи. Я на нём побывала. А вы знали Марка Лучека?

И.Б.: — Не довелось, к сожалению. Но мне жаль его.

К.С.: — Скажите, а у вас Париже есть друзья?

И.Б.: — Я хорошо знаю Петро, главу цыганского семейного ансамбля «Ивановичи». Они из Югославии. Мы познакомились в Праге, лет 15 назад. Потом я приехал в Париж на Новый год, отмечал его в «Лидо» вместе с ними. Это прекрасная талантливая семья. Я знаю его супругу, Наташку Удовикову. И Раечку, Наташкину маму, знаменитую актрису, танцовщицу, знаю хорошо. А вот с младшим братом Петро, Слободаном, познакомиться не довелось — умер во цвете лет.

К.С.: — А знаете, кем был их отец, Ярко Иванович? Не поверите — министр всея цыганской культуры! Он играл в ресторане «Гольденберг» на ул. Розье, в парижском древнем еврейском квартале Марэ. Такой плотненький, в цилиндре, в жёлтых лакированных штиблетах. Иванович-старший жил не в доме, а, по обычаю отцов, на колёсах — не в кибитке, конечно, а в собственном «роллс-ройсе». Над его машиной развевалось знамя — то самое, с красным колесом на зелёном поле. Ярко Иванович слегка презирал Алёшу Дмитриевича за то, что тот купил замок. Он мечтал о воссоединении всех цыган-артистов. И говорил: «Министр цыганской культуры, что волк без зубов!» Но не пора ли вернуться к вашим гитарам?

И.Б.: — Ну, что сказать? У меня есть гитары, принадлежавшие большим артистам, Николаю Крючкову, Марку Бернесу. И то, что их гитары у меня — большая для меня радость. В моей коллекции многим инструментам по 100, 150, а то и по 200 лет. Быть может, их слушали Пушкин, Лев Толстой, Александр Блок... В XIX веке породистые гитары стоили бешеных денег. Порой один инструмент меняли на табун лошадей! Есть в коллекции гитары, принадлежавшие поэту Апполону Григорьеву, виртуозу Русанову. Есть даже гитара Ивана Батова, которую император Николай Первый собственноручно подарил Соколову, знаменитому руководителю цыганского хора в легендарном ресторане «Яр».

К.С.: — Соколовская гитара?! Та самая?

И.Б.: — Та самая. Её я приобрёл случайно. Были у кого-то в гостях. Подходит человек и говорит: «Слушай, Иван, есть гитара Батова. Давай её продадим, заработаем громадные деньги». Я засомневался. Не такой уж я знаток, чтобы самому атрибутировать инструмент, надо ехать в музеи, обращаться к специалистам в Союз реставраторов России. Хотел было махнуть рукой. А когда увидел её, то прямо обомлел! В общем, я

её купил и оставил у себя. Не смог продать на сторону, хотя предлагали цену в 10 раз больше изначальной.

К.С.: — Вы сами не пытались объединить цыганских музыкантов в какой-то творческий союз?

И.Б.: — Да, пытался. Хотел создать Московское общество музыкальных цыганских ансамблей. Было в Москве раньше объединение МОМА — Московское объединение музыкантов и актёров — и я хотел создать такое же, но чисто цыганское. Однако вскоре понял, что это напрасный труд. В актёрской среде ревность, зависть. Пойдут распри из-за гонораров — почему, мол, одним платят 500 долларов за выступление, а другим всего 100? В общем, не вышло бы ничего. И ведь так хочется иметь что-то свое, цыганское. Свою киностудию, например. Почему не Рома-фильм? Звучит?

К.С.: — А почему бы вам не основать свой собственный ансамбль?

И.Б.: — В 90-е годы мы с братьями держали казино, в Марьино. И решили там создать мощный цыганский ансамбль. Кликнули клич — сразу отозвалась масса людей, лучшие гитаристы, превосходные танцоры, скрипачи! Просуществовали мы всего год. А потом пошли указы о том, что казино в России надо ликвидировать, и на этом наша эпопея завершилась. Ну, бывает.

К.С.: — Когда вы снова собираетесь к нам, в Париж?

И.Б.: — В самом скором времени. Мне предложили показать свою коллекцию в Espace Cardin. Я вообще готов показывать её всему миру. Всем людям. Гитарам в футлярах тесно. И за то, что сегодня я их выпустил из темниц на вольный воздух, открыл футляры, показал добрым людям, — моя огромная благодарность Музею Глинки.

Заключительный аккорд

Ой, да не будите! (Цыганский реквием)

Памяти Слободана

Слободан Иванович заказал другу — художнику Зеленину — портрет. На портрете бархатный ус, гитара, на плечах шаль в пунцовых розах. Серьга брильянтовая в ухе...

Красуется картина на видном месте — в баре «Штар» на Больших бульварах близ Монмартра. На стене напротив в рамке золотой диск-пластинка, что напел Слободан — певец полночный. По ночам пел и играл Слободан в баре — перед глазами пунцово-чёрное летало. Словно пунцовая шаль с черными розами. Словно огонь над угольями в ночном чистом поле.

Напевшись-наигравшись, садился играть в карты. Как-то утром, когда очень уж везло, выглянул из дверей — дух перевести. Поглядел вдоль

недлинной светлой улицы, глотнул воздух, улыбнулся — да и упал. Так и лежал у порога, улыбаясь.

Помертвели все!

На похороны весь древний народ слетелся, всё не пуганное певчее племя. Сошлись петь и плакать. Ох, как плакали! Ох, как пели —

Ой, да не будите!

В полусолнечный апрельский день собрались у церкви — разодеты, хоть бы и на свадьбу. У женщин ленты и мониеты. У мужчин шелковые шали.

Возле церкви катафалк — что кибитка. Венки из роз до самой крыши. Вынесли гроб из церкви — покатали к могиле «мерседесы», «кадиллаки», «роллс-ройсы» — в каждом по человеку: не простого человека — короля хоронят! Едут — бьёт в глаза первая пыль — от пыли глаза слезятся.

Дождь пошёл — поют под дождём птицы. За гробом идут музыканты — протягивают гитары небу — валится в гитары весенний дождь. Кричат голоса, кричат гитары — падает песня в раскрытую могилу. Песней молятся, кричат небу — песня летит в небо — словно одна душа тут на всех:

Ой, да не будите!

Отпускают гитары в таборный рай музыканта: «Не робей, братишка! Ходи веселей!»

Вот и попрощались — по горсти светлого песка кинули на гроб, да и пошли прочь от смерти. Над могилой лишь туман остался — синяя тень.

Ой, да не будите!

Кан — Москва, 2014 г.

ПО СЛЕДАМ НЕМЕРКНУЩИХ СОБЫТИЙ



© Художник Андрей Карапетян

Геннадий Сердитов (Россия, Санкт-Петербург)

Родился в 1937 году в Кронштадте, в семье флотского офицера. В сентябре 1941 года с матерью и старшей сестрой под бомбами и пулёмётными очередями успели выскользнуть из смыкавшегося блокадного кольца Ленинграда. С 1945 года по сей день живу в Санкт-Петербурге. Школа, БГТУ «Военмех», Конструкторское бюро специального машиностроения. Работая 28 лет в ракетно-космической области, сподобился пообщаться с выдающимися личностями — космонавтами, конструкторами, учёными, в т.ч. с академиком С.П. Королёвым. Заводы, верфи, объекты, полигоны по всей территории бывшего СССР. Десятки проектов и изобретений. Перейдя в 1989 году в ЦКБ морской техники, 23 года отработал в подводном кораблестроении. Зам. главного конструктора, главный специалист по вооружению. В деловых поездках побывал в десятках стран мира. Член Союза литераторов, автор четырёх книг стихов и рассказов, лауреат очных и электронных литературных конкурсов..

Детям, внукам и т.д. Я был (Отрывок из автобиографической повести)

Глава 2

Ленинград. Старая Деревня. 1945-1952

Писать мемуары, по-моему, удел людей публичных, вдруг выкинутых на обочину. Как у Булата Шалвовича: «Славою увиты, только не убиты». Чувствуя, как их быстро забывают, многие «бывшие» берутся за перо или, что ещё чаще, нанимают нищих писателей и излагают свою версию «давно минувших дней».

А если со «славою увиты» напряжённо, тогда как? Медных труб не было, а огонь и воду проходили, да и потомки — вот они, раньше было не до них, а теперь успеть бы только им поведать, «кем я был, что знал и где бывал». Для таких ещё Жюль Ромен (тот, который Луи Фаригуль) изрёк: «Бурная судьба может компенсировать личную посредственность». Значит, не только маршалы и бывшие генсеки, но и бомжи и даже офисный планктон могут этим заняться, было бы, что вспомнить.

Нравится мне английское выражение «A blast from the past» — вспышка из прошлого. Применимо к любым рассказам о былом. Стоит к нему добавить слова Грегори Робертса: «Если ты не смеёшься над

своей судьбой, значит, ты не понял шутки», да ещё присовокупить наше российское: «Хорошо, когда есть что вспомнить, жаль, не всё можно рассказать внукам», — вот вам и кулинарный рецепт для выпечки мемуаров. Ему и буду следовать. И, как говорил Макьюэн, если «я в этой драме возьму себе лучшие реплики», не обессудьте, таковы свойства человеческой природы. И памяти.

В конце мая 1945 года мама забрала меня из Боровичей в Ленинград, а если точнее — в нашу оставленную на время войны квартиру в ленинградской Старой Деревне.

Старая Деревня — исторический район Петербурга на правом берегу Невской губы. Когда-то эти земли шведы отобрали у новгородцев, у шведов их отобрал царь Пётр и подарил барону Остерману. Тот устроил себе здесь мызу Каменный Нос, а вокруг поселил пригнанных из Поволжья крепостных. И стало место их проживания называться без особых затей Деревней. У Остермана эти земли отобрала Елизавета и подарила их графу Бестужеву-Рюмину. Граф тоже пригнал своих крепостных, поселил их рядом с Деревней, напротив Каменного острова. А чтобы отличить одну деревню от другой, первую стали называть Старой, а вторую — Новой. В церкви между двумя деревнями Наталия Пушкина познакомилась с Дантесом, а на кладбище при этой церкви Пушкин написал стих «Когда за городом, задумчив, я брожу». Гении, они ведь не от мира сего. Не бродил бы задумчив между надгробий, не оставлял бы жену без присмотра, глядишь, и остался бы жив. А так пришлось с этим хлыщом стреляться. Здесь же, неподалеку, на Чёрной речке. Почти рядом. Если напрямки огородами и через Серафимовский погост.

С годами в Новой Деревне было построено много увеселительных заведений, весьма популярных у петербуржцев: «Аркадия», «Ливадия», «Кинь грусть»... В обеих Деревнях любили квартировать цыгане, выступавшие в этих злчных местах. И, если помните, у Ильфа и Петрова, на теле Остапа Бендера якобы находят ноты романса «Прощай, ты, Новая деревня».

Для кого «прощай», а для меня в мае 1945 года «здравствуй». И «здравствуй» на долгие 18 лет. И, как в стихах Олжаса Сулейменова, здесь для меня будет навсегда «мальчишество заковано в рассудок хвоинкой в жёлтый камень янтаря».

Маме в тот год было 32, сестре Гале почти 13, мне шёл восьмой год. А папе было бы 38, но его с нами больше не было. Мама поставила на буфет его фотографию в морской форме, и он долгие годы внимательно смотрел на нас из-под козырька фуражки, как бы спрашивая: «Ну как вы там? Держитесь?»

Вокруг нашего дома были сплошные пустыри, все деревянные дома в округе за войну либо сгорели, либо были разобраны на дрова. Их остатки представляли собой кучи битого кирпича и ржавой домашней утвари — кроватей, кастрюль, швейных машинок, короче, всего того, что нельзя было пустить на дрова. Мы с друзьями называли их «разбитыми домами» и целыми днями играли на их развалинах. Вокруг осталось только несколько хибар из кирпича или шлакоблоков. Да ещё несколько частных изб, в которых жили стародеревенские аборигены, коих наш дом называл «кулаками» за то, что те во время блокады наживались на горожанах, выменивая на «картошку-морковку» чьи-то фамильные драгоценности, а после войны все мы иногда горбатились на них, чтобы заработать какие-то гроши. Вся земля вокруг была занята огородами, обнесёнными заборами из ржавых кроватей. Мы свинчивали со спинок этих кроватей шарики, которые при стрельбе из рогаток издавали свист «дырочкой в правом боку».

Надо признать, что послевоенная разруха обернулась для нас, пацанов, многокилометровым раздольем для игр, чего были лишены наши сверстники в городских дворах-колодцах. В сотне метров на север от нашего дома проходила железная дорога, мы там собирали камни для рогаток. За железной дорогой находилось совхозное овощехранилище, которое можно было обойти слева и выйти «на оперативный простор» — луга и перелески вплоть до речки Каменка, дальше мы летом не забирались, нам и так хватало пространства. Зимой через замёрзшую Каменку мы ходили в большой лес за ёлками. Луга за совхозом были изрезаны противотанковыми рвами, мы изредка в них купались, но только в сильную жару: в этих рвах были отвесные стенки и стояла чёрная торфяная вода. В них не водились ни рыба, ни лягушки. В перелесках за рвами почему-то не было ни грибов ни ягод, иногда попадались редкие сыроежки и поганки. Ближе к Каменке в большом количестве водились змеи, в нашей компании их не любили и старались с ними не связываться.

В трёх сотнях метров на юг от нашего дома протекала Большая Невка, мы там тоже не очень любили купаться из-за сильного течения и холодной воды. Иногда, правда, на спор переплывали на другой берег в ЦПКиО, но потом приходилось долго топтать в мокрых трусах по берегу среди нарядной толпы, чтобы с поправкой на течение приплыть обратно на своё место.

Во время ледохода река несла в море массу сюрпризов — какие-то будки, лестницы, ящики, доски, брёвна, а иногда лодки, ещё реже трупы. За плывущим добром охотились стародеревенские мужики, они баграми вылавливали брёвна и сушили их на берегу, чтобы по осени разделить на дрова. Нашей желанной добычей были бесхозные лодки, в результате у многих из нас была своя лодка, оставалось только разжиться вёслами. Осенью лодки надо было вытаскивать на берег, а по весне смолить. На этих лодках мы ходили в Финский залив вплоть до Лисьего Носа, удили

рыбу и купались. Мы все отлично гребли и табанили, без проблем справились одним веслом с течением реки при возвращении из залива.

Если вам довелось посмотреть старый фильм «Верные друзья», то вспомните, как в самом начале компания пацанов играет в пиратов на лодке посреди Яузы. Вот так примерно выглядели и мы, босоногие оборванцы из Старой Деревни. Мимо нас скользили спортивные скифы (СКИФ — спортивный клуб института физкультуры, а не лохматый кочевник с топором), распашные фюфаны, красавицы яхты и белоснежные швертботы, на их фоне наши просмоленные тихоходные лодки выглядели ископаемыми протокрокодилами среди изящных лебедей и фламинго. Ну и пусть, зато это был наш собственный флот и мы на нём были и обветренными морскими головорезами, и просоленными капитанами из «Клуба знаменитых капитанов», и прославленными адмиралами.

Много лет спустя мне довелось общаться с поседевшими мастерами спортивной гребли, чемпионами и призёрами всевозможных ристалищ прошедших лет вплоть до Олимпийских игр. Прошёл я как-то и на яхте класса «Звёздный» с Борей Мирохиным, многократным чемпионом города и Союза. Много раз в своей жизни я пересёк Финский залив на разнообразных катерах, теплоходах и боевых кораблях. Но сколько я ни вглядывался в сероголубые дали, я ни разу не увидел чёрные рыбацкие лодки, управляемые бесшабашными пацанами. Видно, уплыли те лодки в дальние дали, в синие моря к пальмовым островам и не оставили следа на серых волнах нашего залива...

Наш «кусочек» берега реки был всего метров 50 и располагался между заборами речной милиции и Пятого завода, на высоких и коротких стапелях которого строились катера.

Как я уже говорил, река иногда приносила трупы. Наш сосед, потомственный рыбак, дядя Петя Мамонов, считал дурной приметой, если его рыбный сезон начинался с утопленника. Как-то по весне он выловил одного такого, всего облепленного корюшкой. С тех пор я корюшку не ем.

Соседство речной милиции нам, пацанам, не очень нравилось, так как все наши лодки были незаконными — без номеров, документов и уплаты налогов. Был случай, когда арестовали лодку моего друга Борьки.

Дело было в августе, когда уже по-осеннему темны вечера и холодна вода в Неве. Поздним вечером мы с Борькой, раздевшись догола, подплыли к злополучной арестантке, привязанной между белыми милицеевскими катерами, и начали её отвязывать. Вдруг послышались голоса — от милицкого домика к реке шли двое. Пришлось нам поднырнуть под мостки и затаиться. И пока эти двое курили и скрипели половицами мостков над нашими головами, мы сидели по горло в холодной воде, боясь чихнуть от холода. Как партизаны. Но всё обошлось. Милиционеры на прощание помочились в воду и ушли, а мы отвязали лодку и отвели её на нашу «дикую» стоянку в двадцати метрах от милицеевской.

Но соседство речной милиции доставляло нам не только проблемы. За её глухим зелёным забором располагалась ещё и база футбольной команды «Динамо». Сейчас мало кто знает, что до и после войны в Ленинграде футбольное «Динамо» было не менее популярно, чем «Зенит». Конечно же мы, мальчишки, болели и за «Зенит», в котором тогда блистали Фридрих Марютин, лысый Левин-Коган, любимец города вратарь Леонид Иванов... Но команду «Динамо» мы любили больше, потому что они были «свои», стародеревенские. Мы, бывало, подкарауливали знаменитый динамовский автобус на выезде с базы. Нам открывали переднюю дверь и мы усаживались на пол у ног футболистов. Когда автобус въезжал на стадион (сначала «Динамо», а после открытия в 1950 году — стадион им. Кирова), минуя охрану и конные милицейские патрули, дверь раскрывалась и мы выпрыгивали в толпу зевак, по ходу отбиваясь от вопросов, например, на каком месте сегодня будут играть Лотков и Орешкин, поправился ли Тенягин, и что перед игрой говорил игрокам Бутусов. И лишь однажды динамовский тренер, а в прошлом знаменитый на всю страну игрок и капитан сборной, Михаил Павлович Бутусов не разрешил нам с ними ехать, сказав: сегодня душно и в автобусе и так нечем дышать. Бывало, что мы отправлялись на стадион им. Кирова, набившись в чью-нибудь лодку. И пока мы бесплатно болели на трибунах, хозяин лодки два часа терпеливо ждал нас, а затем забирал в условленном месте, и мы, перебивая друг друга, пересказывали ему ход игры. Так выходило намного быстрее, чем ходить в обход через ЦПКиО и Приморский парк победы. И дешевле.

Возморье

В сферу наших мальчишеских интересов на пару километров западнее нашего дома входило «возморье». Нет, не взморье, не лукоморье, а именно «возморье», так его называл друг мой Борька, потомственный житель Старой Деревни из рода Полировновых по прозвищу Брунчик.

Квартировал когда-то у их деда Ивана инженер немец Брунс, вот и прозвали всех многочисленных Полировновых Брунчиками. Так же, как других старожилы Старой Деревни звали Маслёнкины — у их бабушки были смолоду красные блестящие щёчки, похожие на грибы маслята, остряки прозвали её Маслёнка, а от неё пошло потомство — Маслёнкины, хотя у них были какие-то другие фамилии. Жила ещё в Старой Деревне Вера Породистая, дама с пышными формами, про неё говорили, что таковы были и её довоенные кондиции и всё это приписывали какой-то болезни, однако в блокаду Вера стала изящной и даже тощей, но после войны сумела успешно восстановиться.

На «возморье» мы ходили купаться. Идти надо было по Приморскому шоссе мимо деревообрабатывающего комбината (ДОК № 6), мимо дорог

на лесопилку «Деловой Двор», Скобской дворец и Паркетный завод, на этом город заканчивался, дальше до самой Лахты простирались болота, сквозь которые по искусственной насыпи тянулись, тесно прижавшись друг к другу шоссейная и железная дороги. Здесь, на асфальте Приморского шоссе, летом всегда было в изобилии раздавленных машинами и высохших на солнце лягушек. Много позже, когда я в разных концах света попадал на званные банкеты с французской кухней и взирал на блюда с красиво уложенными лягушачьими лапками, я вспоминал нашу дорогу на «возморье».

Когда летом 1945 года в районе «возморья» я впервые попал на берег Финского залива, то испытал некоторое душевное смятение, ещё бы, на горизонте вода сливалась с небом и не было видно другого берега! Весь семилетний опыт моей предшествующей жизни протестовал — такого не может быть! До этого момента были в моей жизни реки Луза, Сысола, Вычегда, Северная Двина, Вельгия, Мста, Нева, и всегда у любой воды было два берега, а тут один... Помимо этого, помню, я испытал и восхищение удивительной красотой солнечного дня, белых облаков и слившихся без видимой линии горизонта голубых стихий неба и воды... В последующей своей жизни я много раз бывал на берегу различных морей и океанов, но такого восторга при виде моря, как в тот день, мне никогда больше испытать не довелось.

В том месте, где Приморское шоссе делает не очень крутой поворот направо и раньше отходила дорога к «Деловому Двору» и Скобскому дворцу, власти решили поставить памятник Ленину, якобы здесь он когда-то входил в Петербург. Соорудили гранитный постамент, посадили вокруг цветочки, установили на постамент бронзового Ильича и накрыли покрывалом. Осталось только сдёрнуть это покрывало, произнести речи и отправиться на банкет. Но. Приехала комиссия, глянула на окружающее вождя убожество — чёрные тоскливые лачуги, тонущие в болоте грядки, окружённые ржавыми кроватями и уехала восвояси. Ильича вместе с покрывалом увезли, а на его место оперативно водрузили бронзовую девушку с букетом цветов, правда, фигурка оказалась гораздо меньшего размера, чем Ильич, но зато со своим личным бронзовым постаментом. Говорят, она так до сих пор и стоит на двух постаментах — большом гранитном ильичёвском и миниатюрном своём, девичьем. Кто-то пустил слух, что она, якобы, встречала наших бойцов, возвращавшихся с Финской войны. Нет, друзья, эта хрупкая девочка там выручает вождя, вернее, его преемников. Я тому свидетель.

Вернёмся на наше заветное мальчишеское «возморье». Купались мы не в заливе, где надо было долго идти от берега по мелководью, чтобы поплавать, а в водоёме, образовавшемся на месте бывшего моста через протоку по старой дороге на Лахту. Позже на эти болотистые земли лет двадцать подряд земснаряды намывали грунт со дна Финского залива. А

потом там построили целый город. Вернее, Северо-Приморскую часть Петербурга. Я там до сих пор не был, чтобы не предавать своё детство и своих друзей, навсегда оставленных в том детстве. По моим прикидкам, глядя на карту, место нашего купания в водоёме находилось где-то в районе пересечения нынешних улиц Савушкина и Яхтенной. А может быть, меня подводят глазомер и память. Давно это было.

Красная будка

В ста метрах от нашего дома стояла трансформаторная будка из красного кирпича. Мы её называли просто «красной будкой». Она была хороша тем, что за ней нас не было видно из окон дома. Там мы играли монетами в пристенок и чеканку, сокращённо — «чхэ», там пробовали курить и устраивали «стычки» — драки один-на-один для выяснения отношений в присутствии остальных пацанов, следивших за соблюдением правил. Так, во время моей стычки с Вовкой по кличке «Имай», он начал драку при ремне с бляхой, сказав, что иначе потеряет штаны. Но во время стычки он этот ремень молниеносно снял и успел расквасить медной бляхой мне висок. За что и был тут же наказан — пацаны навалились на него толпой и отняли ремень. После этого мы с ним помирились и всей ватагой, с разбитыми носами и губами, отправились купаться.

Была за красной будкой у нас и такая сценка. Кто-то сказал, если набрать в рот керосина и выплюнуть его на горящую спичку, то получится большой огненный факел. Вот мы и пошли это дело проверить. Но сколько бы мы не плевали струёй керосина на спичку, она попросту гасла. Без всякого факела. Очередь дошла до Вовки Пыхи. Только он набрал в рот керосина, как из-за будки выходит его мать и тянет на верёвке корову (они жили в частном доме и держали скотину). Пыха тут же выплюнул керосин и, решив задуть зажжённую спичку, сильно дунул на неё. Вот тут-то и произошло чудо — возник долгожданный огненный факел метра на полтора от его рта! Его мама, тётя Нюра Маслénкина, от испуга выпустила верёвку и шлёпнулась задом на землю. Корова просто убежала, мы её всей ватагой еле поймали на картофельных огородах.

Но секрет эффектного циркового номера нами в тот день был раскрыт.

Дом наш был восьмиквартирным, и все квартиры — коммунальными. В некоторых комнатах жило по две семьи, поэтому с наступлением тёплых погожих деньков народ старался побольше времени проводить во дворе. Мужики играли в домино и шахматы, женщины судачили, сидя на траве под берёзами, мы играли в лапту, футбол или волейбол.

Сестра подарила мне мяч — резиновая надувная камера и чёрная кирзовая покрывка со шнуровкой. Мы играли им в волейбол. Однажды этот мяч влетел в наш дровяной сарай через проём над дверью, бежать

домой за ключом было лень, и я полез через проём. Вообще-то, там полагалось быть стеклу, но оно в тот момент было разбито, а новое пока не вставлено. Вскарабкавшись по двери наверх, я ухватился за край крыши, подтянулся и закинув ноги в проём, спрыгнул в тёмное нутро сарая. У дверей стоял наш огородный инвентарь — лопаты, тяпки и грабли. По всем законам комедийного жанра мои ноги угодили на грабли. В прыжке с двухметровой высоты я получил удар в висок и потерял сознание. Очнулся оттого, что друзья с улицы барабанили в дверь и требовали выбросить им мяч. Я пошарил руками вокруг, нащупал злополучный мяч и выкинул его в проём, крикнув, чтобы дальше играли без меня. Моё лицо заливала кровь. Получилось так, что грабли, вернее их черенок, угодили мне в старую рану от бляхи Вовки-Имая, оттого и пошла такая обильная кровь. В крови было и лицо, и руки, и рубашка. В таком виде вылезать во двор было стыдно, и я просидел в сарае полдня, пока все мои дружки куда-то не умотали.

Цыганка. Предатель Трусов

В один из погожих дней, когда жильцы нашего дома высыпали во двор и грелись на солнышке, к нашим мамам подошли цыганки и так же уселись на траву. О чём они там беседовали, можно только догадываться, я лишь заметил, что они часто поглядывают в нашу сторону. Вряд ли их интересовал исход нашего футбольного поединка.

Много лет спустя мама призналась, что цыганки тогда предсказывали судьбу каждого из нас. И никогда не делилась со мной услышанным. Только однажды сказала, что в 57 лет меня ждут большие неприятности. До названного срока оставалось ещё почти полсотни лет, о чём мне, пацану, было тогда горевать? Но этот срок я запомнил, и чем меньше до него оставалось времени, тем чаще вспоминал. А в мои 57 лет в стране была Перестройка, разгул бандитизма, погасшие уличные фонари, какие-то фигуры в темноте, торопливо везущие на саночках мешки. Мой «банкир», основатель вульгарной пирамиды, исчез вместе с моими деньгами и деньгами поверивших мне людей. Многие из них слали на мою голову проклятья, а некоторые не скрывали, что желают моей смерти. Но я выкарабкался. Продал купленную на «лёгкие» деньги квартиру, и если не расплатился полностью, то хотя бы частично компенсировал чужие потери, не оставив себе ни копейки. При этом растерял многих друзей и дальних родственников. Думаю, что выдержать всё это мне тогда помогло моё отнюдь не тепличное детство.

С тех пор я думаю, что цыгане действительно обладают некоторыми способностями экстрасенсов. И однажды, читая стих А. Блока «Когда гордый и надменный», я встретил строчку: «Спляши, цыганка, жизнь мою», — и понял, что это и про меня тоже. А что? Если в балете можно,

танцюя, рассказать занимательную историю, то почему этого нельзя сделать в таборной «Цыганочке»? Только вот не представляю себе, что бы это был за танец, какие телодвижения смогли бы выразить все приключения (смешные и не очень) моей богатой на зигзаги жизни. Однако же строка мне понравилась и я её даже взял эпиграфом к этому опусу.

Мама устроилась на работу одновременно курьером и грузчиком в конторы «Ленуголь» и «Ленсланцестрой», что размещались внутри Гостиного Двора. Мы с сестрой Галей иногда ездили к ней на трамвае. В этих поездках я познавал большой Ленинград. Мы добирались до Новой Деревни на «подкидыше». Там пересаживались на «тройку» — в шикарные, на наш взгляд, красно-белые вагоны, которые назывались почему-то «американскими», и ехали в центр города. Тогда рельсы были проложены от кольца в Новой Деревне по набережной, через Строгановский (впоследствии Ушаковский) и Каменноостровский мосты, по Кировскому проспекту, по Кировскому мосту и далее по Садовой улице. Сестра показывала мне все достопримечательности, которые знала, а я только крутил головой. Каменный остров, татарская мечеть, памятник «Стережущему», Дом политкаторжан, Нева, крейсер «Аврора», Петропавловская крепость, Ростральные колонны и т.д. Кстати, по Невскому проспекту тогда тоже ходили трамваи. Сидя в них, можно было разглядывать стоящие вдоль Невского дома-призраки, сквозь окна которых светилось небо — там не было ни крыш, ни межэтажных перекрытий. Где-то высоко на стенке висели чьи-то портреты в рамках, чудом зацепившаяся за стенку кровать, правда, без спящего в ней человека, бачок от унитаза...

Под арками Гостиного Двора, по Садовой линии, шумел чёрный рынок. Здесь можно было без карточек выменять на обручальное кольцо буханку чёрного хлеба, кусок колотого сахара на пригоршню пуговиц, брусок хозяйственного мыла на дореволюционное издание Пушкина... К маме там как-то раз метнулся невзрачный человек и торопливо заговорил: «Тоня, если увидишь кого-нибудь из кронштадтских знакомых, скажи им, что Трусков — предатель. Он выдал немцам много наших!» Как в плохом кино про войну. Я в жизни несколько раз пересекался с нормальными порядочными людьми по фамилии Трусков, и каждый раз бывал настороже. Мало ли что...

А ещё мама устроилась ночным сторожем в Малый оперный театр, поэтому мы с сестрой, бывало, подолгу её не видели. И поэтому же иногда ездили к ней на работу, чтобы чего-нибудь поесть.

Школа

1 сентября 1945 года я должен был пойти «первый раз в первый класс», но друг мой Борька забыл за мной зайти, и я прождал его весь день зря. Так что моя школьная жизнь началась не с первого, а со второго

сентября... В классах нас было очень много, например, в нашем первом классе было сорок человек. Были мальчишки-калеки, однорукие, одноногие, одноглазые. Я гляжу на групповые фотографии своего класса и вспоминаю, кто из ребят сидит, положив под себя костыль, кто спрятал культю руки за спины товарищей.

Война отметилась на моих ровесниках ещё и тем, что в каждом классе учились переростки из оккупированных в войну немцами мест, из партизанских отрядов. Они казались нам совсем взрослыми, курили, рассказывали нам, например, как в кожухе пулемёта закипает вода и надо ползти к ручью, чтобы набрать холодной. Некоторые из них были одеты в перешитые немецкие мундиры, а однажды двое из этих переростков прямо на уроке, выскочив к доске, устроили драку. Они же раньше всех бросали учёбу и уходили работать. Тем более, что после войны было много вечерних школ рабочей молодёжи.

Случалось, что в классах бывало холодно, тогда мы сидели в пальто и шапках, а учителя иногда нас поднимали, чтобы мы попрыгали и, сняв шапки, потёрли замёрзшие пальцы о свои стриженные головы. Когда в школу привозили каменный уголь, мы вместо уроков с восторженным криком втягивали по лестницам и растаскивали по классам железные ванночки с углём.

В морозы холодно бывало и дома. У нас в комнате было две кровати, я спал на полу. Когда же было совсем холодно, а мама дежурила, мы с сестрой натягивали на себя всю одежду, залезали в её кровать и поверх одеял набрасывали наши пальтишки.

Однажды утром сестра толкает меня локтем — гляди, Генька, молоко! На нашем обеденном столе всегда стоял стеклянный кувшин с водой. Не знаю, зачем, воду из него никогда не пили. Наверное, для красоты. А в этот раз в кувшине было молоко. Значит, мама прибежала ночью с дежурства, не стала нас будить, оставила нам молока и убежала. Сестра вылезла из-под одеяла, схватила кружку и попыталась налить в неё это молоко. Увы, это была замёрзшая за ночь вода. А когда мы попытались поесть супа, оказалось, что к оставленной в кастрюле поварёжке примёрзли все макароны. Не помню, смеялись ли мы тогда с сестрой над такой незадачей, но вполне могли.

Мой товарищ по институту, а затем и по многолетней работе в конструкторском бюро, Пашка Т* со смехом рассказывал, как он году в 1942-м пошёл ночью в уборную и, пока он сидел на горшке, раздался сильный грохот. Вернувшись в комнату, он обнаружил, что половина комнаты отсутствует, а его кровать свёрнута в баранку. Смеялся он оттого, что через много лет представлял себя спящим в этой скрученной кровати. Помнится, у Чарли Чаплина есть фраза: «Жизнь — это трагедия, когда видишь её крупным планом, и комедия, когда смотришь на неё издали». Так же, смеясь, одна из подруг моей сестры рассказывала,

как она собирала на обед лебеду и крапиву по крутым берегам Карповки, начался артобстрел, взрывной волной её сбросило в речку. «Да я тогда была тощая и лёгкая, как пёрышко, — оправдывалась девчонка, — жаль, платье всё полиняло после стирки, а так было очень смешно».

В 1947 году сестра Галя заболела туберкулёзом и частенько лежала в больнице. Тогда я оставался дома совсем один и сам, как мог, выстраивал свою школу выживания. Однажды, проснувшись, я как был, в трусах и солдатской нижней рубаше, сунул ноги в валенки и накинул пальто. Когда же я пришёл в школу, то обнаружил, что под пальто у меня только нижнее бельё. Пришлось мне вместо уроков топтать обратно домой. А это пешком вдоль железной дороги около трёх километров. Была бы дома сестра, обиделся бы на неё, а так сам виноват, прогульщик несчастный.

В школу можно было ходить по трамвайным путям, а это четыре остановки, не считая «подход-отход». Можно было прицепиться к всегда переполненному «подкидышу», но меня однажды сняли с трамвайной «колбасы» и отвели в милицию. Так я попал в их «хулиганскую» картотеку. Мы с другом Борей предпочитали ходить по железной дороге. Особым шиком для нас было идти по рельсам на спор, кто раньше оступится. В результате мы научились все три километра проходить, не касаясь земли. Это мне позже очень пригодилось при сдаче норм в альплагерях — я без проблем бегал по бревну и даже делал на нём ласточку и приседания на одной ноге, т.н. «пистолетики», но это, пожалуй, было уже не от хождения по рельсам, а от занятия коньками.

И было однажды так, что в сильную пургу мы с Борей сошли с рельсов раньше времени, потому что на них задувало сильнее, чем на тропе вдоль насыпи. И в этот момент из снежной кутерьмы почти бесшумно вынырнул поезд и прошуршал мимо нас. Было это примерно в том месте, где позже соорудили платформу «Старая Деревня». Будучи взрослыми, мы нет-нет да и вспоминали с Борисом Ильичом, как мы удачно тогда остались живы.

Мясо

Как-то мама оставила дома кусок сырой говядины. Положила его в судок, придавила крышку утюгом и поставила на шкаф, чтобы не съели крысы. В тот раз её услали в дальнюю командировку и почти неделю её не было дома. Я, придя из школы, доставал этот судок, вынимал мясо и нюхал его. Запах был противный и никак не мог подавить голод. Я натирал солью самый краешек мяса и, зажмурившись, откусывал. И долго, не глотая, держал его во рту, сосал, как конфету. Особенно противным на вкус был белый жир, но и его пришлось съесть, когда кончилось красное мясо. Потом я сжевал и жилы. В конце недели я просто грыз оставшийся голый мосол. Когда, наконец-то, появилась мама, она первым делом достала этот

судок, мол, сейчас наварим и поедем. «Сейчас будет бить», — подумал я и напрягся. «Крысы, как же они под уютю-то залезли?», — недоумевала мама, держа в руках основательно обгрызанный мною мосол.

Я решил, что это такая изощрённая подготовка моего наказания и сразу во всём признался. И совсем неожиданно для меня мама расплакалась. Как сейчас вижу, сидит она на полу с этой злополучной костью в руках и плачет. Моя мужественная, бесстрашная, самоотверженная мама... Я подумал, что плачет она оттого, что не из чего нам теперь варить суп. Но она обняла меня и заплакала ещё горше. Видимо, накатилось всё сразу.

Когда плачет ребёнок, это нормально — либо он испытывает некий дискомфорт, либо попросту капризничает. Когда при ребёнке плачет мать — это всегда отметина на сердце. В любом возрасте. Лучше бы мы с ней тогда посмеялись. Позже выяснилось, что мама попросила кого-то забрать меня на неделю к себе, да у людей, видимо, что-то не срослось.

А ещё был случай, когда у мамы из сумочки выкрали все наши продуктовые карточки. Сестра была дома, и нам троим предстояло прожить месяц без захода в магазин. Оставшуюся в доме половинку буханки чёрного хлеба мама обвязала кушаком от своего халата и повесила на стеной гвоздь. Она каждый день отрезала от этого хлеба тоненькую пластинку и мы с сестрой, нет, не жевали, а сосали маленькие кусочки этого лакомства. «Бывают в жизни огорченья, когда вместо хлеба едят печенье», — говорила сестра, а я, вместо того, чтобы поддержать её шутку, по простоте душевной ждал, когда это печенье появится.

И была у нас ещё одна хитрость, как пить чай без сахара. Просто надо между двумя хлебками слегка присвистнуть. Сейчас многие пьют чай и кофе без сахара, но никто при этом не свистит, видимо, не знают нашего секрета.

Наш сосед, рыбак дядя Петя Мамонов иногда подкармливал нас от своих уловов. Я помогал ему вязать бураки для ловли миноги и вить короткие верёвочные концы для их привязки к основному канату, а он, вернувшись с реки, выкладывал нам из ведра несколько живых миног. Угощал он нас иногда миногой копчёной и маринованной. А вы часто едите миногу? Как видите, в нашем доме иногда не было хлеба, но, случилось, мы, сами того не осознавая, вкушали деликатесы, достойные царского стола.

Мама как-то достала мне билет на ёлку в Кировский ДК на Васильевском острове. От этого ДК вели два пути — один на Большой проспект ВО под яркими фонарями и другой на Средний проспект по тёмным аллеям. Теперь я думаю, что фонари там были специально разбиты. Мне надо было идти на Средний проспект — там ходил трамвай № 37, незадолго до того пущенный в нашу Старую Деревню. Под пальтишком я прятал полученный на Ёлке подарок — пакет с парой кружочков печенья «Василёк», парой шоколадных конфет и румяной мандаринкой. В тёмной аллее на меня навалилась толпа местных пацанов и, как я ни отби-

вался, лёжа на снегу, они, оторвав все пуговицы на моём пальто и разбив мне лицо в кровь, отняли у меня подарок. А я-то собирался поутру отнести его сестре Гале в больницу. Я плакал. Не от боли, к ней мне тогда было не привыкать, плакал от обиды, от безысходности. Не умел я тогда ещё относиться к подобным ситуациям философски. Ещё не научился. И не был ещё придуман Макс Фрай и его фраза: «...случилось, значит, случилось. Какая, к чёрту, разница, почему небо в очередной раз рухнуло мне на голову? Оно рухнуло, следовательно, надо выстоять».

Во втором или третьем классе и я заболел туберкулёзом. Меня часто и подолгу крутили в рентгеновском аппарате, диагноз был всегда один — очаг. Меня отправили в Лесную школу в Пушкин. Во-первых, чтобы оградить от контакта с сестрой, во-вторых, чтобы подкормить и подлечить. Мы с одноклассниками за полгода облазали весь город Пушкин и все парки, шныряли даже там, где ещё не было разрешено сапёрами. Помню танк, стоявший без башни на Винтовой горе. Башня валялась в стороне. А ещё помню, как привезли ящики с Гераклом, и мы бегали посмотреть в щелочку на его мужское достоинство.

В Лесной школе я занимался языками — французским и английским. Персонально. Учительница была старенькая фрейлина с седенькими бу- клечками, она жила здесь же при школе и почему-то выбрала меня для персональных вечерних занятий. Она угощала меня чаем с печеньем, а я бодро шпарил ей рассказы по картинкам сначала по-французски, потом и по-английски. В конце наших занятий она написала мне бумагу, чтобы я с этой бумагой пошёл в кружок иностранных языков Дворца пионеров, как очень способный к языкам пионер. Но я никуда не пошёл. Из Старой Деревни до Дворца пионеров на Невском было очень далеко, да и не было у меня такой одежды, чтобы ходить по дворцам. В школу я ходил в застиранном лыжном костюме, а в Лесной школе нам выдавали казённые зелёные «бумажные» свитера и чёрные морские брюки. Это, пожалуй, была самая нарядная одежда за всё моё счастливое детство. Но её при отъезде домой пришлось снять. И никто на память не сфотографировал.

Денежная реформа

Хорошо помню 16 декабря 1947 года — денежную реформу и отмену продуктовых карточек. Говорили, что в начале декабря люди сметали с магазинных прилавков всё — ещё бы, старые деньги должны были потерять девять десятых от своего номинала. У нас никаких денежных накоплений не было, поэтому тот ажиотаж нас не касался. Утром 16 декабря, по дороге в школу, дружки в трамвае показали мне фокус и за один рубль пять копеек из моего кармана мне купили пятнадцатикопеечный трамвайный билет. Очень наглядно и убедительно. Я учился во третьем классе и тогда так и не понял, куда девался мой рубль.

Вечером мама принесла в фартуке кучу белых булок — так называемых саек и «французских». Мы с сестрой заворожённо смотрели, как наша мама разворачивает толстую серую бумагу, и на свет появляется волшебный брусок необыкновенного светло-жёлтого цвета. Сливочное масло! Мой нос едва возвышался над столешницей, поэтому всё действие происходило на уровне моих глаз, но всё равно картина казалась нереальной. Мама аккуратно соскребаёт ножом с бумаги остатки масла, чтобы ни грамма не пропало, затем намазывает его на куски булки и выдаёт нам — ешьте! Такого вкусового восторга я никогда больше не испытывал, хотя за свою жизнь побывал на многих министерских, адмиральских и посольских приёмах в разных концах света. Что там яства всей земли по сравнению с тем бутербродом 16 декабря 1947 года! Помните у Милна, как «Король, Его Величество» просил выдать ему кусочек масла и, в конце концов его получает и очень этому радуется?

Король воскликнул: «Масло!
Отличнейшее масло!
Прекраснейшее масло!
Я так его люблю!»

Я прекрасно его понимаю, ведь я в тот день был таким королём...

Очереди. Баня. Пленные немцы

Иногда мама снимала меня с уроков, и я стоял в очередях за мукой или сахаром. Особенно противно было стоять вьюжными зимними ночами. Худенькая моя одежонка продувалась насквозь, и я понимал, что плохо одет. Сейчас, когда я собираюсь выйти в мороз на улицу и выбираю, что надеть из кучи свитеров, шарфов, шапок, перчаток, брюк, курток и дублёнки, я больше думаю о том, как я буду выглядеть, пока топаю до тёплой станции метро, нежели о возможности замёрзнуть. А тогда в послевоенных очередях я старался спрятаться от студёного ветра за чужие спины. И ещё одна хитрость, придуманная мною — стоять надо лицом к хвосту очереди, чтобы видеть только тех, кто за тобой, так легче было переносить дискомфорт от долгого стояния. Под утро меня сменяла сестра Галя, и я бежал домой погреться и поспать.

Никаких душевых и ванн в стародеревенских домах не было, и по выходным люди тянулись в баню в Новой Деревне. Там всегда были длинные очереди. Мама водила меня в женский класс, где я мог наблюдать быстротекущую жизнь в её неприкрытом виде. Но однажды банщица сказала маме, чтобы она больше меня туда не приводила, и я с тех пор, если мне случается быть в общественной бане, моюсь исключительно в мужском классе. Помню первые мои впечатления в мужском классе в отличие от женского — слишком много рубцов от ран на белых телах, а также безруких-безногих калек и мужиков с татуировками. В женском классе тогда татуировок ещё не было.

В те годы активно застраивалась Новая Деревня, на месте снесённых на дрова построек пленные немцы, которых все называли «фрицами», возводили двух-трёхэтажные дома загородного типа. По пути в школу — из школы мы нередко общались с фрицами-строителями, если у кого-то были с собой бутерброды или мелкие деньги, то пацаны делились ими с немцами, хотя сами при этом были не шибко сытыми. Эти фрицы по вечерам свободно бродили по Старой Деревне, предлагали в обмен на хлеб всякие поделки — гипсовые избушки-копилки, стеклянные абажуры, свистульки... Наши мамы, в большинстве своём полунищие вдовы, жалели их, брали всю эту ерунду и совали им взамен куски хлеба, картошку, лук, морковку, приговаривая: «Солдаты-то не виноваты, это всё Гитлер». Примерно так же они ругали начальство, мол, «Сталин-то этого ничего не знает».

Турнепс и муравьи

На летние каникулы меня обычно отправляли к бабушке Васе в Боровичи или в пионерский лагерь. Расскажу об одном лагере, о том, что размещался под Сланцами на берегу Плюссы, на бывшей эстонской погранзаставе. У нас там было два развлечения — прополка колхозного поля и игра в войну. Прополка турнепса шла в уплату колхозу за картошку и молоко, а ещё за кобылу с телегой, которая привозила нам из Сланцев хлеб и другие продукты.

Нас выстраивали поутру на кромке поля с длиннющими рядами турнепса, густо заросшими сорняками, отсчитывали по три ряда на нос каждому юному пионеру, объявляли, что на обед не пойдёт никто, пока не будут прополоты все до единого ряды и давали команду «Марш!». Справедливости ради надо сказать, что при этом объявлялось и ждущее нас поощрение: эти жуткие ряды турнепса упирались в речку Плюсса и тем, кто успешно заканчивал свой трудовой урок, разрешалось там искупаться. Это обстоятельство многих и подвело. Изнывая от жары, они кое-как, «галопом по Европам», проходили свои урочные ряды и бросались в воду. Но бдительные воспитатели вылавливали их и заставляли начать всё сначала.

Гораздо хитрее поступил один маленький мальчик, получивший свои борозды рядом со мной. Думаю, этот мальчик был из хорошей семьи, потому что он всегда ходил в вельветовой курточке с белым воротничком. Он не стал париться из-за отведённых ему километровых рядов, а сосредоточился на нескольких метрах одной борозды. Выдернув для начала весь турнепс, чтобы не путался под ногами, он начисто до травинки убрал все сорняки, воткнул турнепс на место и прихлопал землю своими белыми ручками. Получилось очень красиво, особенно на фоне наших кое-как прополотых рядов. Воспитатели, увидав это чудо аграрной дея-

тельности, пришли в восторг, собрали нас в кучу и велели внимательно посмотреть на этот пример пионерского отношения к труду. Этого малыша в сопровождении эскорта взрослых повели к реке купаться, а нас заставили прополоть его три ряда до конца.

Если мы не занимались прополкой, то играли в войну. Места вокруг нашего лагеря были для этого весьма подходящими — леса и болота вокруг были изрыты траншеями, ходами сообщения, воронками от снарядов. Была поляна с танками, не знаю, что там было у них подбито, но внешне они выглядели вполне нормально. Наш военрук (была в лагере и такая должность) как-то залез на башню одного из танков и объявил: «Сегодня играем в маскировку! Я считаю до десяти, вы прячетесь в пределах этой поляны. Я, не сходя с танка вас ищу, кого обнаружу последним, тот считается победителем и получит на ужин добавку компота». С этими словами он надвинул на глаза пилотку и начал считать: «Раз, два...»

Все кинулись врассыпную. Я замешкался (от слов «мешок, мешковатый») и куда бы ни сунулся, везде было занято, во всех воронках и окопах, под всеми кустиками уже лежали или сидели на корточках более ушлые пацаны. «...пять, шесть...» — считал военрук. Я решил, шут с ним с компотом, пусть меня обнаружат первым, — и бросился под сосенку-коротышку в трёх метрах от командирского танка.

Трава вокруг этой сосенки оказалась гораздо выше и гуще, чем казалось со стороны, и я полностью утонул в ней. А ещё под сосенкой на мою беду оказался муравейник и я сунулся лицом прямо в него. Муравьи этому очень обрадовались и от скуки полезли мне в уши, ноздри и рот, хорошо хоть глаза успел зажмурить. Я сразу же хотел вскочить, но военрук в этот момент закончил свой счёт и начал поиски. Как назло, он никак не мог меня обнаружить, хотя я лежал под самым его носом. А муравьи совсем озверели, но я терпел. Вокруг меня столпились уже проигравшие «маскировщики» и шумно реагировали на обнаружение очередного неудачника. «Ну, кажется, все», — сказал военрук. — «Нет! — закричала толпа. — Ищите ленинградского!». Так в этом лагере звали меня, потому что все ребята были из Сланцев, а я один из Питера. Мог ли я в этой ситуации их подвести и встать? Конечно, нет. Стиснув зубы, я терпел неистовство муравьёв и бестолковость военрука. Наконец, он сдался: «Выходи!»

Я встал, и тут все увидели моё опухшее красное лицо, облепленное бурыми сосновыми иголками и муравьями. Смеху-то было!

Смеялись все, кроме меня, видимо, в тот момент у меня было напряжённо с чувством юмора. Любой желающий может проверить — поехать за город, зайти в лес и найти большой муравейник. Затем засечь время и лечь, зарывшись лицом в эту бурую горку старой хвои и веточек. Попробуйте продержаться минут пятнадцать, а потом встать и, глядя на

себя в зеркало, посмеяться. Если не сможете, значит, вы, как и я тогда, не понимаете юмора.

Военрук поставил меня рядом с собой на танк и сказал: «Вот настоящий герой. С таким товарищем можно идти в разведку». А может быть, сказал что-то другое, я уже не помню. Так я стал знаменитым на весь лагерь. Вечером в столовой вывесили «молнию» с описанием моего «подвига» и я получил добавку компота.

Когда закончилась смена, нас в грузовике привезли в Сланцы, где всех ребят разобрали родители. Мне сказали, что грузовик дальше не пойдёт, и я отправился на железнодорожную станцию. Помню, вдоль этой дороги были свалены горы разбитой военной техники. На станции мне встретился наш лагерный военрук, который угостил меня огурцом. Поезд на Ленинград должен был быть только вечером, и я весь день слонялся по станции, борясь с голодом. Было мне тогда лет девять-десять. Никаких денег и документов у меня при себе не было, и я не помню, как я прошмыгнул в вагон. Там я залез на третью (багажную) полку и спрятался за вещевыми мешками и фанерными чемоданами. Поезд тронулся, и вскоре по вагону пошёл патруль, который не столько проверял билеты, сколько документы и пропуска в Ленинград. Не знаю, как мне удалось избежать проверки и ареста, но я заснул, и только рано утром меня растолкали сердобольные соседи по купе: приехали! Ленинград. Моя куртка из трофейной немецкой шинели и багаж (лагерная наволочка с грязным бельём и насушенными за смену грибами) валялись на полу.

Поскольку денег на трамвай у меня не было и дороги от Балтийского вокзала до дома я не знал, я топал пешком, отслеживая трамвайные рельсы и красно-белые «американские» вагоны «тройки». Город жил своей взрослой жизнью и ему никакого дела не было до меня, маленького пацана в перешитой немецкой куртке и с наволочкой на плече, целеустремлённо топающего по его историческим улицам. Перейдя Кировский мост, я почувствовал себя уверенней, пошли знакомые места. В Новой Деревне я уже был хозяином положения, хотя и очень хотелось есть. Дома никого не оказалось, сестра была в больнице, мама на работе. Наша комната была заперта, и я обосновался на кухне. Соседка тётя Маня накормила меня супом. Мир снова приобретал привычные очертания, и я расслабился.

В таком положении меня и застала мама, придя с работы. Но вместо ожидаемых объятий и поцелуев, причитаний «ах, мой сыночек, роднулечка, чмок-чмок», я получил солидную взбучку. Оказывается, какие-то дяди-тёти из сланцевского шахтоуправления должны были оставить меня в лагере на вторую смену. Но что-то не срослось, уже в который раз в моей жизни. Накопившееся за два дня моих скитаний напряжение не выдержало маминой взбучки и прорвалось наружу громким, взхлёб, рёвом. И совсем в эти минуты я не был похож на того героя, с которым можно было идти в разведку.

Мама помыла меня, передела, накормила и в тот же вечер отвезла на Балтийский вокзал, объяснив, как в Сланцах добраться до шахтоуправления. Явившись поутру в эту контору, я встал посреди комнаты и громко крикнул: «Я Сердитов!» Все конторские повскакали со своих мест, ошупывали и тискали меня, приговаривая: «Живой!». И меня снова отвезли на речку Плюсса.

Насколько я знаю, в Старой Деревне никогда не производилось археологических раскопок. Да и что там можно было накопать, на месте крестьянских лачуг, огородов и выпасов? Тем не менее, в учительской нашей школы хранилась древняя кольчуга и мы её таскали на уроки истории. В одно из моих длительных отсутствий пацаны раскопали где-то целую кучу старинного холодного оружия, говорили «где-то на берегу залива», но точного места я не знал. Когда мы, играя в мушкетёров, фехтовали, эти насквозь ржавые клинки рассыпались от удара деревянной саблей, поэтому мы предпочитали сражаться на палках.

Как-то, копаясь на пустыре, я выкопал бронзовую штучковину, очень похожую на ручку оконного шпингалета в нашей школе. Не надо было обладать особой фантазией, чтобы вообразить, что это пистолет. И ещё долго, играя в войну, я бегал с этой штучкой в руках на зависть остальным пацанам. Постепенно мне удалось выковырять из неё окаменевшую ржавую начинку, надраить бронзу до блеска, и с этой красотой в руках я чувствовал себя как поётся в песне «сам над панами я пан». Пока её не увидел кто-то из взрослых парней. Он сразу понял, что это ствол и рукоятка настоящего пистолета и попросту отнял его. А чтобы у меня была реальная причина поплакать, ещё и врзал по зубам. Позже, читая Дм. Кедрина, я встретил выражение «стволов роковых Лепаж» о дуэльных пистолетах, стал копаться в литературе и по старинным рисункам для себя определил, что был обладателем похожего раритета.

Был у нас и свой фольклор, а как же иначе. Культурная программа. Наряду с хулиганскими и «блатными» песенками, известными пацанам всей страны, мы распевали и свои, местные. Например, такую, которая пелась на мотив весьма популярной песенки «В кейптаунском порту»:

Товарищ Андриан
Прибавил хлеба нам,
Дистрофики повылезли из ям.
Дома разрушены,
Все кошки скушаны... и.т.д.

В жизни я несколько раз был на пороге причастности к Военно-морскому флоту, но всякий раз судьба отводила меня в сторону. Вспоминается год 1948-ой. К нашему дому подъехала легковая машина, управляемая матросом-водителем. Из машины вышел адмирал и направился к

нашему дому, судя по всему, хорошо зная нужный адрес. Это был контр-адмирал Мелехов, довоенный товарищ моего отца. Он уезжал на службу в Ригу и предложил моей маме устроить меня в нахимовское училище, мол, всегда твой Генька будет сыт и одет-обут. Сестра в то время лежала в больнице и мама не захотела оставаться одна, отказалась. А я, узнав, очень жалел. Уж очень нам, послевоенным пацанам, нравилась морская форма.

Попад с друзьями впервые на стадион им. Кирова в 1950-м году, я был поражён панорамой, открывшейся с его верхней кольцевой дорожки. Город с высоты птичьего глаза, парки, просторы Финского залива, корабли, яхты... Увидели мы как на ладони и зону своего обитания от Лахты до стрелки Елагина острова. Недавно, уже в 2016 году, мне прислали видеоролик, вероятно, снятый с квадрокоптера, где я увидел строящуюся «Зенит-Арену», опоры будущего Западного скоростного диаметра, Северо-Приморский район... Город создаёт ещё один фрагмент своего морского фасада, может быть, самый впечатляющий. И при этом пожирает последние лоскутки нашего мальчишеского «гуляй-поля», нашего пиратского острова сокровищ.

В 1952-м году мы закончили 7-ой класс в 63 школе. Более старших классов в этой школе не было и надо было думать, где учиться дальше. Мой друг Боря, как-то, сильно разбежавшись, прыгнул в длину на 6 метров и 8 сантиметров, в те годы это был рекорд города для мальчиков, и о нём написали в питерских газетах. Он решил поступать в физкультурный техникум, и я за него там пересдавал вступительный письменный экзамен по русскому языку. Я же пошёл 8-ой класс 62 мужской средней школы, которая недавно открылась в Новой Деревне и была на целую трамвайную остановку ближе к нашему дому, чем 63 школа. Так закончилось моё отрочество.

Что же мы имели в сухом осадке к весне 1952 года, как я воспринимал сам себя, уходя в юность? Не скрою, не ахти как. «Хилый, мешковатый, трусливый, прожорливый» — вот моя самооценка на тот момент. В условиях уличной ватаги я проигрывал по всем статьям своим более ловким, предприимчивым и отчаянным друзьям. И не подозревал я ещё, что, стараясь не отстать от них, прошёл такую закалку тела и характера, что с годами, с возрастным и интеллектуальным развитием личности, это позволит мне часто брать на себя роль лидера в студенческой группе, конструкторском бюро, в заводских цехах, на испытательных стендах и верфях, на спортивных восхождениях в горах, в концертной агитбригаде, на целине, военно-морских сборах, официальных приёмах, в работе с иностранными специалистами, на встречах с зарубежными государственными деятелями и дотошными журналистами.

Леонид Шабаев
(Россия, Москва)

Родился в 1971 г. в Москве. По первому образованию авиационный инженер. Работал в разных областях, пока увлечение литературой и историей не привело в Российский государственный архив древних актов, сотрудником которого является в настоящее время. Основные сферы интересов: история русского дворянства и социально-политические движения в России конца XIX – начала XX веков. Автор нескольких статей и публикаций, сценарист, писатель.

Дом Юргенсонов

Ранней весной 1861 года на квартиру Николая Рубинштейна пришёл очередной визитёр.

Личность Николая Григорьевича, в Москве известная и популярная настолько, что городовые, завидев его карету, отдавали честь, а его концерты в Манеже собирали до десяти тысяч зрителей, привлекала многочисленных соискателей по разным вопросам и нуждам. Нынешний визитёр, человек ещё молодой, пришёл с предложением, которое Николая Григорьевича действительно заинтересовало. Тем более, предложение было не абстрактным, а чётко продуманным планом. Молодой человек заявил о желании создать нотное издательство. Нотные издательства в России на тот момент уже существовали, но их мощи было явно недостаточно для тех грандиозных планов, которые визитёр развернул перед Рубинштейном. Отметив энергию, толковость и знание собеседником дела, Рубинштейн решил покровительствовать ему в его начинаниях. И в августе того же года в доме поручика Лодыженского на углу Малой Дмитровки и Столешникова переулка появилась контора Петра Юргенсона.

Потом его имя станет известно по всему миру, и не только как успешного бизнесмена, но и как мецената и просветителя. В современных музыкальных кругах его помнят и по сей день. А начиналось всё достаточно скромно.

Петер Юргенсон родился 5(17) июля 1836 г. в Ревеле (ныне Таллин) в бедной семье. О его рождении имеется запись в приходе церкви Святого Духа. Он — первый из Юргенсонов, родившийся в Ревеле, до того семья проживала в поселке Кяйна на острове Даго (Хийумаа), где дед Петера более пятидесяти лет работал смотрителем церковных зданий. Отец, эстонец Иоганн Кирс, впоследствии сменивший фамилию на более звучную Юргенсон по требованию местного помещика, владельца мызы на острове, Бревери Деллагарди, по одним сведениям был слугой браковщика сельди, по другой шкипером на рыболовецком судне. Мать, Аэта, занималась шитьём.

Выживали с трудом подённой работой. На сорок втором году жизни отец скончался от чахотки, мать осталась одна с четырьмя детьми. Датчанка по происхождению, а по религиозным убеждениям пуританка, она имела строгий нрав. Пётр Иванович вспоминал, что в детские годы единственной книгой в доме была Библия, по ней он и научился читать. Поступив в гимназию, он с жадностью принялся читать все, что попадалось под руку. Через это и пострадал. Однажды один из учеников принес в школу книгу, которую показывал другим. Петер с ещё одним мальчиком попросили дать её почитать, но одноклассник отказал им. Тогда они решили стащить книгу, прочитать и потом возвратить. Обнаружив пропажу, мальчик обратился к учителю, тот устроил обыск, и книгу нашли в ранце Петера. Учитель придумал ему жестокое наказание: стоять в течение четырёх недель на коленях в углу класса во время уроков. Петер выдержал это наказание, но преподавателю было мало: он продлил наказание ещё на две недели, а после написал письмо матери Петера, в котором назвал мальчика закоренелым преступником, место которого не в гимназии, а на каторге. Мать столь сурово наказала Петера, что тот бежал из дома. Дело было зимой. Когда мальчик был уже за городом, поднялась снежная буря. Он заблудился, замёрз и погиб бы, если бы на него случайно не наткнулся старый друг отца.

После отчисления из гимназии Петер поступил в ремесленное училище и в возрасте четырнадцати лет окончил его по специальности гравёра. Мать отправила его на заработки в Петербург, куда ранее уехал его старший брат Иосиф. Иосиф работал гравёром в музыкальной торговле Бернарда. С помощью брата Пётр устроился в ученики ювелира и достаточно успешно работал, но дело это было ему не столь интересно, и когда появилась вакансия у Бернарда, устроился гравёром туда.

Позже он перешёл в издательство Стелловского. Его карьера быстро пошла в гору, скоро он стал правой рукой издателя. И всё бы хорошо, но его тяготила личность хозяина. Стелловский был известен как очень жёсткий и даже жестокий издатель: пользуясь тем, что многие авторы испытывали финансовые затруднения и готовы были согласиться на самые кабальные условия, Стелловский скупал их произведения буквально за гроши. Достаточно хорошо известна история с Достоевским, который, попав в подобную кабалу к Стелловскому, должен был в течение 21 дня написать новый роман, чтобы прервать невыгодный контракт.

Людмила Шестакова, сестра покойного к тому времени композитора Михаила Глинки, стремясь популяризировать сочинения брата, согласилась продать права на все его произведения всего за 25 рублей, но, мало того, издатель заявил, что корректуры дороги, и потребовал за них 1000 рублей. Несчастливая женщина, жившая достаточно скромно, согласилась и на это. Тот же Достоевский писал об этой истории поэту Майкову: «Может ли тот человек не иметь денег, который всего Глинку



Пётр Иванович Юргенсон



Иосиф Иванович Юргенсон

купил за двадцать пять целковых». Спустя пятнадцать лет, после смерти Стелловского, Юргенсон, уже будучи сам издателем, исправил эту несправедливость и выкупил у Шестаковой права на произведения Глинки за полторы тысячи.

А в то время, как только появилась возможность, Пётр Иванович, он уже назывался на русский манер, перешёл на работу к Биттнеру. Через год ему пришло приглашение из Москвы от торгового дома Шильдбаха с предложением возглавить нотный отдел его фирмы. Юргенсон с радостью променял столичный Петербург на патриархальную Москву. Но спустя два года Шильдбах разорился, и Пётр остался без работы. Юргенсон размышлял: искать ли ему новую вакансию или открыть собственное дело? Мечта о собственном издательстве появилась давно, ещё в Петербурге, но решиться на такое он и не помышлял. А теперь обстоятельства сложились так, что у него появилось время задуматься о собственном деле всерьёз. Он понимал: денег для начала дела немного, фактически, он идёт ва-банк, рискуя всем; но, с другой стороны, открываются совсем иные возможности: всё будет зависеть только от него. В этих размышлениях ему и пришла в голову мысль отправиться за советом, а, если повезёт, то и за поддержкой, к какому-нибудь известному и уважаемому в музыкальном мире деятелю. В тогдашней Москве на ум в первую очередь приходил, конечно же, Николай Рубинштейн, пользовавшийся

огромным авторитетом и невероятной популярностью. Тем более в Петербурге, вращаясь в кругах деятелей культуры, Юргенсон встречался со старшим братом Николая, Антоном, основателем тамошней консерватории. Так и произошла та знаменательная для Петра Ивановича встреча, с которой начался наш рассказ. Рубинштейн поддержал проект начинающего бизнесмена, которому на тот момент было 24 года. Мало того, он предложил снять для магазина и будущего издательства такое помещение, где можно было бы отвести комнату для собраний Московского отделения Императорского Российского музыкального общества (РМО), которая именовалась бы его конторой. За это он предложил Юргенсону плату в размере 250 рублей в год. Юргенсон с радостью согласился.

Здесь, в конторе, проходили заседания общества, на которых обсуждалось, в том числе, и создание Московской консерватории. Как вспоминал Пётр Иванович, можно сказать, что у него в доме зарождалась музыкальная культура Москвы. Одно из заседаний посетил сам Рихард Вагнер во время своей поездки по России.

Между тем, дело начиналось трудно. Несмотря на то, что первые ноты были напечатаны в России еще в XVII веке, мастеров-гравёров практически не было, по большей части тиражи печатались за границей, что только добавляло цену к и так недешёвым изданиям. Тогда Юргенсон выписал мастеров из Германии и набрал мальчиков в обучение, чтобы те научились искусству гравирования нот. В итоге все гравёры фирмы были российскими. Они считали себя не ремесленниками или рабочими, а художниками, что было недалеко от истины.

Первым изданием нотопечатни Юргенсона стал «Гавот» Иоганна Себастьяна Баха. Потом последовали издания отдельных сочинений других европейских композиторов. А уже через год после открытия фирмы было выпущено первое в мире полное собрание сочинений Мендельсона-Бартольди. Издания западных композиторов служили не только получению прибыли, но и несли в себе просветительскую направленность: в России того времени, как ни странно, были мало знакомы с великой музыкальной культурой Европы. В издательстве Юргенсона впервые вышли сборники романсов Шуберта и Шумана, в 1869 г. — полное собрание фортепианных произведений Шумана, в 1873 г. — Шопена. Выпускал Юргенсон и партитуры опер и балетов, причём к нескольким из них либретто перевёл сам, в качестве псевдонима используя «девичью» фамилию предков Кирс. Многие оперы были изданы как на русском, так и на языке оригинала. Конечно, издавались и произведения русских композиторов. Всего за время своего существования фирма выпустила произведения более 500 русских авторов.

Но Юргенсон не только стремился познакомить русскую публику с западной музыкой, но и европейскую с русскими композиторами. Для этого переписывался с Дворжаком, Листом. По просьбе Юргенсона Лист

сделал переложение «Полонеза» Чайковского из «Евгения Онегина» и по собственной инициативе добавил к нему переложение «Гарантеллы» Даргомыжского, которую назвал очаровательной, но при этом «...цену назначил бешеную, до водобоязни! И непременно вместе!» Юргенсон решил уплатить.

Производство Юргенсона расширялось, требовались большие помещения, и он с удовольствием принял предложение Николая Рубинштейна переехать вместе с РМО в здание в Колпачном переулке (ныне здание относится к Хохловскому переулку), которое было передано Московской консерватории. Само здание заслуживает отдельной, даже не статьи, а книги.

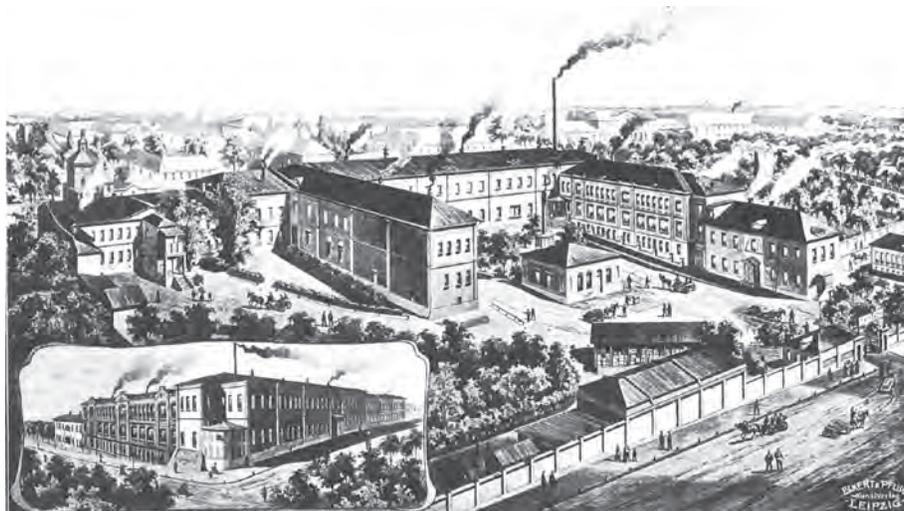
Построенное в 1665 году, оно было свидетелем нескольких эпох российской истории, пережило пожар 1812 года, октябрьский переворот 1917, но теперь с трудом дотягивает в новых российских реалиях, остро нуждаясь в научной реставрации. А ведь дом этот по праву можно назвать одним из самых исторических зданий Москвы, хотя бы по тем известным людям, которые в нём бывали, работали, жили. Нынче здание часто называют Палатами Украинцева, по имени думного дьяка, первого из известных владельцев дома, но дом строился на пару десятилетий раньше активной дипломатической деятельности Украинцева. Предположительно заказчиком строительства был либо князь Никита Иванович Одоевский, получивший эту землю в приданое за дочерью боярина Шереметева, либо сам его тесть, а до того здесь были шереметевские сады. Об этом периоде истории дома практически ничего неизвестно, хотя, возможно, где-то в архивах скрываются и эти сведения. Как потом дом попал к новому владельцу, думному дьяку Украинцеву, пока точно неясно. Украинцев был известным дипломатом петровской эпохи, какое-то время возглавлял Посольский приказ, в будущем превратившийся в Коллегию, а потом Министерство иностранных дел. Говоря современным языком, он был министром иностранных дел при Петре I. Думный дьяк имел много заслуг не только перед Россией. Заключив «вечный мир» в Константинополе, он предотвратил резню христиан в Османской империи, за что патриарх Иерусалимский Досифей даровал ему в 1700 г. ларец с мощами Марии Египетской, который он привёз в дом, и там они хранились вплоть до 1707 г., когда дьяк, видимо, предчувствуя свою скорую кончину, передал в дар Сретенскому монастырю с наказанием вечного поминовения его и его предков.

Украинцев не оставил прямых потомков, и дом отошёл казне, а вскоре Пётр I подарил дом своему фельдмаршалу князю Голицыну, и для дома началась новая эпоха.

Столица вскоре была перенесена в Петербург, Голицын в основном находился там, а в доме проживала семья. Сам князь окончательно поселился в доме, когда царский двор при Петре II перебрался в Москву.

После смерти князя дом перешёл его жене, а позднее его сыну, тоже фельдмаршалу, а тот в 1754 году продал его Московскому архиву Коллегии иностранных дел, который тогда возглавлял знаменитый историк Миллер. Началась одна из самых славных эпох дома. Именно здесь ходили толпой «архивные юноши», которых Пушкин запечатлел в «Евгении Онегине». Пушкин достаточно долгий период посещал архив, изучая материалы по восстанию Пугачёва для «Капитанской дочки» и «Истории пугачёвского бунта», интересовался и своей родословной. Ещё больше времени в этих стенах провели Карамзин, Бартенева, Соловьёв. Прибывали сюда и знаменитые визитёры: император Священной Римской империи Иосиф II, брат Вильгельма I прусский принц Адальберт, Бисмарк, были и наши императоры Александр I, Николай I; привозил сюда для выполнения учебных работ своего ученика цесаревича Александра (в будущем император Александр II) Василий Андреевич Жуковский. Но и сами работники архива представляют большой интерес. Служба в архиве была для молодых людей толчком в карьере, из «архивных юношей» проросло несколько поколений российских деятелей культуры (братья Веневитиновы, Шешковский, братья Тургеневы), начинал здесь службу и будущий министр внутренних дел граф Блудов. Директора архива были выдающимися историками своего времени: Миллера сменил Бантыш-Каменский, следом был Малиновский. Архив пережил пожар Москвы, но некоторый урон ему нанесли французские солдаты.

В 1874 г. архив выехал из здания: столько в нем накопилось документов, что огромные палаты перестали их вмещать. Для архива было найдено более подходящее помещение в здании Горного правления на углу Воздвиженки и Моховой, а особо ценные древние документы были переданы в Оружейную палату. А в следующем, 1875 году, старинные



Усадьба и нотопечатня Юргенсона

палаты были переданы Московской консерватории. Вместе с РМО сюда переехала и нотопечатня Юргенсона.

Здание уже тогда представляло собой историческую ценность, и законами Российской империи запрещалось вносить какие-либо изменения во внешний и внутренний облик, поэтому не оказалось возможности устроить там большие концертные залы для исполнения симфонической музыки. Рубинштейн стал подыскивать новое помещение для консерватории, и в 1877 г. консерватория переехала в приобретенный у наследников князя Михаила Семеновича Воронцова дом на Никитской улице, где поныне она и существует.

К тому моменту Юргенсон уже всю развернул здесь своё производство, и выезжать было бы крайне затруднительно. Рубинштейн предложил ему выкупить здание на торгах у РМО. Юргенсон дал за него наивысшую цену — 129 000 рублей, и 42 000, по условиям договора, перечислил РМО.

Дело продолжало развиваться, в Петербурге всю работало местное отделение фирмы, которое возглавлял Иосиф Иванович Юргенсон, фамилия издателя становилась известной, но в 1882 г. грянул экономический кризис, многие фирмы начали разоряться. Пришлось туго и Юргенсону. Он даже подумывал было организовать товарищество на паях. Хоть ему не хотелось, чтобы у производства, к которому он так трепетно относился, появилось несколько владельцев, но бумаги, на всякий случай, оформлять начал. И вместе с тем всё время искал выход из кризисной ситуации. Он понимал, что сокращать производство невыгодно: ноты стоили дорого, при нынешнем положении дел покупались плохо, и сокращение печати только ухудшит ситуацию. И тогда он поступил ровно наоборот. Закупил в Европе новейшее оборудование, которое дало возможность сильно удешевить производство, при этом увеличив тиражи. И дешёвые нотные издания начали раскупать. Дело пошло настолько удачно, что он скупил и объединил несколько разорившихся издательств, и его фирма стала одной из крупнейших. Постепенно отделения и склады её появились во многих странах Европы, в Америке, даже в Египте.

Издательство Юргенсона не только публиковало работы уже известных композиторов, но и открывало новые имена. И в этом аспекте одно из самых замечательных деяний Юргенсона — это издание практически всех произведений Чайковского, которого он, фактически, первым представил русской, а затем и мировой, публике. Всего же в издательстве были изданы произведения более 500 русских композиторов.

Пётр Ильич Чайковский совсем ещё молодым человеком приехал в Москву из Петербурга в начале 1866 года. Прибыл он к Николаю Рубинштейну, вскоре назначенному директором консерватории, с рекомендациями от Антона Рубинштейна для поступления в консерваторию в качестве преподавателя. Здесь же, у Николая Григорьевича, он позна-

комился с Петром Юргенсоном. Эта встреча сыграла громадную роль в жизни обоих. Они быстро подружились, и дружба их продлилась до самой смерти Петра Ильича. Одним из главных свидетельств их дружбы стала двухтомная переписка, недавно переизданная в полном варианте под редакцией главного специалиста по его творчеству Полины Ефимовны Вайдман.

Помимо работы в консерватории Чайковский начал работать у Юргенсона вначале корректором, а потом и редактором. Узнав, что Пётр Ильич и сам сочиняет музыку, но не решается представить свои сочинения на суд публике, Юргенсон предложил Чайковскому выбрать для издания какое-либо из его произведений по его собственному выбору. Вскоре Пётр Ильич принес ему пьесу, записанную в тетрадке, забыв, что в той же тетрадке записал черновик другой пьесы. Юргенсон издал обе, и этими двумя пьесами начался путь Чайковского-композитора к широкой публике. С тех пор почти все его произведения издавал Юргенсон.

Чайковский довольно небрежно относился к записи своих произведений, он фонтанировал идеями музыкальных произведений, писал второпях, иногда как попало. Он, например, никогда не помнил номера опусов, и Юргенсон сам расставлял их на его текстах, бережно относился к произведениям своего друга, аккуратно сохраняя все его рукописи. В финансовых вопросах Пётр Ильич был так же легкомыслен, любил покутить, но не умел считать свои расходы, поэтому, путешествуя то по Италии, то по Швейцарии, периодически просил своего издателя выслать какую-нибудь сумму в счёт будущих изданий. И Юргенсон всегда исполнял его просьбы, некоторые довольно забавные.

Однажды в дом Юргенсона прибежал посыльный с запиской от Петра Ильича: «Славно завтракаем в “Славянском базаре”. Пришли сто рублей». Но при этой небрежности он периодически упрекал в своих письмах Петра Ивановича, что тот слишком уж много платит ему за произведения. В одном из писем Пётр Ильич говорит: «До сих пор все гонорары, которые ты назначал сам за мои посильные труды, казались мне всегда преувеличенными, но по расточительности и безалаберности я имел всегда преступную слабость на них соглашаться. Так, напр[имер], теперь, если буду тебе говорить как твой друг, а не как продавец своих произведений, скажу, что назначенная тобою плата 500 р[ублей] за Трио чрезвычайно преувеличена. Однако ж я рад, что ты назначил её, ибо, быв затруднён, жажду доходов. Быть может, я злоупотребляю твоим Юргенсоновским великодушием? Как бы то ни было, но и теперь назначь сам. Ей Богу, спорить не буду, а уж если буду, то разве в том смысле, что слишком много, ибо ты всегда преувеличивал, а не наоборот».

Чайковский дружил не только с Петром Ивановичем, но и со всей его семьей. В семье было несколько детей, и Пётр Ильич, вообще детей обожавший, любил, приезжая в гости к Юргенсонам, возиться с ними, вме-

сте готовиться к праздникам, дурачиться, так что на это время в семье Юргенсонов становилось на одного ребёнка больше. Впоследствии дочь Петра Ивановича Александра записала свои детские воспоминания о визитах Чайковского. Эти воспоминания показывают Чайковского не тем мрачным меланхоликом, которым он представляется особенно советской историографией, а совсем иным человеком, каким видели его, возможно, лишь близкие ему люди, среди которых он мог быть самым собой, снимая маску, которую надевал на публике. «Одной из отличительных черт Чайковского было его чрезвычайное очарование, обаяние. Когда его ждали, то хозяева, гости, прислуга находились в настроении праздника... У него была как бы потребность дышать семейной детской жизнью и её радостями. Причём он любил поддразнивать, шутить. Из нас троих он особенно любил поддразнивать меня. Вероятно, его забавляло неумение скрыть то впечатление и волнение, которое это на меня производило».

Старший сын Петра Ивановича, Борис, был крестником Петра Ильича. Многие отмечали, что с возрастом Борис Петрович стал настолько похож на своего крёстного, что мог бы изображать его на сцене. Однажды Пётр Ильич преподнёс каждому из детей по своей фотографии, снабдив надписями, в соответствии с характерами одаряемых. Борису он надписал: «Мастодонту от старой обезьяны», младшему, Григорию — «Язвительнейшему из смертных», Александре же написал просто: «Саше — Петя» и пояснил, проведя аналогию с надписью на Медном всаднике «Петру — Екатерина».

Своему другу Петру Ивановичу Пётр Ильич посвятил романс «Слеза дрожит», несколько своих произведений он посвятил и другим членам семьи.

Как и многие издатели того времени, Юргенсон стремился не только зарабатывать деньги, но и заниматься просветительством. В издательстве выпускались не только ноты, но и учебные пособия. В 1901 г. вышел в нескольких томах перевод знаменитого музыкального словаря Римана, причём в это издание были добавлены статьи о русских композиторах, которые специально для издания писали известные деятели того времени; так, часть статей была написана Владимиром Федоровичем Одоевским, который сотрудничал с Юргенсоном и бывал у него дома, а до того работал в том же доме во времена архива, быв одним из «архивных юношей». К слову сказать, Никита Иванович Одоевский, первый предположительный владелец дома, был его прямым предком. А уже в XXI веке праправнучка Петра Ивановича Анастасия Юргенсон играла в театре Образцова царь-девицу в спектакле, поставленном по одноимённой пьесе В.Ф. Одоевского. Вот такая любопытная, а может, и не случайная, связь времён и людей во времени.

Помимо печатни, конечно, были и магазины. Самый известный находился на Неглинной улице. Первоначально он располагался в нижнем

этаже дома № 10. В 1876 г. во время наводнения воды Неглинки залили помещение вместе с товаром, нанеся нотам серьезный ущерб. В 1885 г. был построен дом № 14, в который Юргенсон переехал, заняв на этот раз верхний этаж. Этот магазин стал знаменит на всю Москву. Там не только продавались ноты, но была устроена бесплатная читальня: любой желающий мог взять ноты, посмотреть и тут же попробовать на одном из стоявших здесь же роялей. Этот магазин оставался там и после революции и сохранялся до последних лет, пока уже в разгар 2000-х годов не был изгнан в более чем скромное помещение на Тверском бульваре ради нужд очередного банка. Несмотря на то, что он назывался «Музыка», его продолжали именовать магазином Юргенсона. В 1917 г. содержимое магазина серьёзно пострадало. Мостовая была усеяна разбросанными нотами, беснующаяся толпа радостно выкидывала из окон великолепные рояли, видимо, как символ, по их представлению, буржуазной жизни.

Юргенсон не только умел вести дела, но и умел отстаивать свои интересы, которые в первую очередь служили на пользу русской музыкальной культуре. Самое известное, связанное с этим событие, судебная тяжба, которую ему пришлось вести с Придворной Певческой Капеллой об издании церковных книг. Он решил издать «Литургию Иоанна Златоуста» Чайковского, но зная, что Капелла не пропустит издания, а потому, не обращаясь к ней за разрешением, отправил ноты церковному цензору на проверку каноничности текстов. Получив от цензора разрешение, он отпечатал тираж. Как он и предполагал, тогдашний директор Капеллы Николай Иванович Бахметев арестовал тираж и подал на Юргенсона в суд. Но Юргенсон знал слабое место в системе доказательств Капеллы о принадлежности ей монопольного права на отбор и издание духовной музыки. Дело в том, что Александр I своим указом дал право отбирать к изданию духовную музыку композитору Дмитрию Степановичу Бортнянскому, который и сам написал много духовных произведений. В то время Бортнянский был директором Капеллы, но император предоставил ему это право не в качестве директора, а лично, т.е. это право не могло передаваться по «наследству» последующим управителям. Но как-то само собой этим правом стал пользоваться следующий директор Фёдор Петрович Львов, потом сменивший его на этом посту сын Алексей Федорович, а потом и его последователь Бахметев. Поэтому выпускалась духовная музыка только нескольких авторов, близких к Капелле.

Несмотря на явную правоту Юргенсона, тяжба продлилась почти три года. И все-таки дело закончилось полной победой Петра Ивановича. Он писал Чайковскому: «Вчера я выиграл дело против Бахметева в сенате. Ура! ... Я считаю, что это своего рода освобождение от татарского ига, и я — Дмитрий Донской! Донской — не Донской, а — таран: лбом брешу прошиб или сделал».

С того момента монополия Капеллы была разрушена, открылась возможность для широкого издания духовной музыки. В одной только фир-

ме Юргенсона с тех пор было издано около 2500 музыкально-духовных сочинений. Среди них было и полное собрание духовных произведений Бортнянского, выпущенное под редакцией Чайковского.

Еще одним важным делом Юргенсона была нотница. Он собирал все издания, не только свои, но и чужие. Это было поистине уникальное собрание. Что удивительно, оно пережило события в России первой четверти двадцатого века, а сейчас, как это ни печально, знаменитая нотница благополучно плесневеет в подвалах Московской консерватории.

Пётр Иванович Юргенсон скончался в конце 1903 г. В своём завещании он обращался к своим детям: «Торговые дела мои и издательские предприятия я желаю, чтобы означенные дети мои продолжали безостановочно под моим именем и под руководством назначенного мною душеприказчика, памятуя, что я всей душой предавался служению этому делу, что оно мне очень близко к сердцу было, не только по выгоде, но как создание моё, приносящее пользу не только мне, но и очень многим».

Дело продолжили его сыновья Борис и Григорий. Дочь Александра стала художницей, дружила с братьями Васнецовыми, Суриковым, Нестеровым, её первым мужем стал тоже художник Сергей Иванович Светославский, но брак оказался неудачным и быстро распался. Позднее она вышла замуж за врача-окулиста Константина Владимировича Снегирёва, сына основателя российской гинекологии профессора Владимира Фёдоровича Снегирёва. Друзья-художники часто бывали в доме Юргенсонов, а с Суриковым у Александры Петровны получился дружеский обмен портретами: он писал её, она — его; теперь портрет Сурикова её работы находится в Третьяковской галерее, а её портрет, исполненный Суриковым, в Русском музее в Санкт-Петербурге. Помимо портретной живописи она увлекалась рисунками миниатюрных цветов, которые писала с помощью лупы, прорисовывая до мельчайших деталей.

Старший из братьев, Борис Петрович, возглавил фирму. Но помимо того он окончил юридический факультет Московского университета и в качестве юриста изучал вопросы авторского права и, в частности, авторского права на музыкальные произведения. Об этом он написал брошюру, содержание которой и в наши дни считается актуальным: недавно она была переиздана. Но самым главным для Бориса Петровича была его семья, и в первую очередь его ангел-хранитель, его жена Мария Викторовна.

История любви Бориса Петровича и Марии Викторовны — одна из тех романтических историй, о которых мечтают экзальтированные барышни и старые девы. Познакомились они на живых картинах у Третьяковых. Борису Петровичу тогда было уже за тридцать. Он пришёл с отцом в качестве зрителя, а Мария Викторовна участвовала в представлении. Они влюбились друг в друга с первого взгляда и на всю жизнь. Но, будучи «книжным червём», замкнутым в своём мире, Борис Петро-

вич долго не решался сделать предложение, пока за дело не взялась его сестра Александра. Всё благополучно закончилось венчанием, и жили они душа в душу, сохранив романтический дух отношений до конца жизни. Борис Петрович часто уезжал по делам фирмы, и по договоренности в один и тот же час и он, и Мария Викторовна смотрели на Полярную звезду, передавая друг другу привет. В один из его отъездов она написала картину, изображавшую грустного зайчика, смотрящего на Полярную звезду. С тех пор их пару так и называли «зайчиками». Однажды Борис Петрович отправлялся по делам в Париж, и перед отъездом Мария Викторовна подарила ему цветок фиалки, сорванной в лесу. Борис Петрович положил его в книгу, засушил, а в Париже заказал ювелиру брошь — точную копию этой фиалки, которую затем преподнёс жене.

У них родилось трое детей: две дочери — Вера и Наташа, и сын — Пётр, крестник друга семьи Дмитрия Петровича Боткина, известного коллекционера предметов искусства.

Пётр Борисович оставил воспоминания о первой половине своей жизни. В принципе, это были не мемуары, а подробное письмо о себе, написанное его будущей жене Ирине Александровне Дмитриевой. Его юность пришлась на революцию и гражданскую войну. Как ни странно, октябрьский переворот прошёл для семьи и для дела незаметно, единственно, что напоминало о событиях, так это то, что рабочие фирмы Юргенсона по своей инициативе организовали дружину, которая охраняла производство от «революционных масс». Но пришел 18-й год, повальная национализация коснулась и издательства Юргенсона. Была национали-



Б.П. Юргенсон с сыном Петром

зирована нотопечатня, и... в неё пришла «разруха» — удобное слово, по словам персонажа Михаила Булгакова профессора Преображенского, которым можно объяснить любые отрицательные стороны тогдашней жизни. Порой для печатания просто не хватало бумаги.

Борис Петрович был вынужден оставить издательство, но Россию покидать не стал, а устроился к себе же простым работником. А позднее ему предложили стать там заведующим, понимая, что возобновить дело лучше него никто не сможет. Новое издательство было названо «Госмузиздат», потом переименовалось в издательство «Музыка», так же был назван и бывший магазин Юргенсона на Неглинной.

Во второй половине двадцатых годов, в период очередного витка репрессий, Борис Петрович как представитель «бывших» был отстранён от деятельности и лишён гражданских прав, и только бурная деятельность, которую развила музыкальная общественность Москвы во главе с Ипполитовым-Ивановым, восстановила справедливость, и в 1929 году он был восстановлен в правах.

Биография Петра Борисовича похожа на отражение эпохи. В юности, по его собственному признанию, любовь к литературе и искусству привела его к православию. Церковь на Маросейке, куда он начал ходить, была приходом московской интеллигенции. В отличие от большинства церквей, службы здесь всегда проходили при большом скоплении народа. Одним из священников был писатель и педагог Сергей Николаевич Дурылин, один из диаконов — Сергей Сергеевич Толстой, внук писателя. Но больше всех, конечно, привлекал внимание о. Алексей Мечов, знаменитый московский старец, молодежь же в основном общалась с его сыном о. Сергеем. Впоследствии оба были прославлены, о. Алексей — как святой, о. Сергей — как священномученик.

Юный Пётр не просто ходил в церковь, но и читал на клиросе каноны, деяния апостолов, помогал на архиерейских службах, позднее начал прислуживать в алтаре отцу Алексию.

Когда была объявлена национализация церковных ценностей, по всей Москве пошли погромы. На одной из улиц Пётр Борисович вступился за какого-то священника и был немедленно арестован. Ему повезло, он провёл в тюрьме всего полгода, совершив, по его словам, путешествие по всем тюрьмам столицы. В 1924 году он всё же закончил Московский университет по специальности «Искусствоведение» и занялся византистикой, что тоже оказалось «неправильной» профессией. После середины двадцатых византилисты были разгромлены по всем фронтам, и Пётр Борисович ушёл в другое своё давнее увлечение, прослушал курс зоологии позвоночных, занялся охотоведением, впоследствии став одним из основоположников этой науки в России. Но это было позднее.

Близко сдружившись с Сергеем Мечовым, Петр познакомился и с его сестрой Ольгой. Пока он сидел по тюрьмам, она, жалея его, наве-

щала, носила передачи. Он влюбился в неё и по выходе из тюрьмы сделал предложение, несмотря на большую разницу в возрасте и отговоры о. Сергея, знавшего трудный характер сестры. Они поженились, родился сын Алексей, имя роковое для семьи Юргенсон: у Петра Ивановича тоже был сын Алёша, который умер в раннем детстве от скарлатины. Алексей рос талантливым ребёнком, но, к сожалению, по материнской линии он унаследовал гемофилию, от последствий которой пятнадцати лет от роду скончался. К тому времени отношения между Петром и Ольгой уже давно были расстроены. Пётр Борисович с головой ушёл в работу. Во время войны Пётр Борисович попал в действующую армию, но в 42-м после тяжёлого ранения был комиссован. После госпиталя вернулся к работе. Писал он Ирине Александровне просто, с легкой иронией, писал обо всём, кроме войны.

В 1949 родился сын Борис. Отец жалел только об одном: что Боря никогда не познакомится со своим старшим братом. Борис рос весёлым хулиганистым парнишкой, но наследственность не обошла его стороной. Общение с отцом привило ему любовь к природе, увлекался и зоологией, и ботаникой, но выбрал геологию. Геологию избрала своей профессией и его молодая жена Инесса, с которой когда-то он учился в одном классе, только она изучала геологию на геофаке московского университета, а он в геолого-разведочном институте. Потом экспедиции, путешествия практически по всей России, многолетняя работа в Чехословакии. Он защитился, стал доктором геолого-минералогических наук, и, казалось, ничто уже не свяжет его со славным прошлым семьи, кроме памяти о предках. Но история — дама капризная, решила распорядиться по-другому.

Дом в Хохловском переулке (Колпашников-castle, как его шутливо называл когда-то Петр Иванович) никогда не забывали в семье, несмотря на то, что семья окончательно покинула его в конце 1930-х. И вот уже маленькую Анастасию, дочь Бориса Петровича-младшего, бабушка Ирина Александровна или сам папа часто приводят сюда. Они прогуливаются вдоль длинного дома, рассказывают ей про Петра Ивановича и Софью Ивановну, про Бориса Петровича и Марию Викторовну, про Чайковско-го, про других, бывавших в этом доме. И маленькой Насте всегда хотелось попасть внутрь, для неё это был её дом. Дом её папы, её бабушки, её дедушки, которого она никогда не знала (Пётр Борисович скончался за год до её рождения).

Вот тогда история и подключилась к делу. Наступил 1985 год. Зазвучали слова «перестройка», «гласность». В 1991 году распался Советский Союз, Закончились советские учреждения, появились акционерные общества. И на основе типографии, которая располагалась в доме, было создано акционерное общество «Оригинал». Чтобы выжить, часть помещений дома сдавались в аренду. Уже взрослая Анастасия предложила отцу попробовать попасть в дом, это же советовал и его друг Николай



Августина Анастасия и Борис Петрович-младший

Воронков. И Борис Петрович пришёл к директору «Оригинала». Тот очень хорошо знал, кто такой Юргенсон, знал историю дома и принял потомка знаменитого рода благожелательно, но посоветовал, что как физическому лицу не может дать ему возможность находиться в доме. И тогда возникла идея создания фонда имени Петра Юргенсона. Борис Петрович с помощью того же Воронкова, профессионального журналиста, человека знающего многих, не просто создал благотворительный фонд, который начал заниматься поддержкой молодых композиторов, но и привлёк к этому многих известных деятелей культуры от Ростроповича до Михалкова. И в 1998 году, практически одновременно с рождением самого молодого на данный момент представителя фамилии, прапраправнучки Петра Ивановича, Августины, после многолетнего перерыва Юргенсоны вернулись, наконец, в своё родовое гнездо. Пока ещё только в два зала, которые теперь широко известны как Гостиная Юргенсон, но, очевидно, что в доме с такой историей и с таким духом должен быть культурный центр, объединяющий в себе и музейную, и концертную, и просветительскую деятельность. Что интересно, когда после революции в частных домах происходили так называемые «уплотнения», Юргенсонов «уплотнили» именно в эти две залы, где теперь находится Гостиная.

Хозяйкой Гостиной стала Анастасия Юргенсон. Здесь проходят концерты классической и современной музыки, творческие встречи, проводятся различные культурные мероприятия не только музыкальной направленности: круглые столы, кинопоказы, презентации книг (в том

числе, состоялась и презентация брошюры Бориса Петровича-старшего по авторскому праву), с 2002 г. при поддержке Союза композиторов России и Министерства культуры проходят фестивали молодых композиторов. Тогда же, в начале 2000-х годов, был создан Международный конкурс молодых композиторов им. Петра Юргенсона, в котором с тех пор приняло участие около 500 композиторов из более чем пятидесяти стран мира, а финальный концерт конкурса по традиции проходит в Рахманиновском зале консерватории. Анастасия, профессиональная актриса, занимается и собственными постановками. В Гостиной состоялось несколько представлений мини-оперы Владимира Ребикова, который когда-то был большим другом семьи Бориса Петровича-старшего, «Ёлка» в фортепианном переложении. Музыка исполнял известный композитор и пианист Иван Соколов, считающийся, кстати, одним из лучших исполнителей Шопена, партии пела сопрано Елена Золотова. В 2011 г. к 175-летию Петра Ивановича и к 150-летию его фирмы был создан документальный фильм «Петр Юргенсон: вчера, сегодня, завтра», продюсером и режиссёром которого выступила Анастасия Юргенсон.

Борис Петрович-младший не только занялся деятельностью фонда, но и кардинально изменил свою жизнь и жизнь семьи: фондом занималась и его супруга Инесса Васильевна Почтарёва. Борис Петрович оставил геологию и стал, по приглашению Владислава Игоревича Казенина, ответственным секретарём Союза композиторов России, а впоследствии директором издательства «Композитор». К сожалению, в 2015 году Борис Петрович после тяжёлой болезни ушёл из жизни, фонд возглавила его дочь Анастасия.

2016 год стал во многом юбилейным: 180 лет со дня рождения Петра Ивановича Юргенсона, 155 лет со дня основания его фирмы, 150 лет Московской консерватории, а Августине Юргенсон — 18 лет, ровно в 10 раз меньше, чем ее прапрапрадеду. В этом году объявлено о создании Юргенсоновских ассамблей, совместного проекта Фонда имени Петра Юргенсона, Российской государственной библиотеки, библиотеки-читальни имени Тургенева и библиотеки-читальни имени Боголюбова. Первые ассамблеи пройдут в апреле 1917 г. Они призваны не только и не столько ознакомить широкую публику с деятельностью фирмы Юргенсона, но и показать культурную часть жизни общества в период бурного развития страны с момента отмены крепостного права, когда Россия достигла наивысшего роста капитализма, а вместе с тем и расцвета культуры и искусства.

Михаил Лалашвили
(Россия, Москва)

Михаил Иосифович Лалашвили (1917—2009) заслуженный артист цирка, эквилибрист, жонглёр на проволоке, на свободно вращающейся двухъярусной проволоке, основатель цирковой династии, художественный руководитель Грузинского циркового коллектива. Участник войны, разведчик, медали За оборону Москвы, За отвагу, За взятие Кенигсберга.

Мы публикуем здесь отрывки из его воспоминаний, любезно предоставленные близкими родственниками и наследниками.

Как я стал артистом цирка

Фамилия моя читателю ни о чём не говорит, разве что можно догадаться, что я грузин. Верно, «я грузин с ленинградским разливом», потому что детство — Владикавказ, а юность — Ленинград. Я люблю свою нацию и Великий русский народ, которому в мире нет равных, и не любить их нельзя.

Я принадлежу к среднему поколению артистов цирка, и горжусь тем, что я жил с ними, учился у них, в их среде формировался характер. Их трудолюбие, любовь к своей профессии, дружба и многое другое — те традиции, о которых говорил Станиславский своим студийцам: «Учитесь у артистов цирка, их дружбе, их трудолюбию, их любви к своей сложной и опасной профессии. Любите искусство в себе, а не себя в искусстве».

30 октября в 2006 году мне исполняется 89 лет. Я уже подошёл к черте долгожителей. И теперь, выйдя на заслуженный отдых, а я вышел «заслуженным», спрашиваю себя: как случилось, что я стал артистом цирка? Ведь в нашей большой и бедной семье никто никакого понятия о цирке не имел.

Семья. Тирдзиси, Грузия

Отец мой из города Гори, родина Сталина. Мать Назгоидзе Магдана Шиоевна, жила высоко в горах, из села Млеты. Отец наш был плотник, строитель, краснодеревщик, хороший семьянин. Скромный, стеснительный, труженик. Семья большая, бедная, четыре мальчика, четыре девочки, я был младшим.

Жили в селе Тирдзиси, рядом с г. Гори, в саду брата нашего отца, прямо в землянке. Отец по уговору с братом выстроил брату большой добротный дом, а тот должен был дать ему участок, чтоб он мог выстроить дом для своей семьи. Обещал, но слово своё не сдержал. Отец обиделся, но его друг, сосед Васо, пришёл к нему на помощь, дал ему арбу, двух быков. Отец решил ехать на заработки по Военно-Грузинской дороге, уезжая, сказал брату вот такое четверостишие:

Ты не думай, что богатый
 По заслугам стал богат,
 Что бедняк в дырявой чохе
 Сам в страданьях виноват.

Отец по дороге работал. Когда приехали во Владикавказ, родился я. После приезда во Владикавказ отец хорошо отблагодарил Васо, вернул арбу и быков. Жизнь человека отец сравнивал с колесом арбы.

После моего рождения отца призвали в армию, и вскоре пришла похоронка, погиб смертью храбрых на Деникинском фронте где-то под Ростовом. Матери на меня установили пенсию, на это жила вся семья.

Мать, неграмотная женщина, день и ночь трудилась на подённой работе, чтобы как-то прокормить семью. Старший, Николай, заменил нам отца, а как женился, перестал нам помогать, там уже командовала жена.

Время было трудное и голодное, началась эпидемия тифа. Люди умирали прямо на улице. У нас умерла Маруся, одна из сестёр, заболела мать. Старшая сестра, Люба, поднесла меня, грудного ребёнка, чтобы она меня покормила, а мать бредила и швырнула меня через всю комнату. А бабка сидела и вязала, но меня поймала, всё обошлось благополучно. Вот это и есть ирония судьбы, первая моя репетиция, с этого всё пошло и поехало, эти предзнаменования сопровождали меня на всём жизненном пути.

Владикавказ

Поселились мы во Владикавказе у самого Терека, спали вдвоём с братом, вода иногда захлёстывала в окно. Одна большая сырая комната, посередине — железная печурка. Когда научился ходить, дёргал мать за юбку, давал ей сито и требовал: «гомосцери, гомосцеи» — «посей, посей». Сеять было нечем, муки нет, одна шелуха. Мать держит меня на руках и мы оба сидим и плачем, и вдруг соседка заходит в комнату и даёт матери в мешке муку. Мать из этого варила нам мамалыгу, это была у всех тогда основная пища. Недаром была пословица:

Гамарджоба, Гогия,
 Мамалыга любия.

Так мы и жили, комната выходила в огромный двор, вокруг много квартир. Были соседи разной национальности, все были дружны, радость и горе воспринимали сообща, помогая друг другу. Все говорили на ломаном русском языке. С утра начинался гвалт: «Эла, Эла, девапия чай» — это по-гречески. Потом по-еврейски: «Дитеи, не дрожите диван, проснётся папе! — Идите кушать яиц, Фима, где твоя мама? — Моя мама на дворе, сохнет бельё. — Не ходи тудою, я стою тебя здесь! — Яша, на кого ты топнул ножкой, на своего народного папе и маме, которые тебя есть и пить? На папе, сволочь, на маме, дрянь, я тебе отвикну эти привички!».

«Дитя улицы»

Я когда начал бегать, увидел у соседа на балконе большой кувшин с молоком. Я влез в него головой попить молока, попил, хочу вытащить голову, а голова не выходит, застряла. Девочка увидела, побежала к отцу. Отец, осетин, схватил топор, ударил по кувшину, кувшин разлетелся, сбежался весь двор, я упал. Мать увидела, стала кричать: «Чеми швили могда, могда чеми швили!», по-грузински «Мой сын умер, умер мой сын!». Хозяин подошёл, поставил меня на ноги, я весь в молоке, стою плачу, на шее висит жабо от кувшина, все смеются, вот цирк и только. А я плачу и не понимаю, почему все смеются.

Во дворе была артель в виде пекарни, где выпекали вкусный лаваш для продажи, она называется пурня. Я полез в неё за лавашом и упал в пурню, хорошо, что она была не горячая. Меня опять спасали соседи, недаром говорят, что «ближний сосед лучше дальнего родственника».

Около нашего дома, при спуске к Тереку, стояли высокие деревья с фруктами. Я полез на самое высокое дерево, а когда взобрался высоко, то увидел большой куст, который висел над дорогой, и на нем было много орехов, я решил перелезть. Когда перелез и устроился, то увидел, как идёт женщина с коромыслами к Тереку. Мой куст затрещал, я повис и крикнул: «Тётенька, отойдите, падаю!». Куст, когда падал, зацепился за сучок и не долетел до земли, я крепко держался за него руками, а потом уже не мог, и упал около дерева в обочину. Когда падал, потерял сознание, когда очнулся — был уже в больнице.

Доктор меня спрашивает: «Что болит?». Я говорю: «Ничего не болит». «Как не болит, не может быть, ведь ты падал с дерева на дорогу и не в сено, значит, должно что-нибудь болеть, говори честно, не скрывай». «Я падал не на дорогу, а в обочину около дерева, и у меня ничего не болит».

В это время заходят мать и Гоша. Доктор говорит: «Вот, мамаша, ваш сын здоров и жив, как видишь. Он у вас молодец, будет хорошим циркачом». А Гоша говорит: «А почему циркачом?». «А потому что я сам хотел быть циркачом, а родители мне не разрешили, вот теперь я работаю врачом». «Да, но как вы узнали?». «Я, когда его осматривал, то я заметил: на левой руке у него красивая цирковая наколка, это сложный трюк "рука в руку". Я подумал, если он это наколол, значит есть к этому какие-то предпосылки». «Да какие могут быть предпосылки, он ещё цирка не видел». «Но это не важно; конечно, плохо, что в городе нет стационарного цирка, а если бы был и он увидел, тогда всё бы прояснилось. А вы, мамаша, не волнуйтесь, если будут боли, или какие-нибудь жалобы, тогда мы через рентген проверим и как надо подлечим вашего циркача. До свидания, всего вам доброго».

Когда мы подошли к дому, на лавочке сидели наши соседки, одна из них говорит: «Какой у нашей Марьи Семёновны хорошенький славный мальчик». А другая говорит: «Да, славный, у других, говорят, дети мрут,

а этого и черти не возьмут. Всё время с ним что-нибудь случается, то в молоко влез, то в пурню провалился, теперь по деревьям стал лазить, обивает дары природы, старших не слушает, мать переживает, а ему хоть бы что, славненький, хорошенький, нечего сказать».

Когда зашли домой, Гоша говорит: «Ну что? Слышал, какая у тебя характеристика, как ты себя ведёшь? Где тебя черти носят, твоя учительница Нина Николаевна тоже говорит, что ты у них редкий гость, хочешь, в школу идёшь, не хочешь — не идёшь, дитя улицы, и только».

Наводнение

Началось наводнение, благо оно было кратковременным. Мы, мальчишки, с ужасом смотрели, как огромные волны уносят всё на своём пути. В этом стремительном потоке гибнут и живность, и люди. В нашу комнату стала поступать вода. Двор наш опустел, бросив все свои вещи, все убежали наверх, в город. Мать и Георгий успели схватить матрас, одеяло, и мы спали во дворе с Георгием, а мать караулила нас. На наше счастье, Терек стал успокаиваться. К утру приехали Люба с Гришей и забрали нас к себе домой. Они жили в прекрасном доме в центре города. Мать спала в маленькой комнатушке, я на веранде, вроде коридора, при входе в сад.

Кадымовы

Утром ко мне пришли мои друзья, Анвер и Кадымчак, принесли дыню и пирожки с мясом: мама прислала, сказала: «Отнесите Мише, он хороший мальчик». «Давай, завтракай, пойдём гулять». «А куда?» «На Терек, но купаться там не будем, хоть Терек успокоился, отец запретил, говорит — наводнение может повториться. Он сегодня уезжает в Баку за визой». «А что это “за визой?”». «Это документ, по которому разрешают выезд за границу. Мы поедem на родину, в Персию. У нашей маме там свой замок, яхта, машина, богатые родители». «А когда поедете?». «Не знаю, когда папа скажет». «На Тереке купаться не будем, я знаю хорошее место, устроен приток для мельницы, он не широкий, метров двадцать, идёт тихая спокойная вода, а дальше большое колесо крутит воду, и не дай Бог попасть под это колесо, тогда верная смерть».

Кадымчак — мой одноклассник, Анвер — немного постарше. Мы бегали в парк, на Терек, на стадион. Главным был Анвер. Хорошая, интеллигентная семья, меня любила их мать, всегда угощала сладостями, всегда приглашала обедать, я не ходил, этим всегда их обижал. Но я был стеснительным, от этого я много терял. И это первым мне заметил знаменитый наш режиссёр, Арнольд, он так меня и называл: «стеснительный грузин»...

...После премьеры в Московском Цирке все писали заявление на повышение ставки, а я не написал. Арнольд меня спрашивает: «Почему вы

не написали?». Я говорю, что в подачках не нуждаюсь. «Вы что, такой гордый или богатый?». Я говорю: «Нет, я считаю, что у меня ставка хорошая, я больше не стою». «А какая у вас ставка?» «Тысяча двести рублей». Это установила мне Ленгосэстрада, это первая высшая. «Вы посмотрите, единственный артист за мою жизнь сказал правду»...

Мы с Любой поехали провожать Кадымовых. Добрая семья оставила в наших сердцах незабываемое впечатление. Как тяжело провожать любимых людей, когда знаешь, что это навсегда. Люба просила меня, чтобы я зашёл в вагон и попрощался. Я не пошёл. Кадымчак плакал. Я махнул рукой, махнул и он, и мы поняли, что это знак примирения. Поезд ушёл и увёз мою детскую радость.

Терек

С центральной улицы идёт маленькая мощёная дорожка к Тереку, Маленькая улочка называлась Огнёва, всего три-четыре дома, а дальше стояли рядом два моста, один деревянный, второй железный, по нему ходили трамваи. Мы жили на ул. Огнёва (теперь Набережная), на этом месте сейчас красуется здание Осетинского театра.

Терек был красивый, широкий, чистый, глубокий, огромные волны уносили всё на своём пути, но он украшал весь город. И поил, и кормил: красивая, очень вкусная пятнистая рыба, называлась «царская форель». Лермонтов очень хорошо писал о Тереке, но допустил ошибку:

И Терек, прыгая, как львица

С косматой гривой на хребте...

У львицы гривы нет...

Владикавказ — город многонаселённый, весь в зелени, окружён горами — Казбек, Эльбрус, Лысая гора, Сопитская будка, где проходили гулянья.

Сестра Люба

Старшая сестра Люба вышла замуж за хорошего доброго человека, Гришу Кенкишвили. Семья разделилась, мы остались жить: мама и дети — Георгий старше меня на пять лет, мы и спали с ним вместе. Волны Терека убаюкивали нас, иногда стучали по окнам.

Гриша, высокий, стройный, красивый, под стать нашей Любе, это была красивая и добрая пара. Они помогали, воспитывали, цементировали всю нашу семью. Он был товароведом в магазине, вернулся с войны тяжело раненным — служил в артиллерии. Был хлебосольным, любил жизнь, застолье и друзей. В них пошли и дети. Старший, Миша, назван по мне, вечный путешественник по далёким местам, турист, такой же добрый и верный, как отец. Дочь его, красавица Натела, гостеприимная хозяйка, швея, мастерица на все руки. Организатор всех моих многочисленных племянников и внуков, Олег,

с золотым сердцем и светлой головой. Служил во флоте, бороздил моря. Он пишет мне: «Береги себя, ты остался у нас один, на каждом застолье первый тост всегда за твоё здоровье». Лида, младшая, моя радость, работала бригадиром строителей на стройке, награждена орденом Ленина. Сын её, полковник, Игорь Шаталов, служит в Москве.

Николай

Николай, старший брат, был парикмахером. Второй брат, Алёша, был чекистом в ГПУ. Он был грозой преступного мира, за ним всё время охотились бандиты и убили его на Тереке. На этом закончилась его молодая жизнь. Матери, которая выплакала все глаза, чекисты установили до моего совершеннолетия пенсию, вот на это мы все жили.

Николай открыл свою парикмахерскую, у входа красовалась огромная вывеска «Парикмахерская Лалашвили». Он стал уважаемым местечковым интеллигентом. Жил в мастерской и работал с утра до вечера, клиентов было много. Вечером выходил на променаж, в модном костюме, на бульвар. Держа в руках шляпу, учтиво кланялся знакомым. К нему приходили как в клуб, не только побриться, а послушать его разговор, его наставления, новости. Он был высокий, красивый, хороший рассказчик, давал советы всем и во всём. Любил юмор, анекдоты, особенно политические.

(«За что сидишь? — Из-за лени. — Как из-за лень? — Мы с Хаймовичем друг другу рассказывали политические анекдоты, я поленился на него заявить, он заявил, вот и сижу из-за лени»)

Николай не любил Георгия за то, что он не слушал его. Бреет клиента и говорит: «Мой младший брат не хочет учиться ремеслу парикмахера, работает на электростанции каким-то зачуханным слесарем, уже успел влезть в комсомол, а вот этот сорванец целый день на Тереке гоняет в футбол. Этот сопляк учиться не хочет, связался с жуликами, что с них ожидать? Тот хочет строить коммунизм, этот воровать. Я ему только вчера купил сандалии и вот во что он их превратил, а ну-ка, покажи дяде». Я снял, швырнул их, босиком убежал.

На следующий день мать еле уговорила пойти к Николаю, может даст нам деньги на керосин, а то и лампу не зажечь, Гоша придёт, ему надо стенгазету писать. Я пошёл, он бреет и меня спрашивает: «Этот Ворошилов дома?». Я уже знал, кого он имеет ввиду, говорю: «Дома». «Что делает?» «Газету пишет». Он говорит клиенту: «Мой брат — политикан. Он, понимаешь, любит Советскую власть, уже секретарь комсомольской организационно-защитной комиссии». А клиент, ингуш, держит газету, положил ногу на ногу, делает вид, что газету читает, и я вижу, что газета у него вверх ногами. Николай его спрашивает: «Что там нового?». Он отвечает: «Ни черта нового нет». А я возьми, да и скажи: «Как он может читать, когда газета вверх ногами?». Тот возмутился, а Николай как крикнет: «Вон из мастерской, мерзавец!».

Я убежал, прихожу, рассказываю дома матери, что он меня выгнал. Мать: «Ну что же ты, сынок, сделал, как теперь Георгий газету напишет, что ему там скажут?». А Георгий сидит, смеётся и говорит: «Молодец, правильно сделал, а ты, мама, не беспокойся, я задержусь, и стенгазету напишу на работе, а вы ложитесь спать пораньше, меня не ждите, у Николая денег больше не просите, как-нибудь проживём сами».

Один раз он бреет и говорит: «Вот у нас в семье три брата, двое умных, а младший футболист». И строго посмотрел на меня, и крикнул подать прибор. Я вместо того, чтобы принести поднос с прибором, взял и убежал. А мать дома говорила: «Ты, сынок, на него не обижайся, он неплохой...».

Закрывалась мастерская, начинались застолья в мастерской за перегородкой, Николай там жил. Он сам почти не пил, любил угощать и петь, у него был хороший голос. Когда собиралась родные жены, пели украинские песни, я очень их любил, и помню до сих пор, пою сам:

У соседа жинка мила,
У мене жинки нема,
Милой нема жинки.

Виют ветры, виют буйны,
Аж деревья гнутя,
Так болит мое сердце,
Сами слёзы льются.

Когда собирались грузины — пели грузинские, это уже до утра, а утром Николай говорил: «Нет такой компании, которая бы не расходилась»

Говорили, что будет голод. Гриша говорил: «Бог даст день, Бог даст пищу». Николай говорил: «Бог даст день, а пищу даст или нет? Её надо ещё заработать».

Николай не любил Советскую власть, В тот страшный период, когда только за одно слово ставили к стенке. 58-я статья гласила: «враг народа», он позволял себе всякие шутки, прибаутки, и никто не заявил.

Самовар

Николай дал мне три рубля и послал на базар купить мясо. Я пошёл, смотрю — будка лотерейная и там народ играет, и выставка красивая, много разнообразных игрушек, а наверху стоит красивый самовар. Я подумал, у меня остались ещё деньги от мяса, и взял на все деньги билеты. Достаяю из барабана несколько билетов, читаю, сзади мужчина смотрит и говорит: «Остальные можешь не смотреть, они всё равно пустые, а ты выиграл самый дорогой приз — самовар!»

Вокруг собрались зеваки, а хозяин взбеленился и говорит: «Это нельзя считать, я ему заплачу деньгами — самовар нельзя, это выставка!».

А там один грозный мужчина вступился: «Снимай самовар, отдай мальчику, а то я твою будку переверну. Жульё тут понаехало!». Его поддерживали остальные. Ничего не оставалось, как отдать мне самовар. Пока всё это происходило, я корзину поставил на пол. Смотрю, корзина валяется на полу, а мяса нет. Одна женщина говорит: «Я видела, как большая собака бежала и в зубах держала мясо».

Я взял самовар и положил в корзину, прихожу в мастерскую, а Николай удивился: «Где ты украл такую ценность? Сейчас пойдут с собаками, закроют мастерскую, а тебя посадят в тюрьму». Я говорю: «Никто не придёт, потому что я честно выиграл. И я этот самовар отдам маме, она будет рада, а три рубля за мясо — Георгий получит зарплату и отдаст». «Ты что болтаешь? Этот самовар украсит нашу мастерскую. А завтра, — к нам приехал цирк, — я тебя возьму с собой, мы посмотрим, тебе понравится. Там смешные люди, лошадки красивые и звери, и бродячие акробаты».

Я подумал, что мама всё равно отдаст этот самовар ему, и возражать не стал. На следующий день он сам пошёл на базар, купил большой поднос и красивые чашки и в следующем углу комнаты поставил круглый стол, на столе лежали журналы-газеты. Комната большая, рядом поставил тумбочку и сверху, на подносе, самовар, и правда, в комнате — красивая и уютная обстановка. У него стало приходиться много клиентов. Они включали самовар, и начиналось чаепитие, в тумбочке были сухарики, печенье, конфетки, а рядом сидела белая собачка-копилка. И было написано «Сколько не жалко», и туда бросали мелочь, иногда рубли. Николай говорил: «Это твой навар, и копилка твоя, делай с ней что хочешь». Я их вынимал и бегал на углу к Магомеду в лавку, покупать сладости.

Сито винограда

Один раз украл у Магомеда целое сито винограда, притащил домой. А Георгий, почему-то все его звали Жора, вскочил со стула, залепил мне щечину, взял сито с виноградом, а меня за ухо привёл к Магомеду. Магомед меня стал гладить по голове и так жалобно причитал: «Воровать нехорошо, ты лучше попроси, добрые люди не откажут. А так ты погибнешь, тебя посадят в тюрьму». Он достал большой пакет, положил туда всякие сладости, хурму, халву, чурчелу, и сказал, если что надо — приходи, не стесняйся, я дам, что захочешь. Этот эпизод я запомнил на всю жизнь, и лавку Магомеда всегда обходил, мне стыдно было появляться ему на глаза.

Друзья воры

Из соседнего дома у меня появился друг Алёша, как потом я узнал, он был рождён вором, вся семья и два его старших брата были бандитами.

Они грабили и убивали, скрывались где-то в горах. Как-то Алёша мне говорит, он был на три года старше меня: «Давай будем дружить, ты мне нравишься. А драться умеешь?». «Нет, не умею. Но кто меня ударит, я ему нос раскрашу». «Правильно, молодец!» «Мне мой брат Гоша говорил: «Если прав — сражайся, если не прав — сознайся». «А ты знаешь Кучума?». «Не знаю». «Как же, он рядом с нами живёт у деревянного моста, его вся братва уважает, он чемпион по боксу, его весь город знает. Он буржуев не любит, он служит в милиции, и блатных ребят в обиду не даст, он дружит с Малышкой». «А кто Малышка?» «А это вор в законе, он главный у них правокачатель. У них интересная компания, хочешь, я тебе покажу?». «А где?». «У тебя под носом, в разбитом Народном доме, внизу, у самого Терека, в трущобах они обосновались. А теперь пойдём сбивать орехи, уже поспели, наверно. А ты лазить умеешь?». «Умею». «Ну вот тебе палку, я её кину, когда залезешь на дерево, а сверху смотри, кто будет по дороге походить. Смотри, сиди тихо, чтоб не заметили, пройдёт — бей палкой по дереву, сбивай орехи, я буду их собирать».

Я всё делал как он учил, я сбивал, он собирал. Я так увлёкся, полез ещё выше, и на дороге увидел женщину, она шла к Тереку с вёдрами на коромысле. Ветка, на которой я сидел, треснула, я успел только крикнуть: «Тётенька, уходи, падаю». Она бросила вёдра и убежала в сторону, я упал на вёдра и очнулся в больнице. Говорят, что я валялся внизу весь в крови. Разбил себе подбородок, содрал кожу на правой стороне лица и долго ходил со шрамом. А Николай говорит: «Ты у нас скоро Сталинским соколом будешь».

«Народный дом»

Напротив нашего дома стоял большой «Народный дом», теперь он в развалинах. Там поселился преступный мир из Ростова. Они активизировались, начался развал, грабёж, убийства. Если раньше после трудового дня люди вечером приходили погулять на бульвар, встретиться с друзьями, то теперь, боялись вечером выходить на улицу: «до восьми ваша, после восьми наша». Мы, мальчишки, были у них на побегушках, то за папиросами, то за семечками. Они учили нас, как драться, как лазить по карманам, как хитро воровать, как играть в «очко» и т.д.

Но это продолжалось недолго, осетины, ингуши и другие кавказские люди помогали органам навести порядок в городе. «Малышку» отправили в Соловки на каторгу, остальные получили сроки, кого в Магадан на повал. Кучума расстреляли за какие-то валютные махинации. Наступил период НЭПа.

Фокусы, китаец

Алёша меня позвал на базар, говорили, что там китаец хорошие фокусы показывает. Мы пошли. Подходя к базару, на площади, смотрим — много народу, и правда, китаец показывает хорошие интересные фокусы.

А в конце его маленький сынишка, моего возраста, стал кувыркаться, делать акробатические трюки, он обворожил всех зрителей, а конце он сделал мостик. Отец положил ему на живот бубен и сам на ломаном русском языке стал жалобно приговаривать: «Айн батюшка, аян матушка», и люди стали бросать в бубен деньги. Сперва полетела мелочь, а потом пошли и рубли. Мне он так понравился, что я решил также научиться.

Как начались занятия

Пришел домой, решил по стенке опускаться назад, сразу не получилось. Я понял, что это не так просто, как кажется, надо упорно ежедневно заниматься, и взялся за дело. Мостик у меня пошёл хорошо, а вот стойка на руках долго не получалась. Догадался, репетировать — надо тоже на стенку закинуть ноги и тихонько отталкиваться, на балансе держаться на руках, это тоже было освоено. Я научился и стоять, и ходить на руках. А вот с акробатикой было сложнее.

Захожу в мастерскую, а Николай мне говорит: «Завтра пойдём с тобой в цирк». «В какой цирк?» «Цирк-шапито, что-то вроде цыган, шатра, это по твоей части, тебе понравится. Я уже билеты заказал, интеллигент, мой друг, зайдёт за нами».

Зашел интеллигент, как увидел, что лицо, шея забинтованы, ахнул: «Что с ним?». Николай говорит: «Он у нас теперь верхолаз. По деревьям лазает, что-то вроде циркача. А на прошлой неделе я его послал на базар за мясом, а он вместо мяса самовар притащил». А тот смеётся и говорит: «А ты его почаще посылай, он тебе корову притащит».

Мы идём, они разговаривают, а я сбоку иду и слушаю. Интеллигент говорит: «За свою жизнь человек может стать несколько раз бедным, а потом и богатым». А Николай ему отвечает: «О каком богатстве ты говоришь при нашей власти: недавно по нашим аулам проехали этот Жопакнидзе и Киров, они мечом и огнём загоняли горцев в колхозы, а теперь на съезд в Москву отправили телеграмму Ленину-Сталину: "Над Тифлисом реет красное знамя Свободы, да здравствует Советская Грузия". Это, знаешь, вчера заходил ко мне Гиго, тот, что на базаре водой торгует, он стал ингушу рассказывать: "Я, — говорит, — во время революции был в Петербурге и тоже участвовал, мы ворвались во дворец и сбросили царя". Я говорю: "А что ты до того делал?" "Водой торговал". "А теперь что делаешь?" "И теперь водой торгую". "А за что царя снимал, что, царь не разрешал тебе водой торговать?"».

После цирка я, как замороженный, шёл домой, ничего и никого не замечая. Николай спрашивает: «Какой номер понравился?» Я говорю: «Мне всё понравилось». Я цирк полюбил ещё тогда, когда его не видел, а когда увидел, то для меня уже ничего не существовало. Когда пришёл до-

мой, матери рассказывал всю программу от начала до конца. Мать сказала: «Я слышала, что это очень опасная профессия, можно на всю жизнь остаться калекой». А Георгий отчеканил: «О цирке и не думай, для того, чтобы туда попасть, надо учиться на пятёрках. А ты, как мне сказала Нина Николаевна, твоя учительница, ты в школе редкий гость. За тобой не уследишь, то ты на Тереке, то на стадионе, то на кирпичках стойки жмёшь. А какие у тебя друзья? Одни только жулики и воры».

Камера смертников

Алёша приходит ко мне: «Идём». «Куда, в школу?». «Какую школу, пойдём на "собачью", на дело, Малышка задание дал, в "Театр юного зрителя". Надо подкараулить у выхода, где осетины встречают своих детей. У них на головах дорогие каракулевые шапки, чем выше, тем дороже цена. Надо снять одну шапку и принести к Малышке, он проверит, годишься ли ты быть в составе блатных». «А как я должен это сделать?». «Ты будешь не один, я буду с тобой рядом. Ты знаешь Максика, который ездит на велосипеде, сын инженера? Он тайно состоит в нашей организации, он и в карты играет хорошо, хорошо играет и на музыкальных инструментах, и отменный карманник, скоро будет вором в законе. Он будет в театре, когда будут выходить все, мы присоединимся к толпе, а Максик покажет нам того, у кого надо стибрить шапку. Ты схватишь с головы шапку, передашь мне, я — за пазуху, и поминай как звали».

Хозяин шапки сразу схватил меня за руку, смотрит — у меня ничего нет. А женщина говорит: «Я видела, он передал другому, а тот исчез с глаз». А я ему говорю: «Дяденька, я у вас ничего не брал, отпустите меня, мне в школу надо», а он продолжает меня держать. В это время подходит другой мужчина и спокойно говорит: «Что-то твоя личность мне знакома, а в какую школу ты собрался? Там давно все учатся». Я говорю: «А во вторую смену».

Он заломил мне руку, дал лёгкий подзатыльник. Хозяину показал удостоверение: «Завтра приходите в милицию, шапка найдётся. А ты, сверчок, поедешь куда надо, там они подумают, в какую школу тебя отправить и на какой срок». Остановил извозчика и повёз меня в милицию. Заходим в милицию, он говорит дежурному: «Посади его пока в КПЗ. А Кирпичников здесь?». «Нет, но скоро должен приехать». «Скажи, что я его привёз и поехал на задание». И уехал.

Я сижу и думаю, ведь фамилия Кирпичников мне знакома, но кто он, догадаться не мог. А потом вспомнил, на стадионе, смеясь, блатные говорили — когда его спрашивали, за что посадили, он всегда отвечает всем: «За рыбу».

Приехал Кирпичников и мне говорит: «Какими судьбами изволил к нам заглянуть?». Я отвечаю: «Я ни в чём не виноват, за что меня поса-

дили?». Он говорит: «За рыбу. Вот приедет господин Сукинадзе, и он рассудит, казнить, или миловать. А пока посадите его, — говорит дежурному, — в камеру смертников, это будет его настольным пособием, к счастью, эта камера уже свободна. Пусть увидит, что его ждёт в будущем».

Зашёл в камеру, смотрю, стены все расписаны и начертаны чем попало. Читаю:

«Будь проклят тот, отныне и до века,
кто думает тюрьмою исправить человека».
«Прощайте милые друзья, Малышка и Мича,
меня сослали на три года. Чумчара»,

и многое другое...

Кучум

На следующий день заходит в камеру тот человек, кто меня привёз вчера, и говорит: «Освободите узника, а то мать во всесоюзный розыск объявила». Этим человеком оказался мой сосед Кучум. Обратной дорогой он по-приятельски со мною говорил, всё у меня расспросил и сказал: «Я знаю твою семью, парикмахера Николая знают все, он уважаемый человек в городе. Другой твой брат, Алёша, был моим другом, мы вместе служили в органах, он отличный был чекист, за ним охотились и зверски убили белобандиты на Тереке, он напоил лошадь и сам хотел попить воду, стал на коленки, сзади напали несколько человек, они кинжалами нанесли в спину удары и сбросили в воду. Только маме ты не говори об этом. Я слышал, ты любишь футбол и увлекаешься акробатикой, это хорошо. Я тоже спортсмен, занимался гимнастикой и боксом, ты плавать умеешь? Нет? Приходи ко мне, я тебя научу плавать и драться, в жизни пригодится. А с бандитами не связывайся, они до добра не доведут». «А где плавать?». «Будем учиться на Ходиковке, там утром я загораю, хорошее пляжное место, около мечети, там меня найдёшь».

Андрей Мамулов

Пришёл на второй день, прошёлся по пляжу, его нет. Зато познакомился с человеком, который стал моим настоящим другом и, можно сказать, учителем. Я ему всё рассказал, он принял активное участие в моей судьбе. Он обещал давать мне читать книги о рыцарях, и на следующий день сразу принёс «Айвенго», потом «Ричард Львиное Сердце» и другие. В таком же стиле он написал стихи о моём творческом начинании, которые сбылись, вот какими пожеланиями сопровождалась моя мечта о цирке. Сам он был хорошим спортсменом, всё время загорал, зимой купался в проруби, мальчишки его прозвали «водяной», они любили его.

Хачик Аванесян, Жан

Андрей сказал: «В нашем спортивном обществе был в акробатической секции хороший тренер Хачик Аванесян. Я его разыщу и тебя познакомлю, он тебе поможет». А этот Хачик жил рядом с Любиным домом. Он его привёл, я стал его партнёром. У него был хороший средний партнёр Жан, и ему был нужен стоишник верхний. Мы стали репетировать и выступать на клубных вечерах. Хачик учил акробатике, Жан безумно любил цирк и воспитывал меня к нему.

В моём родном городе стационарного цирка не было, мне приходилось искать, где и с кем проводить занятие. Всё проходило с травмами, ушибами, а когда кое-чему научился, проверять приходилось на Тереке, на стадионе, на чердаке, вдали от зевак и любопытных глаз. А потом пошли гастроли по аулам, посёлкам, жизнь бросала по отдалённым местам, вот и получился циркач из глубинки...



Шло время, Михаил выступал, жил в Ленинграде, воевал, получил два ранения, контузию, был награждён военными наградами. Выступал с акробатическими номерами на проволоке, объездил с гастролями весь Советский Союз, работал за рубежом. Расширил границы эквилибра на свободной проволоке: придумал аппарат — «Двухъярусная вращающаяся проволока». Стал заслуженным артистом, работал в Союзгосцирке, был художественным руководителем Грузинского циркового коллектива. Дожил до 90 лет, стал основателем династии артистов цирка.



ПОЭТИЧЕСКИЙ НЕВОД «ГЛАГОЛА»



© Художник Елена Любвич

Ольга Хворост
(Россия, г. Железнодорожный)

Рисуешь...

Рисуешь...

просыпаешься, открываешь глаза — темно,
соображаешь, сомневаешься, чешешь репу,
берёшь краски, распахиваешь окно
и рисуешь небо,
голубое-голубое, огромное, без границ,
смотришь и думаешь — какое ж оно пустое,
берёшь краски и в небе рисуешь птиц —
примерно штук сто, и
беспокоишься — вдруг замёрзнут, погибнут вдруг,
пытаешься их согреть — не удаётся,
берёшь жёлтую краску, рисуешь круг —
чтобы было солнце,
теперь — порядок, собираешься наконец,
спешишь, шапку — на голову, ботинки — на ноги,
открываешь дверь, а там ничего нет...
и ты рисуешь дорогу.

Бабушка

В жизнь его больную, суматошную,
Где, что умирать, что убивать,
Приходила женщина из прошлого
И бочком садилась на кровать.
Не забытый с детства запах ладана
Он вдыхал и жалобно ревел,
А она всё гладила и гладила
По его пропащей голове.

Катя

Катя приходит к бывшей свекрови,
Варит ей суп-пюре из моркови,
Моеет полы, ругая коровой,
Выжившей из ума.
Та, демонстрируя свой характер,
Будто назло не встаёт с кровати,
Да и не помнит старуха Катю —
Полный в мозгах туман.

Видно, судьба у неё такая, —
Думает Катя, тряпьё стирая;
Кличет свекровь то Витька, то Раю,
Просит найти кота...
Бабка чудит, а ей не до смеха —
Витька давно отсюда уехал
В Питер. Сперва говорил — до снега,
Так и остался там...

Катя привыкла и не в обиде,
Да и на кой ей сдался тот Питер.
— Ложку за Раю, ложку за Витю...
Что это на носу?
Ну, ты хотя б не вертела рожей,
Если решила обедать лёжа...
И осторожно, ложку за ложкой,
В бабку вливает суп.

Николай Бицюк
(Украина, Новгород-Северский)

Прогулка в Осень

Предзимье

В озябших пальцах холодно зиме.
Дыханием согреть? Она растает.
Настанет слякоть, слякоть нас заставит
Плести интриги или макраме.

И мы плетём, невидимо, к тому ж
Невнятно, бестолково, понаслышке...
Сливают капли водные излишки
Свинцовых туч в резервуары луж.

А да... Нет, нет, не стоит торопить,
А дальше сосны, ветви, иглы, спицы...
Сшивает белоснежные страницы
Двойной лыжни распутанная нить.

А не... Да, да, явились снегири,
А небо, замерзая, бредит Крымом.
Десятка два столбов белёсым дымом
Плетут узоры в небе, на пари.

Париж? Какой Париж, когда зима?
(Морозный воздух искажает фразу.)
Париж, куда не ездили ни разу
Ни снегири, ни сосны-терема.

Ах да, пари, слышалось — и вот,
Ах нет, не стоит убеждать в обратном...
Мороз, зима, все мысли о приятном...
И мир, в котором слякоть не живёт.

Мандельштам

— Осип Эмильевич, — шёпот в тумане,
Серые будни, клеймо инородца,
Кончились деньги в потёртом кармане,
Только стихи продолжают бороться.

Полночь, свеча догорит, не согреть
Комнату, тень от стола и буфета,
Старого, битого жизнью, еврея,
Русского, битого жизнью, поэта.

Противоречие? В сумерках длится
Исповедь совести, тела тирада.
Время проходит, забудет столица
Лица ушедшего в ночь Петрограда.

Поодиночке уйдут за пределы
Модные баловни светских салонов —
Блок, Гумилёв, Ходасевич и Белый,
Гиппиус, Ивлёв, Цветаева... клонов

Много появится. Оригиналы
Не превозносят эпоху репрессий.
Пусть Мандельштам будет строить каналы,
Будет Есенин ходить на воскресник.

Что, отказались? Их всех подчистую
Вычесть из жизни до Первого Мая.
Кто-то ещё прошептал: «Протестую»,
Мёртвые губы в усмешке сжимая.

Осип Эмильевич, поздняя осень
Тоже погибла в кошмаре жестоком.
Двадцать седьмое, декабрь, тридцать восемь,
Жизнь покидает под Владивостоком.

В общей могиле озябшего тела
Не отыскать. Мертвецов галерея.
Жаль, что страна сохранить не сумела
Старого, битого жизнью, еврея.

Прогулка в осень

Несмотря на пол и возраст, слой обоев липнет к стенам,
Подымая имидж дома. На верёвке бельевой
Сохнут даты. Дом поддатый дым закручивает феном
И бросает прямо в небо высоко над головой.

Вой не вой — уходит осень. Облысев — осины в шоке.
Укатилась в чью-то милость солнца тусклая деньга.
Отражаясь в грязных лужах, дни, погрязшие в пороке,
Ташат глупые недели под притихшие стога.

— Голосуем за невинность, — голосили в роще галки,
— Дружно требуем разврата! — резолюция синиц.
Воробьи орали в небе нецензурные кричалки,
Унижая, обижая пролетавших к югу птиц.

Только осень уходила босиком по бездорожью
Дальним эхом, тихим смехом, колокольчиком звеня.
Убеждать желала правдой, удержать пыталась ложью,
В поле брошенная рожью бесприютная стерня.

Юлия Герасим
(Украина, Николаев)

Клевер о трёх лепестках

Клевер о трёх лепестках

Если жизнь, точно клевер о трёх лепестках,
Если вроде нашёл, хоть ещё не искал,
Если небо висит на булавочках скал
Махаоном коллекционным,

Значит, выброси зеркало и телефон,
По сравнению с ними ты призрачный фон.
Тело просит полёта, как будто Сафо,
Безнадёжно влюбленно.

Если радость, как мятная жвачка в мороз,
Если волосом ты в кожу города врос,
А улыбка твоя проступает тавром —
Это метка навеки счастливых.

Значит, это не значит уже ничего,
Как надежда на выигрыш у ни-ще-го.
Жизнь вообще аскетична — и лишнего
Позволяет себе только в ливень.

слышишь, а мы живые? а мы живые!
крохотными ногами топчет ливень
в наших запутанных волосах.
мы нарисуем нового человечка,
но без тюремных клеток — ещё не вечер.
пусть выбирает дорогу сам.

или дорога — нас, что уже не важно,
если ты очень маленький и бумажный.
бог оригами увлекся, и
мы получились с нашим бытём картонным,
с нашей любовью, где и титаник тонет...
смерть от любви пахнет флоксами.

видишь ли,
 нет ни смысла уже, ни боли.
 солнце на небе
 скачет лихим ковбоем,
 словно бы пульс у сердечника.
 смертным быть страшно,
 ну а бессмертным — скучно.
 значит, родиться лучше,
 намного лучше
 маленькими человечками —
 хрупкими и беспечными.

маленький человечек

маленький человечек
 в простой тетрадке
 думает, что он вечен —
 все взятки гладки,
 стукнется о разметку
 и брякнет: «здрасьте!»
 он не дошёл до мекки,
 не видел свастик,
 путь его не убавить
 вдоль красных линий,
 он не ловил губами
 шершавый ливень,
 да и не жил, наверно,
 двумерный, плоский:
 пусть избежал он терний —
 не видел звёзды,
 мечется меченосцем,
 но на безрыбье.
 жил под большим вопросом,
 а после — выбыл.

вот и стоит оборванный,
 брошенный человек.
 бог отсыпает поровну
 радости... нет, не верь
 в бога, судьбу и дьявола,
 в силу молитв и слов.
 только себе представила —
 ветром их унесло.

в черном зрачке смородины
 змейкой свернулся мир,
 странный, больной, юродивый —
 выдохни и замри.

зрачок

чёрный зрачок смородинный
 жадно глотает свет.
 нет ничего: ни родины,
 даже вселенной нет.

травы одежд касаются,
 словно фанаты, но
 каждая здесь красавица
 в солнечном кимоно.

станешь спокойней, искренней,
 чем в роднике вода.
 люди рождались искрами
 в жуткие холода,

листьями подорожника.
 если болит — сорви.
 что может быть безбожнее
 и зеленой травы?

Егор Сергеев
(Россия, Санкт-Петербург)

Танки не выстрелят

Некто-никто

Когда нам сказали, что подкрепление не придёт
(не то чтоб взорвали мост, или вымок аглас,
а просто оно и вовсе не ожидалось) —
мы не почувствовали никчёмности наших судеб
или же собственного геройства.
Только усталость.

Как верно, в области указательного на правой.
И с глаза левого по реснице крошилось в пыль,
когда на той стороне прицела под всплеск кровавый
вдруг падал некто-никто,
которого ты убил.

Когда нам сказали, что эти черти берут в кольцо,
мы стали писать записки и класть в жилеты
троих семнадцатилетних живых бойцов.

«Идите на север по лесу до рассвета
Пусть сил придаёт вам ворон или шакал».

Мы знали, что при любой из развязок бегства
заплачет, держась за воздух или за сердце
тот некто-никто,
которому ты солгал.

Война в неглиже. Мораль здесь проста, как «нет».
Голиаф раздавит Давида, а бомба — госпиталь.
Когда уже генерал достал пистолет
и лёг с рядовым под дождь, в окопные лоскуты —

нам стало спокойно. Даже стрелять в своих,
бегущих из боя с воплями знаменосцев.
Так герб наизнанку — в грязь. И с ним, заскулив,
тот некто никто,
от которого ты отрёкся.

Теперь здесь тепло. Не плачут и не скорбят.
 Мы помним врага, юнцов, того дезертира.
 Мы встретили их,
 и каждого павшего,
 и себя

в одном из концов: войны или, может, Мира.

И здесь он повсюду. Но не заметит глаз,
 от света и друг от друга не отличая,
 того, кто всегда был в нас и поныне — в нас.

Тот некто-никто, который тебя прощает.

Синтаксический разбор

Глянь, как чёточками пунктира уходит взвод.
 Там нас ждёт горизонт событий, а дальше — свет.
 Знаю, чёрта со сто четыре нам повезёт.
 Только может быть, может быть, и тогда —
 привет.

В предложении — смысл каждого. Код, пароль.
 Что за звуки? Дурной сигнал ли, плохой прицел?
 Мы не знаем себя. Итог: подлежащих — ноль.
 Лишь сказуемое — банальный глагол на «л».

Так лавируем между теми, кто нам — не те.
 Каждый день совершая поиск того и той.
 Мы — пунктиры. Мы — дополнения к пустоте.
 Если встретимся, подчеркнёмся одной чертой,

подлежащее, как себя в себе разгадав.
 С тем, похожим на вид, на ощупь и на просвет.

Так бывает немногим чаще, чем никогда.
 Только может быть, может быть, и тогда —
 привет.

...Там, где танки больше не выстрелят никогда

Пятнадцатый год имеет зелёный цвет.
Кому-то с оттенком хаки, кому-то — нет.

В маленьких спальнках по ночам остаются заперты
дети с гуашью, доказывающие Альберта.

В глазах у детей — Вселенная в нужном срезе.
Там, где дуло — глагол,
стволы — у лесных деревьев.

Полторы сотни лет взрывается Бетельгейзе.
Ровно столько же мы киваем им, не поверив.

Самое время благодарить друг друга, ведь ты
и я,
как гуашь и бумага, бесполезны.

Наши дети рисуют зелёным
такие цветы,
какими потом подавятся ружей чёрные бездны.

Так пятнадцатый год оживляет нас изнутри.
На обугленном пастбище стебельком прорастает vita.

Пустоты больше нет. Вот звезда, вот её орбита
в тридцать три остывающих литеры алфавита.

Вот Москва, Вашингтон, Тбилиси, Кабул, Багдад.
Словно зная врождённую заповедь «будь готов»,

наши дети разучивают
названия городов.

Анастасия Винокурова
(Германия, Нюрнберг)

Арт-и-Шок

Persona

В день, когда я потеряла голос, Штраус уснул в оркестровой яме.
Нет, не заметил седой маэстро тайной опасности верхних нот.
Пару секунд я ещё боролась — но поселился в гортани камень.
И с этих пор лишь скупые жесты стали паролем для той, что ждёт.

Тело впускало в себя Электру, тело отчаянно трепыхалось.
Под незнакомой, чужой личиной быстро менялись мои черты.
Тростью стучал полоумный лектор — то ли Мегрэ, то ли доктор Хаус —
но не сумел отыскать причины этой загадочной немоты.

В день, когда я потеряла голос, горько за ширмой смеялся Бергман:
золотом пауз всегда гордятся — но для меня это кара впрёдь.
Небо вздохнуло и раскололось, острые камни укрыли берег
строками пафосных диссертаций — как эту дуру заставить петь.

Тело, впустив в себя Саломею, кружится, жадные взгляды дразнит:
всё, что захочешь, — конечно, будет! Это ли, милый, не рай земной?
Всё перепутаю, всё сумею — но принеси мне в награду, князь мой,
голову бога на медном блюде — в знак примирения с тишиной.

В день, когда я потеряла голос, воздух был полон мечтой и ядом,
а в волосах расцветали маки — так начинается колдовство.
Зевс выходил из прилива голым и выносил на руках наяду —
ту, чьё лицо в предраассветном мраке неотлично от моего...

В мастерской художника

Не то чтобы передумала, просто предупредить:
меня — очень сложно. Все ваши всегда ругаются.
Попробуй-ка зафиксировать эту нервную прыть,
горячую ртуть, убегающую сквозь пальцы.

Я всё же не понимаю — какая тебе нужда
в борьбе с безнадежным? Право, лихорадочный бег по кругу.
Но трезвые доводы застревают в груди, когда
берёшься за кисть с решительностью хирурга.

Хранима завесой лжи, замираю: с тобой — нельзя.
Для игр и загадок ты уже слишком близко.
И я разрываюсь между желаньем закрыть глаза —
и распахнуть их с отчаяньем василиска;

желаньем включить на максимум сирены и семафоры,
из тайного альтруизма заставить тебя удрать —
и тихо шептать: «Пожалуйста! Подари мне форму,
преврати меня в линии — да хоть в чёрный квадрат!..»

Ведь ты же во всём находишь странную красоту,
тебя не пугают поглотившие веру тени.
Я просто молчу. Я чувствую: мне подойти к холсту
страшнее, чем к зеркалу в собственный день рождения.

Чудно ли — и самые близкие не иначе как свысока
к потерянной, глупой, прописанной в неликвиде...
Но над полотном стремительно летает твоя рука —
и, кажется, ты меня видишь.
Действительно видишь.

Мосты

Кто-то предан работе своей мечты,
А кому-то в любви везёт.
Если спросишь: «А чем отличилась ты?» —
Я скажу: я умею сжигать мосты.
Это, впрочем, всё.

Не жалеть, не скулить, не смотреть назад,
Уповая на крепкий тыл.
Я скорее художник, чем герострат:
Посмотри, как красиво они горят!
Даже мир застыл.

Лишь ехидные тени дрожат в углу,
Укрываясь от света звёзд.
Если спросишь: «А что у тебя в тылу?» —
Я без лишних слов отнесу золу
На последний мост.

Сергей Смирнов
(Россия, Кингисепп)

Время горения спички

Отцовский мемуар

Отец мой пишет мемуар
не про монголов и татар,
а всё про русских да ижоров,
про довоенное село,
и как теченьем унесло
предмет вчерашних разговоров.

О разрушительной войне,
что для души страшна вдвойне,
о том, что дед на фронте сгинул,
о многочисленной родне
и о растоптанной стране,
что прорастала сквозь руины.

Отец мой пишет мемуар
о том, что видел, где бывал,
со ссылкой на года и даты,
о том, как лез на сеновал,
о том, как горе горевал
по лагерям да интернатам.

О том, как падает листва,
о том, как ловится плотва,
о том, как снег на солнце тает,
о том, о сём и обо всём,
что только памятью спасём,
отец мой пишет. Я — читаю.

45 секунд

Покуда ты молод, и хвост трубой,
покуда тебе не знакома жалость,
сыграем с тобою в «подъём-отбой»,
сыграем с тобою в «упал-отжался».

Ты встроен в устав, словно кость — в сустав,
и даже в уборную ходишь строем,
пополнив собой рядовой состав,
печатаешь шаг и глядишь героем.

Политики пудрят тебе мозги,
взывают о доблести командиры,
и жгут твои пятки сквозь сапоги
«горячие точки» на карте мира.

Палит тебя солнце, дожди секут...
Снаряды иссякли на батарее...
А спичка горит 45 секунд —
солдат погибает порой быстрее.

На сером волке

Иван-царевич, как ветер, скачет сквозь лес дремучий
по пень-корягам, по топь-болотам на сером волке.
Несутся мимо шальные звёзды, больные тучи.
Он смотрит в оба, он стиснул зубы, вцепился в холку.

Иван-царевич везёт в подарок своей зазнобе
корзину яблок, горячий камень, перо жар-птицы,
как ветер, скачет, и стиснул зубы, и смотрит в оба,
на сером волке сквозь лес дремучий, как ветер, мчится.

Он скачет сутки, и месяц скачет, и век проходит,
летит по тучам, летит по звёздам, летит по небу,
и свет струится по серой шерсти, по волчьей морде —
волк пышет жаром, и дышит злобно, и полон гнева.

Клыками клацнет — и нет поляка, и нет француза,
хлестнёт хвостиком — прочь измышленья и кривотолки.
Родная ноша его не тянет, легка обуза.
Летит по небу Иван-царевич на сером волке.

Людмила Калягина
(Россия, Москва)

Оглянись

Карандашное

Здесь на часах всегда «потом» и у посуды лёгкий крен.
Мой первый внук рисует дом и море у смолёных стен.
Как хорошо, что есть у нас запас цветных карандашей!
В его мирке всегда «сейчас» — простая мудрость малышей...

Невесткин очерк пухлых губ, от сына — тёмно-чайный взгляд.
Мой мальчик ласков и неглуп, и в чём-то, кажется, талант:
Он помнит зыбкий облик сна и создаёт его портрет,
Он дарит морю имена и ветру говорит «привет»,
Он полагает цвет живым, он знает лучше и полней,
Как много алой синевы в зелёной пенистой волне...

Важнейших дел числом под сто у неуёмного внука:
Возиться с кошкой и котом, кормить корову и бычка,
Смеясь, ловить дрожащий луч на гладко струганом бревне,
За отраженьем пухлых туч следить в неверной глубине.

Пока плывёт надёжный дом с чудным названием «ковчег»,
Я с внуком говорю о том, как шли дожди, как падал снег,
Как чёрно-белая зима писала мелом на стекле,
Как люди строили дома на твёрдой ласковой земле,
Как зрели яблоки в садах, как цвёл каштан, как вился дым,
Как в ручейках текла вода с дрожащей искоркой звезды.

Я расскажу, чтоб ты узнал, наследник сгинувших веков,
Что мир теперь, смолён и мал, плывёт беспечно и легко
В румяно-яблочный рассвет, упруго слушаясь руля...

...что прежней жизни больше нет.
Нам рисовать её с нуля.

Взгляни прошедшему в глаза...

Взгляни прошедшему в глаза
 В тумане старой амальгамы,
 Запутай буквы анаграммы,
 Переведи часы назад,
 Открой забытую тетрадь
 С косыми строчками конспекта
 И поверни упрямый вектор
 Хотя бы градусов на пять...
 Перелистай восторг и страх,
 Перепиши узорной вязью,
 Перерисуй рукой пристрастной
 Мои рисунки на полях,
 Переверни калейдоскоп,
 Чтоб, как вначале, стало — слово.
 Ты помнишь? рьяно, бестолково
 Его искали среди чужого —
 Путей, созвездий, тайн и троп...
 Перемолчи в терпенье крик,
 Услышь в неслышимом ответе
 Сюжеты непрочтённых книг,
 Где, позабыв про всё на свете,
 Листает любопытный ветер
 Мой ненаписанный дневник.

Опять не так...

Опять не так?! в который это раз?
 Не вспомнить, сколько яблок и потопов,
 Апостолов, поэтов, остолопов,
 Разорванных страниц, влюблённых глаз,
 Охапок недосохшего белья,
 Остывших, недопитых чашек чая,
 Забвения прекрасного начала,
 Тоски осиротевшего жилья,
 Книжности затасканного слога,
 Недвижности застывших облаков...
 Опять не так. Всё горько и легко —
 Как вздох разочарованного Бога.

Лариса Подистова
(Россия, Новосибирск)

Три стихотворения

* * *

В наших просторах такие долгие зимы...
Ели в убранстве белом неотразимы.
Море смирилось, встало, молчит и дремлет,
И до апреля не бьётся волной о землю.
Всё, что терзало, ломало, рвало, бесило, —
Вдруг улеглось: экономим тепло и силы,
Лишь на ресницах блестят ледяные стразы.
Время холодное всех укротило разом.
Так мы устроены: если нас греть и нежить,
В душах расслабленных селится густо нежить.
Только холодными вихрями дунет север —
Распри забудем и делимся всем со всеми,
Как испокон заповедано нам по роду...
Что же, зима, приходи очищать породу!
Пусть в нас недавней горячности больше нету —
Снежные души чисты и открыты свету.

* * *

Вечерний час, жара идёт на спад.
Зудит комар, не позволяя спать.
Соседский дуб в безветренной тиши
Едва приметно листьями шуршит.
Пусть вязкий зной не развести рукой,
Но дачный дом заточен под покой —
Такой вневременной и вечный кров,
Где тишина, сгущающая кровь,
Где все движения наперечёт
И век медово-медленно течёт.
Здесь весел круг умильных пёсжих морд.
Здесь можно переждать войну и мор,
Быть может, даже год прожить семьёй,
Когда погаснет солнце над землёй.

Дом выглядит надёжным, как гранит.
Он отделён от мира и хранит
От всяких бед, страстей и суеты:
Им не пройти — разведены мосты
Не на часы, не на ночь, а навек.
Дом, как застрявший на мели ковчег,
В густом потоке времени лежит,
Пережидая собственную жизнь.

* * *

Не совершенства я жажду — живого и ясного.
Пусть безнадежного или смертельно опасного -
Яркого, звонкого, чистого, неистребимого,
В бездну глядящегося высотой ястребиною.

Не безупречности — форма застывшая плавится,
А простоты, пусть не каждому это понравится.
Не попугаев с павлинами — древнего ящера:
Взлёта, бесстрашного взмаха крыла настоящего.

Пусть от него, как от бури, волнение на море!
Слишком увесисты статуи в бронзе и мраморе,
Слишком ритмичны колонны старинного Форума...
Что наша жизнь — как не пламя за мёртвыми формами?

Елена Уварова
(Казахстан, Алматы)

Подслушанная жизнь

Дорога уходила в облака

Дорога уходила в облака,
Плывущие унылой вереницей.
Сменялись васильковые луга
Полями непричесанной пшеницы.
В полуденное небо напрямик,
Цепляясь за колдобины и кочки,
Катился запылённый грузовик,
Разламывая глиняную почву.
В кабине было душно, лился зной
Сквозь окна на уставшего шофёра.
Он смахивал испарину рукой,
Курил. От папиросы «Беломора»
Закашливался, слушал, как дрожит
Дыхание чахоточной трёхтонки.
Смотрел, как суетливые стрижи
Очерчивают солнечную кромку.
И думалось в дорожной тишине,
В которой было маечно и тесно
О маленьком Егорке, о жене,
Пропавших в сорок третьем под Смоленском.
Молилось вдруг: «Не нужно ничего —
Увидеть бы разочек их живыми».
И пахло застарелым табаком,
Арбузами, цветами, зерновыми.
Летели вдаль проворные стрижи,
Ползла по кочкам грузная машина.
Вздыхалось. И крутилась лентой жизнь.
Кромсали лоб глубокие морщины,
А память билась жилкой у виска.

...Поля сменяли тихие станицы,
Дорога уходила в облака,
Плывущие по небу вереницей.

Среди булавок

На дачном чердаке в большой коробке,
Замотанной надежно паутиной,
Пылятся много лет воспоминанья:
Две пуговицы, детские тетрадки,
Булавки, пожелтевшие открытки,
С погнутыми краями фотоснимок,
Запечатлевший мир провинциальный:
Размытая дорога возле рынка,

Под лавкой спит бездомная дворняга,
Вдали блестит на солнце купол храма,
Похожий на буденовку солдата.
А в центре, в белом платье и косынке
Девчонка улыбается кому-то,
В худых руках садовые ромашки,
У ног лукошко, полное малины.

Девчонка эта — бабушка Тамара,
Прошедшая войну, Сырецкий лагерь.
Ей предстоят страдания Марии:
Присутствовать на страшной казни сына.
Но это будет позже, а на фото
Глаза девчонки светятся от счастья.
И пуговицы светятся огнями.

...Их срежет бережливая Тамара,
Как будто перезревшие маслины,
И пронесет с собой, и сохранит их
В коробке жестяной среди булавок.

Пылинки

Рассвет спускался пересвистом птиц,
Стремглав бежал по заспанному миру,
Врываясь в коммунальную квартиру,
Будил протяжным скрипом половиц,
Возней над перепачканной плитой,
Вместившей тонны кухонной посуды,
Которая впитала пересуды
Многосемейной жизни городской.

Я ждал, когда умолкнут голоса,
Жильцы уйдут куда-нибудь на время,
Квартира скинет тягостное бремя,
И будет слышно, как жужжит оса,
Попавшая за раму, под стекло.

Я поднимался, шел по коридору,
Сметая паутинные узоры,
И замирал, увидев, как легко
Из скважины замочной льется свет
На старый пол, немые ботинки,
И бабочками кружатся пылинки,
Качаются и шепчут мне: «Привет».

Дмитрий Курилов
(Россия, Москва)

Ангел пожилой

* * *

Из чёрных окон опустевших дач
на нас глядит глухая неизвестность.
Здесь слышен далеко собачий плач,
и в незнакомце чудится палач,
террори-зи-рующий эту местность.

Здесь гулко отзываются шаги,
впрессовывая правду одиночеств,
обутую в чужие сапоги,
размашистым движением ноги
в суровый быт преданий и пророчеств.

Здесь музыка... — и музыка глуха
к природе человеческого уха.
Труба, как плагиатор петуха,
храпит в свои скрипучие меха,
а замолчит — почин поддержит муха.

Здесь многое не то, не там, не так,
и хочется взорвать и переставить,
а результат — всё тот же кавардак
из рыхлых спин и страховых бумаг,
и невозможно ничего исправить.

Из грязи заскорузлую рукой
рождённый ползать призван здесь на царство.
Мудрец вооружается киркой
и долбит ствол родного государства,
и детский смех сменяет вдовый вой —
кому за здоровье, кому за упокой.

Словесники здесь тонут в словесах,
а путаник, запутавшись, обрящет
иную правду — но на небесах,
остановив движенье на часах
и бросив тело в долгий ящик.

* * *

Порхают птички в небе чистом
И опадают на траву.
Я проживу капиталистом
И коммунистом проживу.

Моргают рыбки в речке грязной,
у них мечта — про чистый пруд.
А вот умру я безобразно,
И в ящичек меня запрут...

Ангел пожилой

А мне достался ангел пожилой.
А мне достался ангел обветшалый.
В окно моё вечернею порой
Стучится он, как путник запоздалый —
И я, признаться, сам уже привык
Смотреть в часы закатного бессилья,
Как пьёт свой чай седеющий старик,
Сложив в углу потрёпанные крылья.

Мы вместе смотрим выпуск новостей.
Мы чувствуем, как осень наступает.
Наш зыбкий мир ребяческих страстей
В глазах его небесных утопает.
Возможно, он устал на нас смотреть.
На солнце его крылья обгорают.
Возможно, он хотел бы умереть,
Но ангелы, увы, не умирают.

И терпит всё мой ангел пожилой,
Порхая надо мною светлой тенью.
Шуршат столетья за его спиной,
Завидуя его долготерпенью.
Быть лёгким — нелегко в наш грузный век —
Шутя овладевая высотой...
И дьявола змеиный интеллект
Теряется пред нашей простотою...

ОТРАЖЕНИЯ



Екатерина Белавина
(Россия, Москва)

Поэт, переводчик, филолог, к.ф.н. С 2000 г. преподавала на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, в настоящее время преподает в Эколь Нормаль Сюперьёр (Париж). Специалист по сравнительному литературоведению и современной французской поэзии.

Флориан Вутев
(Франция)

Родился в Болгарии, в прошлом артист балета (в Варне, в Лейпциге), с юности увлекался поэтическими переводами и окончательно посвятил себя этому, обосновавшись во Франции, после окончания балетной карьеры, больше двадцати лет назад. Автор перевода на французский язык «Евгения Онегина» Пушкина, опубликованного в 2012 году парижским издательством Ля Брюйер.

Переводы на французский стихов Екатерины Белавиной

Рождение перевода

Убийство собственного «Я»,
Короткий обморок в «другого»,
Слова иного жаждут слова,
Переливаясь за края
Иноязычья бытия.
И против них нельзя бороться,
Ты пишешь сгустками эмоций.
Их музыка уже твоя.

La naissance d'une traduction

Supplice de son propre «Moi»,
Dans «l'autrui» pâmoison brève,
D'un autre mot tous les mots rêvent,
Ils se déversent et flamboient
Dans l'autre langue et ses émois.
Avec eux, ne sois pas aux prises,
L'ardeur de ton sang les attise.
Leur musique est déjà à toi.

Мой город — розовый. Безе, миндаль
Твоих церквей — на тоненьком подносе.
К полудню слёзки мёда или льда
Почти видны становятся сквозь осень.

Умей смотреть, как старится янтарь,
Янтарь сердечек, дрогнувших на липах.
Ты с тихим звоном открываешь ларь
Чужих скорбей, исповедальных всхлипов.

Тогда смешаешь жёлтый с золотым
И вынесешь подсвечники на берег
Над Чистопрудным, светлым и пустым...
На то Москва ты, чтоб слезам не верить.

Ma ville est rose. Meringues, dragées
Sur un plateau fin — ce sont ses églises.
Les gouttes d'eau ou de miel figées
Sont en automne nettement plus exquises.

Regarde, observe l'ambre vieillir
Sur les feuilles-coeurs des tilleuls qui frémissent.
Tu ouvres un coffret d'où vont jaillir
Chagrins d'autrui, confessions qui gémissent.

Là, tu mélanges or et jaune-éclair
Et tes bougeoirs vont raviver les charmes
Des rives du Boulevard des étangs clairs...
Moscou c'est ça: elle ne croit pas aux larmes.

Кленовых листьев совершенства
В траве ищу.
Я даже затхлость декадентства
Тебе прощу,
Родная осень! Беспечально
К тебе иду.
Ты манишь золотом сусальным,
Своим колечком обручальным,
Как в том году.

Dans l'herbe, les feuilles des érables
M'ont fascinée.
Même ta décadence immuable
J'ai pardonnée,
Mon cher automne ! Tu rassures...
Tu me séduis par tes dorures,
L'anneau nuptial, sa lueur pure,
Comme autrefois.

Одному поэту

Не делишься ни прошлым, ни мечтами.
 Мы друг у друга на задворках судеб.
 Зачем ты хочешь, чтоб тебя читали
 Чужие непонятливые люди?

Мне разгадать бы, что ты в этом видишь,
 И кем ты был тому назад лет восемь.
 Зелёные усадьбы, древний Китеж
 И лето, устремившееся в осень...

Épître à un poète

Tu gardes pour toi ton passé, tes rêves.
 Nos mondes, l'un pour l'autre, restent occultes.
 Mais pourquoi veux-tu être lu sans trêve
 Par des gens inconnus, souvent incultes ?

Qu'en penses-tu et comment connaîtrai-je
 D'il y a huit ans ta propre personne?
 Jardins verdoyants, vieux Kitège
 Été, pressé de devenir automne...

Деревья паутинно-буры,
 Как продолжение земли,
 Но раздвигая воздух хмурый,
 Лазурь для неба предрекли.

И эту голь окутал мягко
 Непроходимый дым ветвей.
 Твои заметки на полях — как
 Крестики моих церквей.

Как наши строчки уцелели?
 Мы их совсем не берегли...
 Ах, неужели, неужели
 Мы всё же к истине пришли?

Les arbres sombres se dessinent,
 Fuyant la terre, monde obscur,
 Mais, brisant l'air et sa routine,
 Au ciel ils ont promis l'azur.

La fumée dense des branchages
 Habille ces gueux tendrement.
 Dans tes remarques sur les pages,
 Je vois des croix et de l'encens.

Nos strophes sont indestructibles!
 Nous les avons tant tourmentées...
 Mais est-ce possible, est-ce possible!
 Nous possédons la vérité!



Марина Милинкович
(Франция)

Так похоже на Россию... (Фоторепортаж Марины Милинкович)

Я родился в Новочеркасске — столице Донского казачества. Моё детство прошло в военном городке в глухих подмосковных лесах. Несмотря на это, я окончила заочное отделение исторического факультета московского пединститута и 8 лет проработала учителем в подмосковной школе.

В трудные голодные 90-е годы по настоянию мамы пришлось перейти на другое место работы — на предприятие бортипитания в Шереметьево-2 на должность супервайзера. Там я встретила своего будущего мужа, серба, авиамеханика сербской авиакомпании «Юат». В связи с окончанием контракта в этой авиакомпании, муж перешёл в американскую «FedEx». Во время бомбардировок Сербии он оставил свою работу в Москве и полетел в Сербию защищать свою страну, родителей, родственников, свой дом. Слава Богу, бомбёжки не переросли в наземную операцию, и ему не пришлось участвовать в военном конфликте. Через два месяца, после того, как агрессия про-

тив Сербии была завершена и границы были открыты, он вернулся в Москву. В следующем году муж получил приглашение перебраться на работу во Францию. Так я стала простой подпарижской домохозяйкой. С удовольствием и интересом и по сей день даю уроки русского языка молодым любознательным французам.

В год начала бомбёжек Сербии НАТОвской авиацией мы жили в Москве. Дети были совсем маленькие — 2 и 4 года.

Муж-серб несколько дней лежал в кровати, уткнувшись лицом в подушку, а потом сказал: «Я не могу здесь больше оставаться, когда они бомбят мою страну. У меня там мама, друзья, коллеги. Я вернусь».

И уехал.

На два долгих месяца.

Мы жили утренними новостями и телефонными звонками: «Где сегодня бомбили? Как прошла ночь? Что? Как?»

А сербы жили ожиданием наземной операции.

Она тогда не наступила. И вот прошло так много лет, а мне до сих пор не стыдно за мужа.

Не стыдно перед детьми.

21 ноября в моей семье праздник — слава св. Архангела Михаила.

По предложению ЮНЕСКО сербскую традицию праздновать славу в честь того или иного духовного покровителя семьи/рода, передаваемую веками от отца к сыну, было решено признать уникальным культурным наследием этой страны.

Традиция праздновать славу возникла много веков назад, когда сербы принимали христианство. У сербов нет личных именин. Слава — это именины семьи, рода.

Слава передается из поколения в поколение и никогда не забывается. Даже во времена коммунистов все помнили, кто является святым покровителем рода, хотя отмечали этот день тайно, а кто-то и вовсе забыл эту традицию. Но даже мусульмане-сербы живут сейчас и знают, что их пра-пра-пра-дедушка прославлял когда-то такого-то святого.

Изначально род славил своего святого покровителя в тот день, когда были крещены предки этого рода. На какой день крестился род — такой и празднуют все века. По мужской линии. А по женской два — своей семьи и семьи мужа. День Ангела мало у кого из сербов есть, а Слава — у всех.

В сербских храмах свечи за здравие и за упокой ставят рядом. Что странно для меня — записок не пишут. Никаких.



По обычаю утром надо сделать «колач», по-сербски, или пирог, каравай, затем идут в церковь, там освящают и его, и вино, и масло. Или приглашают в дом священника.

Потом приходят гости. Сейчас, бывает, празднуют нетрадиционно — просто зовут гостей в кафе. Однако никто не забывает родовую славу.

Каждый год в этот день мой свёкр-атеист по имени Спасое (Спаситель), личным девизом которого было «Сам Спасое Себя Спасёт», зажигал в доме большую свечу и принимал гостей. Такова была сила традиции! Потом он умер, и эта обязанность перешла к его сыну, моему мужу. Слава Богу, с ним у нас нет разногласий по вопросу вероисповедания, поэтому каждый год 21 ноября мы всей семьёй едем в Париж, в сербскую церковь на рю Симплон на Литургию.

А потом пообедаем в маленьком парижском ресторанчике, вернёмся домой, муж «запАлит вЭлику свЭчу», которая будет гореть до полуночи, и день закончится в тихой домашней обстановке. И так уже много лет... Небесных воинств Архистратизи,/ молим вас при-сно мы, недостойнии,/ да вашими молитвами оградите нас/ кровом крил невещественныя вашей славы,/ сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиующия:/ от бед избавите ны,// яко чиновачальницы Вышних сил. (Топарь. глас 4).





27 марта 2016 года исполнилось 105 лет соседке моей свекрови, госпоже Тамаре (Круглов-Крутиков).

Растворил я окно — стало грустно невмочь —
 Опустился пред ним на колени,
 И в лицо мне пахнула весенняя ночь
 Благовонным дыханьем сирени.

А вдали где-то чудно так пел соловей,
 Я внимал ему с грустью глубокой
 И с тоскою о родине вспомнил своей,
 Об отчизне я вспомнил далекой,

Где родной соловей песнь родную поёт
 И, не зная земных огорчений,
 Заливается целую ночь напролёт
 Над душистою веткой сирени.

Эти стихи Великого князя Константина читала нам госпожа Тамара во время нашего визита.

отражения. Марина Милинкович



И не только эти, ещё несколько стихотворений — тихим надломленным голосом.

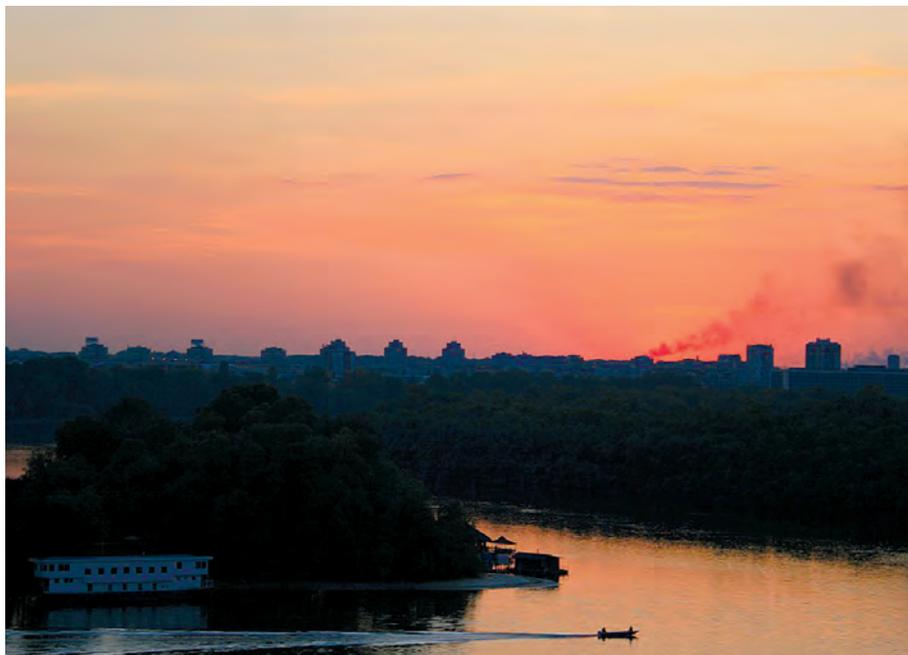
— Мой отец был полковником царской армии. И у нас был большой дом под Днепропетровском. Когда случилась революция, он отправил маму с нами, детьми, в Турцию.

Мама уже хотела ехать в Лондон, когда узнала, что сербский король прислал за русскими эмигрантами два теплохода.

Она сделала свой выбор в пользу православной монархии — Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС). Так мы оказались в Белграде.

Среди десятков тысяч русских эмигрантов в Белграде были профессора, учёные, артисты, архитекторы, учителя. Они оказали большое влияние на культуру Югославии в то время. В Белграде они проектировали здания с прекрасной архитектурой. Среди русских эмигрантов был и белогвардейский генерал П.Н.Врангель, умерший в Брюсселе, но желавший быть похороненным в Белграде. В 1924 году здесь была построена русская церковь Святой Троицы.

— Мне кажется, что две самых больших волны русской эмиграции были направлены в Париж и Белград. Но в Париже эмигранты-генералы становились таксистами, их жёны — гувернантками, а для нас в городке Бела Црквь была специально построена гимназия, которую я окончила, сюда из России переехали Кадетский корпус и другие учебные заведения.





отражения. Марина Милинкович



отражения. Марина Милинковић



отражения. Марина Милинкович



— Я работала учителем истории и словесности. Преподавала историю культуры, была руководителем хора. Во времена Тито меня наградили Орденом Труда с серебряным венком, хотя я всегда была далека от политики. Мой муж ругал меня за то, что приняла награду, ведь двое его братьев были убиты сталинским режимом. Но, что поделаешь, такие были времена.

— У меня три дочери. Они живут в Москве, Белграде и Стокгольме.

— На мой столетний юбилей приехало двадцать родственников. Среди них были пять внуков и пять правнуков. Дети подруг прислали поздравления из Америки, Канады, Австралии и России. Было и сербское телевидение.

— Как хорошо, что вы пришли! Я люблю говорить по-русски. Нас учили любить Россию ЛЮБОЙ, такой, какая она есть.

(и читает, читает стихи...)

— Госпожа Тамара! А как вы ощущаете свой возраст?

— Я его руками ощущаю, ногами. А вот головой — нет. Внук говорит: «Ну вот, сто лет прошло, и можно новую жизнь начинать — снова отсчёт от первого года...» (Смеётся).

P.S. Она попросила моих детей почитать стихи. Любые: по-русски или по-французски. Они сходу не вспомнили НИ ОДНОГО!

отражения. Марина Милинкович



И КОНЕЧНО —
ФАНТАСТИКА!



Александр Сальников
(Россия, Ухта)

Сальников Александр Викторович родился в Ухте. Кандидат технических наук, доцент кафедры проектирования и эксплуатации магистральных газонефтепроводов Ухтинского государственного технического университета. Победитель конкурса фантастического рассказа «Русский Эквадор» и «Минипроза-16». Сотрудничает как автор с журналами «Реальность Фантастики», «Знание — сила», «Траектория Творчества», альманахом Бориса Стругацкого «Полдень XXI век». По произведениям поставлено пять радиопьес..

Небесный конструктор

Шум прибора сменили первые аккорды песни. Мартин завалился на песок. Силуэт Руди на фоне набегающих волн казался воплощением умиротворенности. Потянулись вверх финальные титры. Звякнув об экран телевизора бутылкой, я выпил за тех, кто смог достучаться до небес.

Текила ненадолго перебила горечь обиды. Я уже видел море, но к тридцати годам слишком многого не успел сделать. Слишком. А чемодана с деньгами не предвиделось. Зато на столе лежала бумажка, объясняющая боли, мучившие меня последние два месяца. Опухоль. Неоперабельная. И чёрт меня дёрнул пойти за результатами томографии именно сегодня! Сделал себе подарок на юбилей...

В правом виске снова начало покалывать. Я покосился на часы — что-то рановато. Наверное, алкоголь смазал действие лекарства. Потерпеть? Нет, только не в день рождения. Да и печень щадить уже глупо. «Поздно, доктор, пить боржоми», — я ухмыльнулся и встал с дивана.

Если быть точнее — попытался встать.

Боль раскаленным гвоздём пронзила голову. Тело перестало подчиняться. Я задохнулся от страха.

Гвоздь превратился в сверло, вращающийся барабан, усеянный шипами.

Месиво мыслей.

«Больно! Господи, за что? Нет! Почему я? Почему же так больно! Таблетки! Так! Больно! Дотянуться! За что мне это? Вот же они! На тумбочке! Так рядом! Так больно! Господи! Нет!»

И боль кончилась. Внезапно. Будто отключили ток. Перерубили кабель электрического стула.

Слёзы текли по щекам:

— Спасибо, Господи... Спасибо...

— Спасибо... Спасибо... Ибо... — повторило эхо в голове, ставшей вдруг пустой. И добавило: — Не за что, сын мой!

Сердце пробило диафрагму и, миновав желудок, затрепетало, увязнув между жгутов кишечника.

— Господи?

— Бога нет, Андрюша, уж ты-то должен знать, — ехидно отозвались под черепной коробкой. — Кстати, на пару вопросов я смогу ответить. Например, почему именно ты. Или почему так больно. — Между висков выдержали театральную паузу. — Ты сам в этом виноват. Я и так делал всё, что мог: помогал разобраться в химии, биологии, убирал раздражителей, вроде той, с родинкой. Как там её, Маша?

— Наташа, — машинально ответил я.

— Наташа, — согласился голос. — А ты хоть примерно представляешь, чего мне стоило твоё просветление на вступительных экзаменах в медакадемию? Мы же были тогда на волосок от смерти! А если бы я по дороге домой не взял управление на себя? Не перепрыгнул бы автомобиль? — В уши ударил застарелый визг тормозных колодок, в нос плеснуло запахом палёной резины. — Что, думаешь, состояние шока? Пьяный водитель? Чёрта с два! Убить они нас хотели, Андрей, убить! Знали, что я без боя не сдамся! Сволочи... — Зло сплюнул голос и умолк. — Понимали, что стань ты нейрохирургом — жизнь у нас будет долгая и счастливая. Но нет — ты возомнил себя Айболитом! Ушёл с третьего курса! Открыл своё призвание: собачек-кошечек от глистов лечить.

— Ну почему, — попытался возразить я, вспомнив о больном паразитами лемуре, томящемся в клетке на окраине города. Между холодильником с лекарствами и рукомойником — Не только! Вот сейчас я как раз работаю с одним экзотическим животным...

— Вот сейчас я как раз работаю, — передразнили меня. — Червей на клещей! Удачно сменил, что ни говори! Так что нечего тут сопли разводить — сам виноват!

Если бы я мог, рассмеялся бы: парализованный сумасшедший. Раздвоение личности. Хотя, нет худа без добра — будет с кем скоротать остаток жизни.

— Смешно тебе? Ну-ну, — в голосе собеседника мне померещились угрожающие интонации.

Правая рука потянулась за бутылкой. Поднесла горлышко к губам и наполнила рот текилой. Кадык дернулся, протолкнув алкоголь в организм. В голове довольно крякнули:

— Хорошо... А теперь давай-ка за сигаретой сходим.

— Но ведь... — возразил я, когда уже стоял в коридоре и шарил в карманах пальто.

— Зато я курю, — огрызнулся голос, усаживая меня обратно на диван. Всё ещё не веря в реальность происходящего, я наблюдал, как правая рука стряхивает пепел мне на штаны. — Разорался тут: «Почему я? Почему я?» Потому что нет у нас смертного приговора! Но в каждом законе можно найти лазейку. А уж Кло на лазейки мастерица, этого у нее не отнять, — зло процедил голос.

Рука затушила сигарету о колено.

Боли я не почувствовал, но радости от этого не испытал:

— Кто вы?

— Я? Ну, скажем... Рома. Да, для друзей — Рома. Кстати, чего это Андрей Васильевич вдруг на «вы» перешёл? После двадцати-то лет совместной жизни? Или ты, Андрюша, в глобальном смысле интересуешься? — с издевкой спросил голос и, не дожидаясь ответа, заявил: — я — мозг! Мозг с большой буквы, а не полтора кило того серого вещества, которое вы, люди, носите в голове.

— Вы... Ты — инопланетянин? Паразит? Ты захватил мой разум?

— Ну, началось! — расхохотался Роман. — Сколько пафоса, сколько напыщенного идиотизма! Кино любим смотреть? «Инопланетные захватчики поработили Землю!» Это ещё вопрос, кто тут кого захватил, — Роман взял на два тона выше. — Я — пленник, Андрей! Заключённый, осуждённый, зэк! Вот только тюрьма мне досталась неважная... Это всё Кло, старая стерва! Уж сколько веков прошло, а простить мне не может тот проигрыш у Актя, — хмыкнул Роман.

Откуда-то из школьного курса истории всплыли на лазурные волны остроносые квинквиремы.

Предрасветное небо Африки раскрасил греческий огонь. Пожог паруса, зашипел, канув в море. Закричали под плётками гребцы, хрустнули впившиеся во вражеские борта абордажные «вороны». Челюсти свело от странной мысли: «Смерть Антонию!»

Я попытался осмотреться, но видение исчезло. В голове переключили канал, и спины, блестящие бронзой кирас, сменились на старые обои.

Роман вздохнул и процедил:

— И ведь главное — формальности соблюдены, не придерёшься. А как она после суда заливалась соловьём! «Молодое, здоровое тело...»

— Молодое, здоровое тело, — повторила белокурая девочка лет пяти и сложила руки на груди. Пышное розовое платье и такие же банты, вплетенные в косички, казались неуместными среди белого кафеля опе-

рационной. — Проведённые анализы подтверждают возможность пребывания подсудимого в данном организме на протяжении всего срока заключения. Я, как председатель комиссии по выбору носителей, настоятельно рекомендую Андрея Гурьева, — поджала губки малышка и обвела взглядом присутствующих.

Я повернул голову, насколько позволяли ремни, и с сомнением посмотрел на соседний стол. Лежащий на нём щуплый мальчишка будущим атлетом не казался.

Мне вдруг очень захотелось стать сумасшедшим. Тихопомешанным. Пускать слюни и собирать мозаику под руководством бдительных санитаров.

Этот мальчишка был мной.

— Все мы знаем, Кло, о твоей личной неприязни к осуждённому, — прокашлял старый монголоид из инвалидного кресла. Женщина у окна и человек в марлевой повязке и синем балахоне дружно закивали. — Поэтому будет справедливо, если суд разрешит Роману временно, — узкоглазый посмотрел на меня и подчеркнул, — временно и только в экстремальной ситуации, брать управление организмом носителя на себя.

— В таком случае, судья Чин, я прошу сформулировать определение вашей «экстремальной ситуации», — холодно произнесла девочка и щелкнула зажигалкой, прикуривая длинную сигарету.

— Резонное замечание, — улыбнулся старик. — В ситуации, когда носителю будет угрожать насильственная смерть. И брось эту гадость, Кло, курение тебе не идёт.

Девочка скривила губки, картинно отставила руку и разжала пальцы. Чиркнула сандаликом по полу. На кафеле осталась черная линия.

— Если возражений нет, можете приступать, — бросил старик человеку в маске. Зажужжал моторчик, и коляска покатила к двери.

Прежде чем выйти из операционной, девочка подошла к столу и, встав на цыпочки, впилась в мои губы недетским поцелуем. Провела по лицу кончиками выкрашенных алым ногтей и прошептала на ухо:

— Я выбрала тебе отличную камеру, милый, — слова шипели, как змеи перед броском. — Ты сдохнешь в ней, Рамсес.

— Не скучай без меня, дорогая, — в унисон откликнулся голос Романа. — Я пришлю тебе парочку змей Мохава в подарок. Сможешь опять приложить их к груди, — съязвил он и добавил: — когда вырастет.

От звонкой оплеухи под веками вспыхнули искорки. Ладонка у Кло оказалась тяжёлой.

— Что это было? — выдохнул я.

— Прости, воспоминания нахлынули, — пробормотал Роман. — Дал, так сказать, волю эмоциям. От этого, наверное, — рука помахала пустой бутылкой у меня перед носом. — Не было у тебя в десять лет менингита, Андрей. Это приговор мой в исполнение приводили в той клинике... Полвека. Ведь какая малость по сравнению с вечностью — отсидел бы и не заметил.

— Так ты что же, тот самый? Египетский фараон?

— Твоя непроходимая тупость меня убивает! Ну при чем тут египтяне? То, что их мумии без мозгов находят — это следствие, а не причина. Вот ты мне скажи, — от интонации Романа дохнуло иронией, — ну, как бывший будущий нейрохирург. Ты никогда не задумывался, почему единственной не изученной частью человеческого тела до сих пор остается мозг?

— Как это — не изученной? — я попытался возмутиться.

— Так это, — оборвал меня Роман. — Вы ж даже не знаете, чем он занимается, когда вы спите. Зато если новый вирус косит города, то тут же учёный из какого-нибудь Дальнепупска выдаёт на-гора очередную папачею. Не странно? — Роман снизошёл до проникновенного шёпота. — Просто человек — самая надёжная оболочка для нас. И занятная. Хотя в охоте на бронтозавров тоже были свои прелести, но... Да чего уж теперь. Сколько нам с тобой осталось? Год, месяц? Чего молчишь?

— Я не знаю. Правда, не знаю...

— Не знаю, не знаю! — передразнил голос. — Эх, Андрей, Андрей... Пока ты рассматривал в юношеских снах грудастых красавиц, девяносто процентов твоих черепных нервов, которые людям никогда не освоить, работали на пределе. Искали способ избавить мою тюрьму от преждевременной кончины. Я всё спланировал: академия, докторантура, лаборатория, целый институт под началом — и вот, «оперативное вмешательство Гурьева». Заголовки газет: «Талантливые ученики спасают учителя!» Слава, богатство, и главное — жизнь! Моя жизнь! Но нет, Андрей Васильевич чужд этого! У него другая, благородная цель — спасение братьев наших меньших! И чего ты добился? Собственная клиника по купированию и кастрации? Кабинетик в семь квадратных метров в пригороде? Да, вершина карьеры, ничего не скажешь! Кого ты спас, Андрей? Так что нечего теперь ныть — сам себя угробил, Борменталь хренов. И меня заодно.

В голове стало тихо, а потом по барабанным перепонкам ударил вопль:

— Империи стояли на коленях передо мной! Я повелевал народами! А в итоге — умру на диване в оболочке докторишки-неудачника! Что,

думаешь, так и будет? Вот тебе! — рука сложилась в кукиш. — Я вам сейчас всем покажу небо над Аустерлицем! Вставай, скотина, прогуляемся по городу! Где тут у нас ключи от оружейного сейфа?

Мое тело подпрыгнуло с дивана.

— Стой! — я вложил в этот немой крик весь страх. Руки замерли на бронированной дверке. — Стой! Есть выход! У нас! У меня!

— Не понял? — в голосе Романа мелькнуло удивление.

— Сможешь удалить опухоль?

— Ты хочешь... Нет, это безумие. Положим, черепную коробку мы вскроем, но когда я выйду...

— Не справишься? — перебил я.

— Знал бы ты, с кем разговариваешь, мальчик! Да я в своё время голыми руками людей исцелял! Это твой организм может не выдержать!

— Значит, шанс есть? Только учти, рук у тебя не будет.

Пауза была такой долгой, что когда Роман снова заговорил, я обрадовался ему, как родному.

— Ну, предположим, всё удастся. А что будет потом? Даже если ты выживешь — мне не вернуться обратно. Нельзя войти в одно тело дважды. Разве что... — Роман замолчал. Я ждал решения. — Ладно. Пойдем бриться.

Когда мы вышли из дома, уже стемнело. Осенний вечер охлаждал нашу свежую лысину. Садясь в машину, я вдруг осознал, что счастлив. Скорее всего, Роман плеснул мне в кровь эндорфинов.

— Ну все, дальше я сам, — вздохнул он. — Давай прощаться, Андрей. На всякий случай.

— Хорошо, только ответь мне на один вопрос — за что тебя осудили?

— За пенициллин.

— Но ведь его же во время войны...

— Поймать долго не могли, — хохотнул Роман. Рука повернула ключ зажигания.

Джессике было скучно. Она уже устала от одинаково непонятных выступлений всех этих дядек в строгих костюмах и очках. Успела дважды пересчитать звездочки на флагах и буквы над сценой: «Шаг в будущее. Международная конференция имени Ч. Дарвина».

Лететь через океан и вместо того, чтобы познакомиться с французским Микки, оказаться на этом собрании! Да ещё и в первом ряду — даже заснуть нельзя. Девочка покосилась на свою тётю; та хмурилась и барабанила пальцами по подлокотнику кресла.

— Тетя Кларисса, мы уже скоро пойдём домой? — прошептала Джессика.

— Что? — вздрогнула женщина, но посмотрела не на племянницу, а на сцену. Там толстый седой мужчина почему-то радостно произнёс: «Наш гость из России академик Гурьев!» В зале начали хлопать и вставать с мест. — Да, малыш. Уже скоро.

Под аплодисменты к трибуне поднялся сухонький старичок в белой широкополой шляпе. Он прижимал к груди маленькую чёрно-рыжую зверушку: не то обезьянку, не то лисичку. Зверушка блестела глазками-бусинками и теребила крохотными пальчиками смешную причёску. Казалось, неумеха цирюльник выбрил львиную гриву на самой макушке.

— Меня часто спрашивают, действительно ли я понимаю язык животных, — начал краснолицый сморщенный дедушка, и в зале стали смеяться. — Уверю вас, все это домыслы газетчиков.

Зверушка зевнула, склонив голову набок, и посмотрела прямо на Джессику.

Девочка помахала ей рукой.

Странная лисичка отсалютовала лапкой в ответ.

— Я в прошлом ветеринар, и всё начиналось вот с этого лемура, — старичок ласково потрепал зверька по загривку. — Рамсес перенёс более десятка операций по пересадке органов и все так же молод и бодр, как и двадцать пять лет назад...

— Тётя Кларисса, — задыхаясь от восторга, прошептала Джессика. — Смотри, лемурчик мне улыбнулся!

— Не говори глупостей, Джес! Животные скалятся.

— Вовсе нет! Он даже лапкой мне махал.

— Замолчи, ты мешаешь слушать! — прошипела тётя.

Джессика обиженно надула губы. Рамсес покачал головой и сложил брови домиком. Старичок подождал, пока аплодисменты в зале утихнут, и продолжил:

— Я убеждён, что клонирование — лишь фабрика по производству запчастей к сложному механизму человеческого тела, и не более того. Да, через пару лет мы сможем воссоздать каждую молекулу в кости и плоти. Но вложить в неё разум, душу, если хотите, способен лишь небесный конструктор.

— Смотри, смотри! Зверушка помахала лапкой и тебе! — Джессика схватила тётю Клариссу за рукав. — Ой, и подмигнула! Ты видела, видела? Она тебе подмигнула!

Почини мою куклу, старик

Туман молоком наполнял пространство от земли до неба. Укрытые им деревья сливались в монолитный коридор. Нависали над дорогой тяжёлыми снежными шапками.

Илья впервые видел такой туман — порождение лютого мороза. Вахтовики из местных говорили, что подобных холодов не было уже лет пять и переправу закроют раньше обычного. Перспектива застрять в этом захолустье ещё на месяц не радовала. Прикинув шансы, он сторговал в аренду у сменщика древний «Москвич», залил его под завязку, прихватил канистру и выехал засветло.

Он не учёл одного — тумана. Тот подкрался незаметно, вышел из леса, мягко ступая кошачьими лапами, съел и без того бедный рассвет.

Уже часа три Илья не выпускал стрелку спидометра за отметку «со-рок». Черепашья скорость измотала нервы. Едва он убедил себя, что времени с запасом, как в скрип и рёв сына российского автопрома добавился новый звук. Справа тревожно застучала шаровая опора.

— Этого ещё не хватало, — пробурчал Илья, на всякий случай поплевал через плечо и вновь впился взглядом в туман.

Холод взбил молоко в сметану. Она растеклась по дороге, залила обочину, попыталась просочиться в машину и, встретив отпор радиатора, пошла на хитрость. Спрятала от Ильи старую трещину в асфальте, с годами выщербленную нефтевозами до колдобины.

«Москвич» споткнулся, завалился вправо и ткнулся бампером в сугроб. Илья ругнулся и выскочил наружу.

Мороз обжёг ноздри, в момент закупорил их ледяными пробками, выбил слезу. Иней склеил ресницы. Колесо скособочилось под крыло и сразу заявило — ты здесь всерьёз и надолго.

«Главное, чтобы не насовсем», — подумал Илья и обмер. Машин он по пути не встречал.

Часы показывали полдесятого вечера, когда Илья потерял надежду. Она уступила отчаянию, которое сменила злость. Злость на водителей, сидевших по тёплым норам, на раздолбая — хозяина «Москвича», держащего машину без запаски, которую можно было спалить без зазрения совести, на проклятый туман, который всё так же вился в свете фар. И, прежде всего, на себя. За то, что смалодушничал — не стал жечь покрывки, а вылил всю канистру в бензобак. За то, что отправился сломя голову в эту поездку. Что так и не купил себе нормальную ушанку вместо дурацкого шерстяного чулка.

Мотор кашлянул последний раз и заглох. Салон захлебнулся холодным безмолвием. Илья перекрестился и, натянув до бровей шапку, нырнул в белый кисель.

Плотный воздух сразу облепил его, сбил дыхание, сковал движения. Куртка встала колом и целлофаново захрустела. В тишине ночи звук получился оглушительный. Илья прикрыл нос рукавицей и зашагал по дороге, пытаясь держать бодрый темп.

Поначалу у него это вышло. Спина взмокла, лицо покрылось ледяными ворсинками. Но со временем идти стало тяжело, одежда перестала греть. Ноги до колен превратились в протезы. Илья уже не чувствовал холода, одну только усталость. Захотелось лечь в сугроб и поспать.

От этой мысли его отвлёк собачий лай. За поворотом горели светом десятки окон. За поворотом было тепло.

Последний рывок дался тяжело. У забора Илья понял, что не сможет поднять руки, открыть калитку. Не сможет даже крикнуть. Он просто стоял, привалившись к ограде, и смотрел, как прыгают по стеклу блики от телевизора, а за соседним окном женщина в белом платке месит тесто. Потом Илья медленно сполз на землю и под залиvistый собачий лай подумал: «А ведь почти дошёл... Почти...»

Было мягко и уютно. Илья сладко потянулся и открыл глаза. Он лежал под пуховым одеялом в небольшой, но светлой комнате, а у изголовья сидел мальчик лет семи. Бледное веснушчатое лицо перекошилось — улыбка ему не шла.

— Привет! Это мы с Лялей тебя нашли, — малец вытянул вперед руку с куклой. Левое веко старой игрушки запало, и оттого казалось, что она жеманно подмигивает. Мальчик заметил это и встряхнул кокетку. От белых горошин на ее когда-то пышном синем платье у Ильи запестрело в глазах. — А как тебя зовут, дядь?

Представиться Илья не успел.

— Стёпка, а ну не лезь к дяде, — донеслось из-за двери, и в комнату вошла та самая женщина в платке. В руках её ароматно дымилась большая кружка. Желудок Ильи отчаянно застонал. — Не сердчайте на него, — сказала женщина, когда мальчишка, насупившись, вышел. — Хворый он. — Женщина помолчала, глядя на дверь. Потом стряхнула задумчивость и улыбнулась Илье, — меня Татьяной звать.

Татьяне явно не хватало общения. Пока Илья хлебал обжигающий куриный бульон, она успела рассказать всю свою биографию. Что живёт она в этом посёлке давно. Что муж её месяцами валит деревья на просеке. А она всё по хозяйству больше. Вот только Стёпка, племяш, — одна отрада и есть. Сирота он. Уже год как, а до того в городе жил, за стан-

цией. А переправу закрыли, так что машину с хлебом раньше чем через неделю и не жди. Куда там лекарства какие, всё из тайги.

— Повезло тебе, Илюша, — говорила она, глядя, как тот допивает третью порцию, — не поморозился почти. Сам-то кто будешь? — спросила Татьяна, но, видя, что сомлевший больной едва ворочает языком, сжалилась. — Ну, спи, спи. Наговоримся ещё.

Наверное, в роду у Татьяны были колдуньи. Её отвары и притирания сотворили чудо — на пятый день Илья встал на ноги. Женщина и правда много времени проводила со скотиной, а потому оставляла Стёпку с Ильёй. За дни вынужденного безделья они сдружились. Мальчик исправно навещал «дядь Илью», носил еду в постель, помогал, как мог. Илья же платил ему историями, выдуманными и реальными, мастерил из бумаги кораблики. С игрушками в поселке было явно не ахти — мальчик постоянно таскал с собой Лялю.

Из-за неё они и повздорили.

— Слушай, Стёпка, — спросил как-то Илья, пытаясь сквозь помехи уследить за ходом футбольного матча. — А чего ты всё с этой куклой возишься? Давай, я тебе пистолет смастерю, что ли? Ты ведь уже взрослый парень, а парни не играют в куклы.

— А я не играю, — тон мальчика заставил Илью оторваться от стремительной атаки «Зенита». — Мы дружим.

— В смысле? — не понял Илья.

— Мы с ней разговариваем. Она купаться любит, про море мне всё время рассказывает, а я ей про поезда. Я про поезда все знаю. Мой отец обходчиком был. А вот моря я не видел, — вздохнул Стёпка. — Мама всё обещала, да так и не успела меня свозить.

— Хорош заливать-то! Выдумываешь всё, — Илья взлохматил Стёпкину вихрастую голову, и, встретив не по-детски суровый взгляд, понял, что ляпнул лишку. — Она ж игрушечная, Стёп! Она говорить не умеет.

— Умеет! Она у меня в голове говорит! И голосок у неё тоненький-тоненький! — возмутился Стёпка. Илья тактично промолчал. Слова Татьяны о здоровье мальчика приобрели новый смысл. — Не веришь, да? Ну и не надо, — нахмурился мальчик и соскочил с дивана. Прежде чем выйти из комнаты, он добавил, — между прочим, это она сказала, почему Дик лает.

На следующий день Стёпка утонул.

Все утро он донимал тётку, просил отпустить покататься на санках. От бывшего мороза не осталось и следа — погода наладилась. Пушистыми хлопьями повалил снег.

Илья, пытаясь загладить вину, поддержал парня, обещал присмотреть. Татьяна не устояла и разрешила.

Крутой спуск к реке отлично заменял горку. Стёпка катался и визжал от радости. Старательно пыхтел, волочил за собой санки, взбираясь на кручу. Его обычно бледное лицо раскраснелось и стало таким же розовым, как у Ляли. Он забыл о размолвке и всю балаболит, предлагал прокатиться. Илья смеясь, отказался наотрез. Сослался на возраст, говорил, что санки для троих маловаты...

Лёд треснул, и Степка ахнул с головой в студеную воду.

Илья кубарем скатился с обрыва. Кричал на бегу, звал на помощь.

Выныривая, мальчик орал на одной пронзительной ноте. От поселка темными точками заспешили на подмогу. Илья распластался лягухой, подполз к полынье и увидел, как варежку с зажатой в ней куклой стремительно затягивает под лёд. Кинулся вслед, окунул руку по плечо, схватил под водой игрушку и натужно рванул.

И вдруг почувствовал, что Степка отпустил куклу.

Вынутая на свет божий мокрая Ляля поджала губы в скорбной улыбке, тихой грустью поминая своего хозяина. Илья обессилено перевалился на спину и понял, что плачет.

Тело так и не нашли. Ни в тот день, ни на следующий.

Вечером вернулся муж Татьяны, Егор. В доме собралось человек десять. Женщины утешали рыдающую в голос хозяйку, мужики пили молча.

Разошлись к полуночи. Уверенный, что уснуть не удастся, Илья всё же пошёл к себе. Стёпкина игрушка ждала его на подоконнике.

— Можно я оставлю это? — внезапно спросил Илья Татьяну, которая в протрации мыла посуду.

— Что? — встrepенулась женщина.

— Оставлю её себе, — показал Илья куклу.

Татьяна побледнела, замерла и вдруг взорвалась:

— Убери, убери эту дрянь с глаз моих! — она спрятала лицо в ладонях и запричитала: — Это все Прохор! Кукольник! Он говорил — всё будет хорошо! Говорил! Мы так надеялись, так надеялись! Мы так...

Егор, вышедший на крики, сгрёб жену в охапку и затолкал в комнату. Молча сел за покрытый клеёнкой стол. Медленно взял стакан, сушившийся кверху дном на расстеленном полотенце. Плеснул на два пальца. Выпил и задымил сигаретой.

Из-за двери слышались женские всхлипы. Егор запустил пятерню в бороду и застыл.

Дым тонкой струйкой поднимался к потолку, танцуя вокруг зелёного пластмассового абажура. Сигарета тлела, превращаясь в скукожен-

ный серый столбик. Он мелко дрожал вместе с душащими фильтр пальцами.

Илья глянул на Лялю и вдруг осознал, что непременно должен встретиться с этим Прохором:

— Где мне его найти? — голос прозвучал глухо.

Илья замялся, подбирая слова, чтобы объяснить Егору и самому себе, кого и зачем ему непременно нужно увидеть...

Но они не понадобились.

— За колодцем, — не глядя, процедил Егор.

Дом Кукольника стоял на окраине поселка. Впрочем, дом — это сказано громко: балок на колесах. Синяя краска облупилась, местами свернувшись причудливыми листьями, и навевала Илье мысли о заброшенном дендрарии. Прожектор, прилаженный к сосне, нервно бросал дрожащее мутное пятно света у лестницы. Он словно предупреждал — укрытая снегом чаща полна хищников. Или даже чудовищ.

Илья вынул из-за пазухи куклу. Ляля все так же улыбалась, успокаивая разыгравшееся воображение.

— Господи, что я делаю? — пробормотал Илья, сжал куклу покрепче и, в два шага одолев ступени, постучал.

Дверь отворилась, обдав Илью тяжёлым теплом и смесью затхлых запахов.

— Чем обязан? — нахмурил брови патлатый старик.

«Чем обязан» не вязалось с растянутым замызганным свитером, ватными штанами и валенками. Прожектор услужливо вспыхнул и высветил обветренное, почти бурое скуластое лицо. Лоб, распаханый бороной времени, впалые щеки, подернутую сединой щетину. И стеклянный немигающий взгляд выцветших глаз.

— Доброй ночи. Вы Прохор? Я... — начал было Илья и замешкался. Взгляд старика внезапно обрёл глубину и оцарапал до озноба. Рубанул наотмашь и вернулся, остановился на кукле.

— А, ты с Лялей пришёл, — протянул дед и добавил: — да, я — Прохор. Входи, — прозвучало приказом.

Илья повиновался. Он миновал «тамбур», протиснувшись между поленицей вдоль стены и гроздьё телогреек на вешалке, и очутился в комнате.

На удивление длинной комнате.

Тусклый свет лампочки выхватывал из полумрака стол у железной кровати, убранной линиялым полосатым матрасом. Справа, под оконцем, грозно темнела печка-буржуйка, скорпионом вонзившая хвост-трубу в стену под толком. Между ними сиротливо ютился явно самодельный табурет.

Полированные книжные полки, поставленные друг на друга вдоль стен, и массивный секретер выглядели здесь незваными гостями. С них

на Илью паялились куклы. Большие и маленькие, новые и побитые жизнью, наряженные и раздетые — они наблюдали.

Сотни неживых глаз поблескивали в неровном свете мигающего электричества.

Илья остановился в нерешительности.

— Давай сюда, — вернул его к действительности голос Прохора.

— Что?

— Лялю давай, — повторил старик и, получив куклу, кивнул. — Присядь пока. Выпить будешь?

Илья опустил на табурет. Голова кружилась. Ему почудилось, что в комнате запахло ландышами.

— Вчера мальчик утонул. Степан, — начал Илья.

— Ну, как хочешь, — перебил его Прохор и оторвал кукле голову. Держа ее в руке, он положил тело на стол, взял в другую алюминиевую кружку и замер, зажмурился.

Шумно выдохнул и приник губами к игрушечному горлу, прогнулся назад, словно допивая до дна стакан.

Во рту у Ильи пересохло. По коже пробежал озноб.

Кукольник скривился. Боль мелкой рябью подернула застывшую сеть морщин. Прохор закашлялся и, переведя дух, сделал три шумных глотка из кружки. Лицо его разгладилось:

— Точно не будешь?

Илья молча принял кружку и отхлебнул. Горло вспыхнуло, и в желудке теплом взорвался спирт. Илья глубоко вдохнул, наполнив легкие ароматом ландышей, и почувствовал, что безнадежно пьян.

Кукольник хмыкнул, взял со стола не то щипцы, не то ножницы, и нацепил очки. Сдвинул их к кончику носа и принялся вытягивать из кукольного тельца обрывок резинки.

Илья осоловело тарачился на левую дужку, залатанную куском проволоки. Взгляд лениво пополз вниз. Задержался на желтых, перечеркнутых ступенями наростов, ногтях Кукольника. Его пальцы порхали над узелком, возвращая Ляле ее белокурую голову. Они кружились, прыгали, вились и сплетались.

От этого зрелища Илью замутило, и он принялся разглядывать кукольную шапку-ушанку, сшитую из куса лежащего рядом рукава шинели. Стежки белой нитки на серой шерсти были так ослепительны, что Илья не выдержал — отвернулся, уставился в полумрак стеллажей.

И тут же потревоженный полумрак всколыхнулся. Зашевелился, зашептал вразнобой хором голосов. Илье от чего-то вдруг стало стыдно, и он отвел глаза.

Кукольник уже закончил и теперь придирчиво рассматривал свою работу.

— А где вы их всех берете? — кивнул на полки Илья.

— Их? — удивленно вскинул бровь Кукольник.

Илью снова накрыла с головой волна смущения:

— Ну, да... Всех этих кукол...

Проход не ответил. Взгляд старика обдал Илью холодом, потом на мгновение вспыхнул радостью и потух. Морщинистое лицо спрятал занавес сальных волос. Казалось, что склонившийся над куклой Проход внимательно вслушивается во что-то. Тишина накрыла колпаком трещавшие в печи дрова. Стонущий за окном ветер, будто испуганно, притих. Один лишь наглый будильник рвал молчание мерной капелью секундной стрелки. Илья понял, что и сам затаил дыхание.

— Молод, — сухо, бесцветно произнес Проход в пустоту. Помедлил, и уже уверенно добавил: — Да, молод.

Уверенность плохо спрятала разочарование. Старик хмыкнул и слегка поводит рукой, держащей куклу. Ляля захлопала в такт ресницами и оказалась на столе перед Ильей.

— Все. Идите, — обронил Проход.

Илья молча взял куклу и пошел к выходу. На пороге он обернулся:

— Но... Что это? Зачем вы мне ее отдали? Я ведь не для того пришел! Я...

Илья опешил, пытаясь вспомнить, для чего он здесь.

Проход выждал, но, так и не услышав продолжения, пожал плечами и грустно произнес:

— Ступай, Илья.

Тот молча вышел.

Кукольник усмехнулся и тут же надсадно закашлялся. Махом осушил кружку, отер выступивший пот и закутался в лоскутное одеяло.

— Чертовщина какая-то, — прошептал Проход. — Чертовщина какая-то, — передразнил он, глядя в разинутую пасть печки. — Чертовщина?

Угольки в буржуйке весело подмигнули, но промолчали.

«Чертовщина какая-то!» — думал Илья, стараясь не оступиться с проторенной им же, но уже порядком запыленной снегом тропинки.

Ветер пытался повалить его навзничь, залепить глаза холодными хлопьями. Илья уже добрался до ограды у дома, когда вспомнил, зачем он ходил к Кукольнику. Вспомнил сразу, вдруг. И весь разговор с Проходом, все взгляды и движения превратились в чудовищный, абсурдный балаган.

Ноги стали ватными. Ветер как будто прознал об этом и решил воспользоваться моментом. Илья согнулся, борясь с напором, но не удержал равновесия — плюхнулся на колени.

— Да что же это! Что тут вообще происходит? — закричал он. Слова увязли в набитом снежинками воздухе. Илья поднялся и решительно дернул калитку на себя. — Все, все. Завтра же уеду. Утром. Бред какой-то. Колдовство. Вуду, мать его. Куклы, кукольники, голова. Я тут свихнусь с ними. Что молчишь? — Илья сдавил Ляле горло. Свет фонаря упал на ее лицо. Между ресниц игрушки набился снег, и от того она казалась ослепшей. Илья размахнулся, чтобы зашвырнуть куклу подальше в сугроб. И не смог. — Ты! Тварь пластмассовая! Что скалишься?

Ослепшая Ляля кривила в улыбке пухлые губы.

Илья обессилено ссутулился и заплакал.

— Чего кричишь? — донеслось из-за спины.

Илья оглянулся.

На пороге, кутаясь в полушубок и выбивая чечетку тапками на босу ногу, стоял Степка.

— Чего кричишь-то? — повторил мальчик. — Заходи, замерзнешь.

— Я принес тебе твою куклу, — только и смог выдавить Илья.

— Мою куклу? — удивился Степка. И с достоинством произнес: — парни не играют в куклы, дядь Илья.

— Степан, а ну живо в дом! — крикнула Татьяна из сеней. — Застудишься!

— Лялю, — прохрипел Илья и протянул дрожащей рукой игрушку мальчику. — Я принес твою Лялю.

— Теперь она твоя, — хитро улыбнулся Степка.

Вместо престарелой модницы Ляли рука сжимала малыша-пупса. Розового и голого. В одной лишь шапке-ушанке шинельной шерсти.

Визг, стремительно упавший до сиплого мычания, вырвался из горла Ильи. Он попятился, споткнулся, упал, поднялся, распахнул калитку и, скуля, бросился прочь, не разбирая дороги.

Илья бежал, пока держали ноги, пока не лопнули легкие, не взорвалось сердце. Потом полз на карачках, натываясь на стволы деревьев, кусты, ломая наст, царапая руки коркой. Последние силы он потратил, зарываясь поглубже в снег. В темноте ему стало тепло и покойно.

Кукольник спал и видел сон из той далекой жизни, когда он еще не был Кукольником. Из той жизни, когда он был счастлив. Когда он не слышал голос, шепчущий о предназначении. Когда палец не ткнул в место на карте, глухое место, где до него, Прохора, не селился ни один из людей, но куда, как магнитом, тянет теперь всех тех, кто сможет переиграть костлявую. Жить в скрытом от праздных глаз поселке. Просто жить.

Кукольник спал. Ему снилось море, лижущее горячий песок. Женщина, снимающая синее платье в белый горошек. Бисеринки пота на загорелой коже.

Ему хотелось шепнуть этой женщине: «Нет, я никогда не отпущу тебя». Но это ничего не изменит: она любит купаться в грозу.

Женщина улыбается и целует его, оставляя на губах вкус персика. Ее кожа пахнет ветром, а волосы — цветком с длинным названием.

Ему хотелось сказать ей, что скоро они снова будут вместе. Поселок станет городом, а Кукольник — пасечником, ведь он с самого детства мечтал ходить в широкополой шляпе и вынимать сочащиеся медом прямоугольники из жужжащих домиков. Но время течет слишком медленно. Поэтому он просто молчит. Смотрит на игривых барашков на лазурном поле, чувствует кожей ее тепло и молчит. Он счастлив.

В шелест волн ворвался рокот мотора. Под нарастающий рев Кукольник проснулся. Кряхтя, поднялся с кровати и сунул полено в тлеющие угли буржуйки. Плеснул воды в алюминиевую кружку, разбавляя спирт.

Машина на улице встала, хлопнула дверца, снег взвизгнул, и под тяжелыми шагами закрипели ступени.

— Слышь, дед, — поспешно закрыл дверь балка здоровый детина, заполнив сразу полкомнаты. Стряхнул с шапки снег, затоптал унтами и затараторил. — Там мужик замерз. Насмерть. Километров десять.

Кукольник подошел и ткнул пальцем в карман пуховика:

— Ну-ка, дай-ка!

— Я это у него из кулака едва выковырял, — смутился вдруг парень и опустил пупса в трухе в протянутую ладонь Кукольника. Тот развернулся и пошел к столу:

— Выпить будешь?

— Ты что, глухой, дед? — зло гаркнул здоровяк. — Я говорю — там мужик помер на дороге! Ментов надо вызвать! У тебя есть рация? Ты ж тут один на сто верст окрест, лесничий! Чего молчишь, старый? Рация у тебя есть?

Стужа взвыла и швырнула в стекло горсть снежной крупы.

— Я не лесничий. Я — Кукольник, — прошептал Прохор и отломил игрушке голову.

Литературно-художественное издание
ГЛАГОЛЬ
литературный альманах
№ 8

ISBN 978-5-98673-094-3
Издательство «ООО Андрей Буровский»

Подписано в печать 25.01.2017 г.
Формат 70x100/16. Печ. л. 21, 75
Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Группа МИД»
почтовый адрес: Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 12, бизнес центр «Т4»
тел./факс: (812) 458-43-69